Аксельрод, Павел Борисович

Пережитое и передуманное. Книга 1

Москва
Российская государственная библиотека
2004

Аксельрод, Павел Борисович

Пережитое и передуманное. Книга 1 [Электронный ресурс] / П.Б. Аксельрод. - М.: РГБ, 2004. - (Из фондов Российской государственной библиотеки)

Аксельрод, Павел Борисович

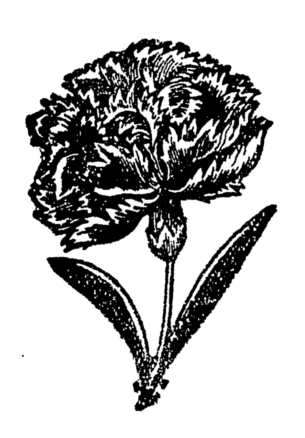
Пережитое и передуманное. Книга 1

Издательство З.И. Гржебина, 1923


ΚΤΗΜΑ
ΕΙΣ
ΑΕΙ

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

П. Б. АКСЕЛЬРОД



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН 1923

П. Б. АКСЕЛЬРОД

ПЕРЕЖИТОЕ И ПЕРЕДУМАННОЕ

КНИГА ПЕРВАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН 1923

Типография H. S. Hermann & Co. Berlin

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Хотя путь Русской Революции еще не завершен, но уже настало время положить начало великому труду собирания материалов для будущей истории великого переворота. Мы, современники событий грандиозных, обязаны, не медля, создать, собрать и сохранить документы, рисующие ход исторического движения, работу личностей, и приготовить все материалы для здания, которое возведет будущий историк. Среди этих материалов одно из первых по важности мест должны занять записки, дневники, воспоминания тех людей, которые творили эти события, или тех, которые наблюдали их. Записки видных участников событий будут ценны для построения политической истории переворота, записки честных свидетелей, вдумчиво наблюдавших ход революции, будут незаменимым подспорьем в работах по истории бытовой. Но особенно важна историческая ценность современных записей в том отношении, что они являются единственным источником выяснения жизнеощущения и быта революционной эпохи. Желая посильно содействовать труду собирания материалов,

мы ставим задачей в нашей серии собрать именно эти современные дневники, записки, мемуары деятелей, и современников революции. Преследуя исторические задачи прежде всего, мы намерены дать в нашей серии место авторам различных политических взглядов — от крайних левых до правых включительно. Только такое полное сочетание материалов даст возможность охватить все жизненное богатство великого исторического переворота.

ОТ АВТОРА.

Предлагаемая книга представляет собою начало работы, имеющей целью — в рамках воспоминаний — выяснить процесс зарождения элементов Российской социал-демократии в недрах народнического революционного движения и затем проследить главнейшие моменты и фазы ее внутренней эволюции.

Лишенный дара повествователя, я бы предпочел приняться просто за историческую работу о судьбах революционного движения в России, начиная с его зарождения в 50-х годах. Но к моему величайшему сожалению, разные обстоятельства и в особенности продолжительная хроническая болезнь помешали мне своевременно надлежащим образом подготовиться к выполнению такой задачи. И вот, по совету некоторых из близких мне товарищей, настаивавших на том, чтобы я начал писать свои воспоминания, я решился придать моему труду форму чего то среднего между рассказом о моих личных впечатлениях и переживаниях в прошлом и ретроспективной оценкой разных моментов этого прошлого.

Я рассчитываю исчерпать свою тему в четырех книгах.

Первая обнимает 70-ые годы и заканчивается образованием — в 1883 г. — группы «Освобождения Труда» с Плехановым, как марксистским теоретиком и основателем Российской социал-демократии, во главе.

Вторая часть будет посвящена двадцатилетию, протекшему от образования первой русской социал-демократической ячейки в Женеве до Лондонского социал-демократического конгресса (в 1903 г.), принявшего общепартийную программу и в то же время положившего начало расколу Российской социал-демократии на большевиков и меньшевиков. Этот промежуток времени в истории Российской социал-демократии распадается на два периода. Первый из них — от 1883 г. приблизительно до середины следующего десятилетия — характеризуется зародышевым характером социал-демократического движения в России, постепенным проникновением в среду революционной молодежи идей Плеханова и вообще влияния группы «Освобождения Труда», абстрактно-теоретической пропагандой марксизма и социал-демократизма среди интеллигенции и передовых рабочих и — in summa summarum — выработкой элементов для образования социал-демократической партии в следующем периоде, обнимающем время от середины 90-х годов по 1903 год. В этот период социал-демократические элементы все более и более сближаются с рабочими массами на почве экономической агитации и стачечного движения; одновременно подвигается вперед процесс организационного и партийно-политического оформления социал-демократических элементов; а рядом, па-

раллельно с этим процессом, возникают и развиваются среди них разные течения, постепенно разгораются внутренние междоусобия, подготовившие психологическую атмосферу к произведению раскола на том самом с'езде, который должен был подвести итоги подготовительного процесса программного и организационного об'единения социал-демократии, процесса, происходившего с середины 90-х годов до этого с'езда.

С наступлением раскола, Российская социал-демократия вступила в новый период своего существования, продолжавшийся до начала мировой войны. Этот период ознаменовался беспримерно ожесточенной борьбой между большевиками и меньшевиками и все большим выявлением и оформлением их организационных и тактических разногласий. В третьей книге я остановлюсь на наиболее ярких и характерных моментах этого периода. Эта часть моего труда закончится рассказом о тщетной попытке Интернационального Социалистического Бюро примирить большевиков с меньшевиками и восстановить единство в рядах Российской социал-демократии.

Последняя, четвертая, книга будет посвящена периоду, начавшемуся с наступлением всемирной войны и ознаменовавшемуся великой Российской Революцией в феврале-марте 17 г., большевистским переворотом, уничтожившим ее демократические завоевания, и воцарением большевистской диктатуры. Видное место в этой части проектируемой работы я намерен уделить позиции Интернационала во время войны и его отношению к февральско-мартовской революции, с одной стороны,

и к восторжествовавшему над ней большевизму и его азиатско-варварскому режиму, с другой.

В моей работе, продуктом которой является предлагаемая книга, мне оказал неоценимую помощь товарищ Владимир Савельевич Войтинский, и я испытываю настоятельную нравственную потребность не только выразить здесь ему свою глубокую признательность, но и конкретно указать, в чем именно состояла эта помощь. Чтобы обеспечить выход в свет моего труда, товарищ Войтинский, в виду тяжелого состояния моего здоровья[1]), взялся больше года тому назад записывать мои воспоминания из давнего прошлого по моим устным рассказам ему. Запись каждой беседы подвергалась неоднократно редакционным исправлениям и изменениям, при чем товарищ Войтинский с безграничным терпением и величайшей охотой вносил каждый раз все поправки и дополнения, которые мне казались необходимыми. Получившийся таким образом текст был затем напечатан (в переводе) в еврейско-американском социалистическом журнале «Zukunft» («Будущее»). Этот же текст послужил основой и рамками для настоящего издания первой части моих воспоминаний, за которую я принялся в последние месяцы, уже после того, как я оправился от перенесенных мною двух операций. Для этого издания я написал несколько новых глав и вообще значительно переработал старый текст. Но я не могу не подчеркнуть, что наличность первоначального текста в чрезвычайной степени облегчила мне работу.

---

[1]) Это было незадолго до серьезной операции, которой мне пришлось подвергнуться в Париже.

Но товарищ Войтинский проявил чрезвычайно много сердечной заботливости и готовности оказать мне всякую помощь и в моей работе над предлагаемой книгой, (он, например, внимательнейшим образом просматривал и исправлял корректуры, почти все подзаголовки составлены были им, и общее название всего моего труда — «Пережитое и передуманное» — опять таки им придумано).

Полагаю, читатели не будут в претензии на меня за то, что я почел своим долгом выразить здесь свою признательность товарищу, которому я в такой степени обязан выходом в свет настоящей книги.

Но я не мало обязан и тем товарищам, которые снабжали меня мемуарной литературой, чтение которой освежило в моей памяти многие факты и некоторые важные моменты из истории нашего до социал-демократического революционного движения. Особенно помог мне в этом отношении Б. И. Николаевский, за что приношу ему свою искреннюю сердечную благодарность.

П. Аксельрод.

Памяти ГЕОРГИЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА
ПЛЕХАНОВА

посвящаю свой труд

Л. Аксельрод.

Книга первая

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

I. РАННЕЕ ДЕТСТВО.

(1850—1862 гг.)

Первые впечатления. — Семья. — Жизнь в деревне. — Переезд в Шклов. — Богадельня. — Поступление в школу. — Школьный смотритель. — Шкловская еврейская община. — Из Шклова в Могилев.

Я родился в деревне недалеко от Почепа, местечка в Черниговской губернии. Названия этой деревни не помню. Годом своего рождения я и мои родные, вследствие внешних, случайных обстоятельств, давно привыкли считать 1850 год. Но мне кажется, что, когда я поступил в гимназию, мне было больше 13-ти лет, а поступил я в нее, если память меня не обманывает, в 1862 году.

Родители мои были чрезвычайно бедны. Отец мой, Барух, был мещанином из местечка Шклова, Могилевской губернии. Рано осиротевши, он в юности каким-то образом попал на службу чернорабочим к еврею арендатору, верстах в десяти от Почепа, и женился потом на племяннице этого арендатора, также рано осиротевшей. Кажется, довольно скоро после женитьбы, отец, по настоянию

2 Аксельрод.

матери, сам арендовал шинок у помещика одной из соседних деревень. Вообще, мать моя стояла интеллектуально гораздо выше отца, по своему темпераменту и духу независимости. По русски они были оба совершенно неграмотны, как, впрочем, и чуть не вся масса еврейской бедноты в то время. Но они и еврейскую грамоту почти что не знали. Отец умел лишь с грехом пополам читать молитвы, но смысла их, как и вообще священных книг на древне-еврейском языке, не понимал. Он был, тем не менее, очень набожен и глубоко верил, что в загробной жизни Бог вознаградит всех еврейских бедняков за их лишения и страдания на земле. Мать была также безграмотна и набожна. Но она при этом выделялась природным умом и инициативой.

Как я уже сказал, отец, вскоре после женитьбы, арендовал шинок и стал «самостоятельным хозяином». Но ему с семьей не приходилось оставаться подолгу на одном месте. В моих отрывочных, смутных воспоминаниях раннего детства мелькают торопливые сборы, переезды из одной деревни в другую, попытки устроиться на новом месте, вечные тревоги и боязнь, что вот-вот придется сняться и с нового места. Я не помню, чтобы родители когда-нибудь, по собственной инициативе, добровольно меняли местожительство. Если не всегда, то несомненно большей частью, помещик, у которого они арендовали избу в две, а иногда в одну комнатушку, их выгонял за неаккуратный взнос арендной платы, или же потому, что какой-нибудь более ловкий и не совсем совестливый конкуррент предлагал ему более высокую плату. Случалось им и прямо быть выброшенными на улицу, не зная, где искать приюта

с детьми, и не имея даже достаточно хлеба, чтобы накормить их.

Но кроме безысходной нужды и вечного страха перед помещиком, да нередко перед «злодеем», евреем-ростовщиком, у которого приходилось занимать деньги, родители жили в постоянном страхе и перед всяким начальством, в особенности же, перед становым. Вероятно, у отца не было паспорта, и вообще его право жительства в деревне, должно быть, было под большим сомнением: этим, думаю, об'ясняется тот, сохранившийся у меня в памяти, факт, что каждый раз, когда в селе появлялся становой, или до родителей доходили слухи, что он прибудет, отец моментально куда-то исчезал и скрывался все время, пока становой оставался в деревне.

Вообще, помещики (родители имели дело только с мелкими) и становой являлись для нас большими и притом грозными «панами», перед которыми родители трепетали. Да и все, кто носил одежду панскую, да еще кокарду имел на фуражке, казались нам людьми особой, высшей породы, всесильными и всемогущими, перед которыми обязательно снимать шапку при встрече на улице, и низко кланяться.

Отмечу мимоходом, что в таком же приблизительно страхе и трепете перед всяким начальством, перед всякими «панами», жила вся еврейская масса, разбросанная по деревням и местечкам.

Я был старшим сыном в семье. Кроме меня, двух братьев и сестры, остальные дети все умерли в раннем возрасте. Детство у нас было безрадостное. Росли мы одни, не зная, что такое детские забавы и игры, отрезанные от всех, будто замурованные

2*

в нашей лачуге. Как евреи, мы были париями в деревне. Нас не пускали играть с крестьянскими ребятишками, — да те и не приняли бы в свою компанию «жиденят». А еврейских детей по близости не было, так как евреи жили здесь разбросанные по деревушкам и местечкам и лишь изредка сходились для молитвы.

Мы росли без внешних впечатлений. Для меня было целым событием, когда отец брал меня с собой в большой праздник на общую молитву («миниен») в соседнюю деревню. Как о празднике, вспоминал я о редких днях, когда мы с отцом спускались к речке купаться. Почти все время мы проводили или в избе, или на пыльной дороге перед домом. Разговоры родных были всегда об одном: о том, как тяжело жить, о том, что может придти еще новая беда, — со стороны «пана» или станового, о том, что нужно терпеть, раз такова воля Бога.

Помню короткий, более светлый период. Тогда дела отца шли настолько плохо, что окончательно нечем было кормить детей, и меня поместили к дяде моей матери. Это был человек с некоторым достатком. У него был огород, грядки с огурцами. С его детьми занимался меламед, обучавший их талмуду.

Дом дяди выходил окнами на большую дорогу. По дороге проходило и проезжало много народу. Мое внимание привлекали, главным образом, солдаты. Они все шли и ехали в одну сторону и нередко останавливались у колодца, около нашего дома.

Среди евреев в то время шептались, не будет ли теперь легче евреям. Повидимому, это было вскоре после смерти Николая I и окончания Крымской войны...

Мне было, вероятно, лет 9, когда родители решили перебраться из деревни в местечко Шклов, Могилевской губернии: мой отец был приписан к шкловскому обществу; здесь ему, вместе с другим семейством, принадлежал маленький домик.

Путешествие было дальнее. Большую часть пути мы шли пешком, за телегой с домашним скарбом, которую тащила хромая лошадка, купленная у цыгана; но уставших детей сажали на телегу. У меня осталось представление, что в дороге мы провели несколько недель. Для нас, детей, это было хорошее время. Лето было жаркое, дожди редки, и мы для ночлега и для дневных стоянок выбирали лужайки в лесу, или подходящие места на берегу какой-нибудь речки, особенно, когда в ней водилась в изобилии рыба, составлявшая, кроме хлеба, главную нашу пищу в пути.

Поселились мы сначала не в самом Шклове, а в его предместье, так как здесь у нас была даровая квартира (комната) в домике, о котором я выше упомянул. Но домик этот, очень скоро после нашего водворения в нем, дотла сгорел — так же, как чуть не две трети предместья, — и нам пришлось искать крова в самом «городе», в Шклове, где нам потом пришлось довольно долгое время жить всей семьей в благотворительном ночлежном доме для нищих.

Как ни сильно бедствовали мы в деревне, как ни велика была нужда, которую нам частенько приходилось там испытывать, но до положения настоящих нищих мы там, насколько помню, все - таки не опускались. А с переселением на «родину» отца, мы, в буквальном смысле, впали в нищету. За исключением короткого промежутка времени, когда отец

нашел поденную работу по нагрузке и разгрузке хлеба в амбарах и складах на берегу реки (Днепра) — это был золотой период, к сожалению, слишком краткий в нашей шкловской жизни, — отец не имел сколько-нибудь постоянного заработка, достаточного для того, чтобы семья не голодала.

В конце концов, родителям пришлось искать приюта для себя и всей семьи в «богадельне», в доме, отведенном еврейской общиной профессиональным нищим для ночлега, с правом корпеть там и днем.

Помню, что этот дом состоял из двух комнат, — одной совсем маленькой и другой, значительно большей, в которой вдоль стен расположены были нары, а по середине стоял стол. На нарах, да и на полу, когда много было народу, спали семейные и холостые, мужчины и женщины, взрослые и дети — все обитатели богадельни, прокармливавшиеся, большей частью, подаяниями.

Мои родители составляли в этом отношении исключение. Отец рыскал целые дни по городу в поисках за работой, а часто он совсем уходил куда-то далеко на сторону ради заработка, так что иногда по полугоду, если не больше, не являлся домой. Но я не помню, чтобы когда-нибудь он присылал денег достаточно, хотя бы на голодное существование. Матери приходилось самой всячески изворачиваться, чтобы как-нибудь прокормить себя и детей. Приходилось ей обращаться и к еврейской общественной благотворительности. И волей-неволей мирилась она и с тем, что некоторые из обитателей ночлежного дома брали меня с собой,

главным образом, по пятницам, когда они ходили просить милостыню в зажиточных домах.

Когда отец возвращался в Шклов из своих странствований, он ночевал с нами в богадельне. Но затем, насколько помню, усилиями моей матери, ему удалось получить должность смотрителя или надзирателя этой богадельни. Это несколько улучшило наше положение: из общей комнаты мы переселились в отдельную каморку, которая полагалась смотрителю ночлежки. Жалованья он, кажется, никакого не получал; помню, что отец и мать изо всех сил выбивались, чтобы заработать что-нибудь.

Но именно этому нищенскому положению родителей я обязан, главным образом, тем, что я совершенно неожиданно попал в казенную школу для обучения еврейских детей русской грамоте.

В пятидесятых годах правительство открыло в «черте оседлости» особые школы для еврейских детей, с преподаванием на русском языке. Преподавателями в этих школах состояли, по большей части, евреи. Но смотрителем школы назначали христианина.

Была устроена такая школа и в Шклове. Но евреи отнеслись к ней подозрительно: боялись, как бы в полурусской школе дети не утратили набожность, не стали бы сами «полу-гоями». Полагая, что такие школы основываются и содержатся начальством с прямой целью подорвать или ослабить в еврейской молодежи приверженность к священным заветам, к вере и обычаям еврейского народа, еврейское население Шклова за редкими, быть может, исключениями, упорно и всячески

уклонялось от посылки детей в местное казенное училище. А между тем, смотритель училища, христианин, добивался от влиятельных и ответственных представителей еврейской общины, чтобы школе был обеспечен необходимый минимум учеников, и для этого, в случае недостатка учеников, он начинал теснить меламедов, обучавших в хедерах Закону Божию и талмуду. Вот в такую критическую для набожных евреев минуту я и попал в «гойскую» школу.

Чтобы спасти души большинства детей от грозившей им опасности, ответственные члены еврейской общины решили пожертвовать душами детей нескольких бедняков, среди которых оказалась и моя мать. Отца в то время не было в городе. При своем крайнем консерватизме, он едва ли согласился бы отдать меня в школу, где обучают «гойской» премудрости и где вдобавок еще требуют, чтобы пейсы были возможно коротко острижены. Мать же сообразила или почувствовала, что через эту школу я смогу «выйти в люди»; да кроме того, трудно было устоять против таких обещаний «власть имущих» членов еврейской общины, как одеть и обуть ее десятилетнего мальчика в страшно холодную зиму, а к тому еще кормить его несколько дней в неделю, — поочередно у некоторых семей.

Я теперь еще довольно живо припоминаю то удовольствие, которое я испытал, очутившись в теплой шубенке и сапогах.

Чуть не через месяц или два после поступления в школу, едва научившись читать по складам «бо—же», «Ми—ша» и т. д., я уже получил урок для обучения еврейского мальчика моих лет той же премудрости.

которой я сам только что начал овладевать. За этот урок мне платили 8 копеек в месяц и давали стол — один день в неделю. Впоследствии меня взял к себе в своего рода камердинеры один из учителей школы, еврей, окончивший в Могилеве нечто в роде среднего казенного учебного заведения, приготовлявшего преподавателей для еврейских школ грамоты. Я должен был убирать ему квартиру, приносить дрова, топить печку, закупать на базаре разную провизию (он был холост, и ему готовила кушанье кухарка, служившая у домохозяина) и т. д. За все это он мне давал два дня в неделю стол и «квартиру», то есть право сидеть в передней и спать там же на полу, — но без необходимых для приятного сна принадлежностей. Это, однако, нисколько не мешало мне спать крепким здоровым сном. Кроме службы у учителя, я имел еще один «заработок»: по пятницам я чистил сапоги у некоторых зажиточных евреев.

В мое время Шклов делился на две резко обособленные части — еврейскую и христианскую. Хотя школа помещалась в христианской половине (христианское население было, впрочем, гораздо малочисленнее еврейского), еврейские школьники совсем не встречались и не имели никаких сношений с учениками русской школы. Смотритель нашего училища оставался, таким образом, единственным христианином, с которым я непосредственно соприкасался. И в его лице я впервые имел перед собой представителя той породы людей, о которой я имел мифическое представление, и которая известна была мне под названием «паны». И вот этот пан — поляк — и его жена оказались добрейшей души, поря-

дочными, прямо-таки благородными людьми. Доброту их я почувствовал уже через короткое время после вступления в училище. По случаю болезни я пару недель не ходил в школу, а когда поправился, то очень боялся, что как только приду в школу, то подвергнусь какому-нибудь наказанию за пропущение уроков. А вместо того, смотритель и жена его встретили меня очень ласково, расспрашивали о моей болезни, да еще дали мне пакетик с конфетами, представлявшими для меня тогда недоступную роскошь. Впоследствии смотритель по другому поводу проявил еще ярче большую чуткость и психологический такт по отношению ко мне.

Я говорил уже, что я жил — приблизительно на положении камердинера — у одного из учителей. Ко мне часто, почти ежедневно, приходил один великовозрастный ученик, лет 16. Он много и гладко рассказывал про себя и про свою семью, я принимал все его небылицы за чистую монету, и он мне казался чрезвычайно умным и хорошим. В конце концов, я проникся к нему великим уважением и доверием.

Однажды я отправился на базар за покупками для учителя. Мой приятель, оставшись один в квартире, вытащил часы учителя и преспокойно ушел. Учитель вернулся домой поздно ночью (он засиделся в гостях, играя в карты). Он сразу обнаружил пропажу и позвал меня:

— Где мои часы?

Я ему ответил:

— Вероятно, вы забыли их в гостях.

— Нет, я оставил их дома. Да вот и замок сломан у стола. А Белкин не был у тебя?

Не допуская мысли, что мой приятель мог оказаться вором, я подтвердил:

— Да.

— Значит, они стащил часы, — решил учитель.

Я стал спорить:

— Не может быть! Вероятно, вы забыли часы в гостях.

На следующий день в школе смотритель вызвал меня к себе и сказал:

— Наверное, это Белкин стащил часы. Ты должен знать это.

И он пригрозил, что, если я не подтвержу вину Белкина, меня будут сечь. Меня самого они ни одной минуты не подозревали в краже, но у них, повидимому, мелькнуло предположение, что я из жалости или из дружбы не хочу выдать приятеля.

Я продолжал настаивать:

— Нет, это не Белкин.

Смотритель отпустил меня. Больше ни он, ни учитель уже ни разу не вспоминали об этой истории, и отношение их ко мне после этого ничуть не ухудшилось. А между тем, их подозрение против Белкина было совершенно основательно, — спустя три года, когда я был уже в гимназии, учитель сообщил мне, что Белкин тогда, действительно, украл часы: открылось, кому он их продал.

Так вот я должен сопоставить отношение, проявленное ко мне в этом случае, с господствовавшими в то время нравами. Ведь как легко было заподозрить в краже и жестоко обидеть нищего

«жиденка», а смотритель — поляк этого не сделал, он поверил искренности моего отрицания!

Я до сих пор вспоминаю о нем с чувством глубокой признательности и любви. В лице смотрителя и его жены я впервые пришел в непосредственное соприкосновение с «панами» и на его примере увидел, что и среди «гоев», и притом принадлежащих — по моим тогдашним понятиям — к власть имущим, могут быть люди, не только не враждебно относящиеся к евреям, не только не жестокие, но даже добрые к евреям.

Но все же это был единичный, исключительный случай. В общем же, взаимоотношения еврейского и христианского населения Шклова, под непосредственным влиянием которых формировались мои представления в раннем детстве «о гоях» вообще и «панах», в частности, отличались по существу теми же чертами, что в деревнях и местечках Черниговской губернии в 50-тых годах. Только в Шклове еврейское население представляло сплоченную среду, целое общество, резко отделенное от христианского населения «территориально» (особые улицы), своей общинной администрацией и особыми судьями (еврейскими) для разбора спорных дел между евреями.

Центром общественной жизни еврейского населения являлась главная синагога. Сюда сходились для богослужения, здесь обсуждались разные общественные дела, и здесь же раздавались проповеди магидов — в особенности, против начавшего проникать в еврейскую среду «вольного духа». На меня особенно сильное впечатление производили проповеди одного приезжего магида, пользовав-

шегося большой славой и обладавшего большим даром слова. Его филиппики против укороченности сюртука у мужчин или черезчур тщательной прически волос у женщин и у мужчин были пропитаны презрением к земным благам, к заботам о материальном; он превозносил духовные блага, которые отождествлял, конечно, с усердным служением Богу, и пренебрежением светскими, и вообще материальными интересами. Впечатлениями первых лет жизни в деревне я отчасти был подготовлен психологически к преклонению перед всем духовным и к пренебрежительному отношению к чисто материальному, внешнему. А потому проповеди магидов я слушал с чрезвычайным волнением, хотя, наверное, далеко не всегда и далеко не все понимал в их грозных филиппиках против новых «веяний».

Думаю, что все эти впечатления не прошли бесследно в моей последующей жизни. Представление о бесконечном превосходстве духовного начала над материальным, внешним и будничножитейским, представление о том, что начала эти даже прямо враждебны друг другу, оставило, как мне кажется, след в моей психике. Но, конечно, в своем содержании, характере и направлении это представление претерпело в моем сознании глубокие изменения.

Светская жизнь евреев тоже находила свое выражение в синагоге. Здесь обсуждались все волновавшие общину вопросы. Один эпизод особенно глубоко врезался мне в память.

Шкловские евреи почти так же трепетали перед «начальством», как в деревне трепетал мой отец перед становым. И вдруг прошел слух, что некото-

рые из членов общины находятся в сношениях с полицией и доносят на своих единоверцев. Заподозренных судили на собрании общинников, в синагоге. Страсти разгорелись, раздавались крики, угрозы. Обвиняемые уверяли, что их оклеветали. Но все же собрание признало вину их доказанной и приговорило сослать их, как «вредных членов общины», в Сибирь. А главного обвиняемого вскоре после этого нашли мертвым в колодце. Говорили, что его убили, а тело спустили в колодец, чтобы скрыть следы...

С внешним миром больше всего знакомился я через некоторых из «великовозрастных» учеников школы. Это были дети тоже из бедных семейств, но все же стоявших социально гораздо выше моих родителей. Их родные имели некоторый доступ в такую среду, которая, можно сказать, была почти недосягаема для моих родных; дети их могли приходить в непосредственное соприкосновение с людьми, которых я мог видеть лишь издали. Среди этих людей оказалось несколько человек, побывавших в больших городах, часто ездивших в Могилев, чтобы ходатайствовать перед властями по делам еврейского общества Шклова, более или менее грамотных по-русски и сочувствовавших распространению образования среди евреев. От этих сторонников еврейского образования мои старшие товарищи узнали о существовании в других городах средних и высших учебных заведений. И вот, когда я окончил школу — с похвальным листом и наградой (пара книжек), — один из этих товарищей рассказал мне, что есть такие школы, в которых обучают очень ученые люди, называемые

профессорами, обучают не по книгам (учебникам), а «из своей собственной головы». Среди этих профессоров имеется и еврей — Хвольсон.

От них же я узнал, что в Могилеве имеется учебное заведение, называемое гимназией, и что, окончив его, можно попасть в университет, где учат профессора. Но для поступления в гимназию нужно было представить «увольнительное свидетельство» от Шкловской еврейской общины. Благодаря связям упомянутых товарищей с «просвещенными» и влиятельными членами ее, мне удалось получить это свидетельство, и в один, не совсем прекрасный вечер, я, вместе с одним более взрослым товарищем, отправился, с 35 коп. в кармане, пешком в Могилев. Замечу, кстати, для иллюстрации тогдашнего отношения еврейской массы к образованию, что и на этот раз, как и при поступлении в школу, решительный шаг сделан был мною в такое время, когда отец из-за заработка находился где то далеко от Шклова. Он едва ли согласился бы взять на свою душу такой грех, как отдача своего сына в совершенно «гойскую» школу, где нужно и пейсы совсем остричь и одеваться, как настоящий «гой».

Дорога в Могилев шла лесом, ночь была темная, и я, признаться, побаивался - таки неприятной встречи с волками, водившимися в лесу. Но, вместо волков, мы имели удовольствие быть застигнутыми в пути проливным дождем. Когда мы прибыли в Могилев, до экзамена оставалось еще несколько недель; квартиры у меня не было, а средств к жизни — два или три десятка копеек в кармане. К счастью, погода была прекрасная, и я в течение некоторого

времени устраивал себе ночлег на дворе той корчмы, где останавливались еврейские балагулы, с фургонами и возами. В их фургонах, или на возах я спал; иногда удавалось примоститься и в самой корчме, где-нибудь на лавке. Потом приютил меня у себя дядя, один из братьев моего отца, служивший сторожем и помещавшийся со своей не малочисленной семьей в темной подвальной комнате, в которую приходилось спускаться по крутым и узким ступенькам, образовавшим своеобразное подобие лестницы.

Моего спутника не допустили к экзамену, так как он был старше предельного возраста для поступления в гимназию. Я же выдержал экзамен и был принят. Оставалось обзавестись гимназическим мундиром и достать деньги для взноса учебной платы за первое полугодие. Не помню уже, каким образом — быть может, по совету директора или инспектора гимназии, — я попал к состоявшему при губернаторе, окончившему светское раввинское училище, ученому еврею Мандельштаму, который, с своей стороны, обратился за помощью для меня к некоторым зараженным «либеральными» тенденциями евреям. Таким путем мне удалось скоро за пару рублей купить изрядно поношенную гимназическую одежду и получить возможность учиться в школе, из которой можно было попасть в университет.

II. ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ.

(1862—1871 гг.)

Еврейская среда в Могилеве. — Н. И. Хлебников. — Религиозные сомнения. — Белинский и Тургенев. — Начало «просветительной деятельности». — «Отцы и дети» среди могилевского еврейства. — Столкновение с консервативными элементами общины. — В Нежине. — Скитания. — Возвращение в Могилев. — Новые знакомства. — «Вольная еврейская школа». — Проект библиотеки-читальни. — Мои политические настроения. — Продолжение «просветительной деeятельности». — Конфликт в шкловской еврейской общине. — Первая газетная статья. — «Что посеешь, то и пожнешь».

В начале 60-х гг. Могилев был одним из наиболее затхлых, мертвых губернских городов России. Здесь не было и тени того оживления, которое замечалось в то время в столицах. Но все же, по сравнению со Шкловом, в Могилеве среди евреев были уже некоторые зачатки культурной жизни.

В массе могилевских евреев еще прочно господствовали старые бытовые и религиозные традиции. Но веяние нового духа, который еле-еле заметен был даже в Шклове, сказывалось здесь более явственно и не ограничивалось отступлениями от старинного покроя одежды. Сюда проникали уже — правда,

в весьма слабой мере — настроения, связанные с тем просветительным движением, которое началось, незадолго до того, среди евреев в таких провинциальных центрах, как Вильна, Одесса, Киев, и выражалось в распространении интереса к светской еврейской литературе, к наукам, не входящим в систему традиционного религиозного образования, к общероссийской и немецкой культуре. В Могилеве представителями этого настроения были евреи, которых судьба забросила сюда из Польши и Прибалтики. Выделялись в этом отношении две семьи: Горнштейна, переселившегося в Могилев из Остзейского края, и еще другого еврея Левенталя — учителя, родом из Польши. Обе семьи давно уже отдали своих детей в гимназию, — но остальным могилевским евреям этот шаг казался слишком смелым и даже неблагочестивым, так что долгое время никто не решался последовать их примеру. Из туземных евреев я оказался первым вступившим в гимназию.

К числу передовых евреев принадлежал и Мандельштам (также из Прибалтийского края), занимавший должность «ученого еврея» при Могилевском губернаторе.

Была еще одна семья, которая как бы связывала местных евреев с западной культурой: один местный богач выдал свою дочь за сына немецкого раввина. Молодой зять жил в Могилеве у тестя.

В моей жизни в Могилеве не малую роль сыграла и семья Гуревича, одного из местных богачей, имевшая некоторые связи с Вильной и с Москвой: жена Гуревича (урожденная Гаркави) была родом из Вильны, брат ее учился в Московском Универ-

ситете, и она сама затронута была новыми веяниями, проявившимися в еврейской среде.

Для мальчика, лишенного всяких средств и кое как добравшегося до города из шкловского захолустья, было счастием, что в Могилеве оказались среди евреев эти люди, затронутые новым духом.

Как попал я в круг этих семейств, в точности я не помню.

Помню лишь, что с постоялого двора, куда доставил меня возчик (он подвез меня недалеко от Могилева), я пошел в гимназию. Там я показал мои бумаги — свидетельство об окончании училища, похвальный лист и пр. Инспектор сказал мне, что я должен буду постричь волосы и уплатить за право учения, — кажется, плата тогда была 7 р. 50 к. за полугодие. Повидимому, инспектор послал меня к ученому еврею, а тот познакомил меня с семействами Горнштейна, Гуревича и другими. Здесь все отнеслись сочувственно к моему желанию учиться, устроили «тег», то есть, распределили между собой, в какой день недели в каком доме буду я кормиться.

Я не отдавал себе ясного отчета в том, почему все эти люди готовы помогать мне. Но я смутно чувствовал, что здесь дело идет не о милостыне, а о чем то ином, — что здесь сочувствуют тому, что еврейский мальчик будет учиться и окончит гимназию.

Как я уже сказал, первое время я ночевал на постоялом дворе, в пустых телегах — фургонах, а потом у дяди; нескольке недель спал у Гуревичей, с младшим 10 летним сыном которых, Гришей, я подружился, — эта дружба сохранилась между

3*

нами и позже, и не раз в тяжелые для меня дни Гриша Гуревич выручал меня. Спустя некоторое время, меня взяли к себе Горнштейны.

Большой нужды я в то время не ощущал. На второе полугодие я был освобожден от взноса платы за учение. А во втором классе я, кроме того, получил годовую стипендию, — кажется, 30 руб. Это было для меня целым богатством. Часть я тотчас же отослал в Шклов родным. Остальное пошло на одежду: Горнштейны отвели меня к портному и заказали для меня полную гимназическую форму.

Во втором классе гимназии мое материальное положение стало более независимым: Горнштейны отрекомендовали меня в один знакомый дом евреев из Прибалтийского края, где были мальчики на два-три года младше меня, начинавшие учиться. Меня взяли в этот дом заниматься с мальчиками за стол и квартиру.

В гимназии я учился без большого увлечения. Вся система преподавания была проникнута духом мертвой рутины и чиновничьего формализма. Преподаватели мало интересовались своими предметами, ограничивались обыкновенно тем, что задавали по учебникам «отсюда — досюда».

Резко выделялся из этой среды молодой преподаватель истории Н. И. Хлебников, прибывший в Могилев, когда я был в 3-ем классе. Одевался он довольно небрежно[1]), держался свободнее других учителей; прежде, чем начать свой первый урок в нашем классе, спросил стакан воды. И весь

---

[1]) Сам он считал это своим недостатком, как он потом мне говорил.

урок он вел иначе, чем другие преподаватели. А затем и все преподавание его носило другой, не совсем обычный характер. Ученикам новый преподаватель не понравился; на меня же он, как раз своими «странностями», произвел привлекательное впечатление.

Так как история в его преподавании стала казаться мне необыкновенно интересным предметом, то я решался порой обращаться к нему во время урока с различными вопросами.

Неожиданно для себя я узнал, что эти вопросы обратили на меня внимание нового учителя. По Московскому Университету Хлебников был знаком с дядей моего друга Гриши (студентом Гаркави) и часто бывал в доме Гуревичей. В этом доме как то спросили его, хорошо ли учится ученик 3-го класса, Аксельрод. Учитель ответил, что Аксельрод выделяется из класса не столько хорошими отметками, сколько своей любознательностью, пытливостью — буквально я не могу воспроизвести его ответа, но помню только, что он очень лестно отозвался обо мне и характеризовал меня, как ученика, стоящего выше других. Он только жалел, что своими вопросами я ставлю его иногда в очень затруднительное и неловкое положение.

Гриша, разумеется, передал мне все это и сообщил еще, что Хлебников только временно остается в Могилеве, а после будет п р о ф е с с о р о м, то есть одним из таких ученых, о которых я уже в Шклове составил себе, хотя и крайне смутное, чуть не мифическое, но чрезвычайно высокое представление. Естественно, что мои симпатии и ува-

жение к Хлебникову крайне усилились и зародили во мне желание — или, точнее, мечту — о том, как бы поближе стать к нему. Не знаю, хватило ли бы у меня храбрости пойти к нему на дом. Но одно обстоятельство скоро придало мне решимости сделать это.

Весной 1866 г., в связи с Каракозовским покушением, полиция произвела у Н. И. Хлебникова обыск и оставила его под домашним арестом на несколько дней. Никаких оснований для этого обыска не было: Хлебников был учеником Бориса Чичерина, придерживался умеренно - либеральных, почти правых взглядов и ни малейшего участия в политике не принимал. Недоразумение очень быстро раз'яснилось и домашний арест с Хлебникова был снят по телеграмме из Петербурга.

Но для Могилева и, особенно, для нашей гимназии, это было целое событие. На меня, в частности, эта история произвела тем более сильное впечатление, что она казалась мне непонятной и таинственной, как, впрочем, и само покушение Каракозова. Желание познакомиться с учителем усилилось во мне настолько, что мне трудно было дальше противиться ему.

Вспомнив, что учитель с похвалой отозвался обо мне у Гуревичей, я набрался храбрости и пошел к Н. И. Хлебникову на квартиру, под предлогом спросить совета, что читать по истории. Учитель принял меня радушно, но совет дал довольно странный, — рекомендовал читать «Историю государства Российского» Карамзина.

Н. И. Хлебников был первым, действительно образованным, в полном смысле интеллигентным

человеком, которого мне пришлось встретить. Все свободное время он проводил среди книг, готовясь к магистерскому экзамену и работая над диссертацией. Он прожил в нашем городе всего около трех лет, после чего получил кафедру в Варшавском Университете, откуда позже перешел в Киевский Университет Св. Владимира[1]).

Для меня встреча с ним имела огромное значение: долгое время в нем воплощалась для меня вся наука, вся высшая культура.

Хлебников предложил мне приходить к нему и читать у него. Я приносил к нему свои книжки, сидел у него в комнате и читал про себя, а он в это время занимался своей работой.

Я не могу сказать, чтобы он проявлял намерение, или стремление руководить моим развитием, направлять мое чтение. Но мне доставляло невыразимое удовлетворение общение с ним и то, что я мог проводить долгие часы в непосредственной близости с ним, время от времени делясь с ним своими впечатлениями и мыслями.

Особый толчок нашему сближению дала болезнь Хлебникова. Жил он совершенно один, ходить за ним было некому. Я стал ухаживать за больным; забросил занятия в гимназии, проводил у него дни и ночи, как сиделка. Так продолжалось, если память меня не обманывает, 2—3 месяца, пока учитель не поправился. . .

---

[1]) Он умер в 80 или в 81 г. сравнительно молодым человеком — кажется, ему еще не было и сорока лет. Из его больших исторических исследований в моей памяти сохранились названия только двух книг «Влияние общества на организацию государства в конце XVI в.» и «Общество и государство в домонгольский период»

В это время я уже не был тем шкловским мальчиком, который с трепетом заслушивался проповедями «магидов». Мне шел 16-тый — а может быть и 17-тый год. И три года, проведенные в Могилеве, не прошли для меня бесследно.

У меня оставалось преклонение перед всем духовным и некоторое пренебрежение, или, по крайней мере, индифферентизм к житейским успехам и матерьяльным благам. Но уже не было и следа прежнего религиозного настроения. Первый тяжелый удар цельности этого настроения нанесла случайно попавшаяся мне в руки популярная книжка по астрономии. Сразу явились сомнения, вопросы, недоверие к священным книгам. Сперва я считал эти сомнения страшным грехом, гнал их прочь, горячо молился, чтобы Бог вернул мне поколебленную веру. Затем настала полоса, когда мне казалось, что я нашел примирение между верой и сомнениями: в священных книгах, думал я, все, что мы можем знать о Боге, выражено иносказательно, так что нельзя понимать буквально такие места писания, как рассказ о сотворении мира в шесть дней и т. п. Эта полоса религиозного рационализма вскоре сменилась простым безразличием: вопросы религии перестали интересовать меня.

Летом, когда я уже перешел в 4-ый класс, опять-таки случайно попал мне в руки томик Белинского. Я был совершенно не подготовлен к такому чтению и очень многого не понял. Но меня с неудержимой силой захватил энтузиазм автора, его страстный порыв к свету, к добру, к справедливости. Как глубоко волновали меня слова Бе-

линского о высоком призвании человека, о служении человечеству и общечеловеческому прогрессу, о красоте и ценности человеческой мысли, воодушевляемой стремлением к правде и справедливости! Мне казалось, что какая то сверхземная сила исходит из его произведений и вливается в мою душу.

Я составил себе определенное представление о духовном облике этого писателя, которого сразу так страстно полюбил, что жаждал хотя бы во сне увидеть его и говорить с ним. И мое представление о нем было до того яркое, до того живое, что мне кажется, иногда я действительно видел Белинского во сне.

Повышенное, восторженное настроение питалось и поддерживалось во мне и чтением Тургенева, герои и — в особенности — героини которого казались мне олицетворением, воплощением тех самых высоких, идеальных стремлений, великим проповедником которых являлся для меня Белинский.

У меня сама собой возникла настоятельная потребность делиться своими новыми впечатлениями и настроениями с теми, кто мог бы воспринять их, или в ком я замечал хотя бы зародыши способности разделять их. Но среди гимназистов моего класса (4-го) я таких не встречал.

За редкими исключениями, это были лентяи, остававшиеся по 2 года в классе. Мои одноклассники были на два-три года моложе меня: ведь обычный нормальный возраст для вступления в первый класс был десятилетний, а мне, когда я был принят в первый класс, было больше 13 лет. Большинство из них было в некоторых, а, может быть, и во многих

отношениях развитее меня, или точнее, получило дома от родных и знакомых гораздо более широкий круг элементарных представлений и понятий о мире и русской жизни, чем я. Я, например, чуть не только в третьем классе услышал о крепостном праве, об освобождении крестьян от него. И об этом событии, как и о самом крепостном праве, я не имел сколько - нибудь конкретного, ясного представления. Не помню, насколько я подвинулся вперед в этом отношении в 4-ом классе гимназии. Между прочим, как скудны были мои «знания» и конкретные представления о жизни за пределами узкого круга, в котором я жил, можно судить по тому, что только во время переходных экзаменов из 4-го в 5-ый класс я впервые услыхал о существовании железных дорог, — услыхал по тому поводу, что в 6-ом или 7-ом классе ученикам задано было сочинение на тему: — «О пользе железных дорог».

Как бы то ни было, — среди 13 или 14 летних мальчиков, каковыми было большинство учеников 4-го класса, я не мог встретить сочувствия новым мыслям и стремлениям, волновавшим меня. Не мешает отметить тут и то обстоятельство, что и в этом классе ученики отнюдь не забывали, что я — «жидок», и что большой товарищеской близости у меня с ними не было. Только с одним учеником — не помню, 5-го или 6-го класса — Туром я как то сблизился и даже подружился.

По прежнему близкой, родной мне средой, в которой я мог бы иметь друзей и встречать сочувствие своим мыслям и настроениям, была еврейская. К тому времени, о котором у меня теперь идет речь, русская грамота была уже довольно сильно рас-

пространена среди могилевской еврейской молодежи — главным образом, в зажиточных слоях. И чуть не большинство родителей сознавало необходимость умения читать и писать по-русски, знания арифметики, и т. д. Продолжая по прежнему главные усилия и средства употреблять на то, чтобы дети (мужского пола) корпели над священными книгами и, в особенности, над талмудом (в зажиточных семьях до самой женитьбы), не совсем бедные евреи нанимали учителей для обучения детей и русской грамоте, и, вообще, предметам элементарного образования. Учителя эти почти сплошь вербовались из среды молодых евреев, окончивших среднее еврейское казенное училище, или из еврейских гимназистов, которых, впрочем, во время моего пребывания в Могилеве, можно было перечесть по пальцам. Таким учителем стал и я, начиная с третьего класса. А в четвертом, в особенности же в пятом, я приобрел, или начал приобретать, исключительную популярность среди учащейся еврейской молодежи. Но этой «популярностью» я обязан был не своим преподавательским способностям, которых, как я впоследствии понял, у меня вообще не было, или, во всяком случае, было не больше, чем у других учителей, дававших частные уроки еврейским детям. Я ее приобрел, благодаря беседам, в которые я вступал с наиболее интеллигентными и любознательными учениками после уроков. В этих беседах я касался вопросов, фактов и событий, волновавших меня и возбуждавших или способных возбудить интерес и любопытство ученика. В большинстве случаев, в беседах этих затрагивались вопросы религии, национальные тра-

диции, обычаи и предрассудки, господствовавшие среди евреев.

Не помню, руководился ли я при этом с самого начала определенной целью, какими-нибудь ясными соображениями, или же начал так пользоваться уроками случайно, толкаемый, быть может, инстинктом. Как бы то ни было, но мало-по-малу, моя примитивная «просветительная» деятельность приняла характер осмысленной, вполне сознательной работы над приобщением русского еврейства, то есть, пока, местной учащейся еврейской молодежи, к культурному миру, воплощавшемуся для меня в Белинском, Тургеневе и его лучших героинях, и конечно, также в Хлебникове.

Круг моих знакомых среди молодежи и искавших знакомства со мной все более расширялся; постепенно я стал центром притяжения для лучших, наиболее передовых элементов еврейской молодежи в Могилеве. Особенно отчетливо и осязательно это стало для меня в последних классах гимназии.

Но фанатические хранители неприкосновенности патриархального быта, исконных обычаев и верований еврейского народа уже раньше почувствовали во мне врага, от которого необходимо как-нибудь избавиться, чтобы спасти детей и взрослую еврейскую молодежь от «пагубного влияния».

Параллельно с распространением русской (а в некоторых случаях и немецкой) грамоты и стремления или вкуса к просвещению, в связи с все более и более возроставшим влиянием светской еврейской литературы, попадавшей и в Могилев, в местной еврейской среде развивался и антагонизм между

«отцами и детьми». В среде молодежи зародилось и росло стремление освободиться от деспотизма родительской власти, ревниво охранявшей старину, избавиться от гнета религиозных традиций и получить свободу жить и думать, отступая более или менее от старых заветов и требований ортодоксии. Это уже само по себе раздражало знаменосцев и охранителей старых устоев еврейства; но, как это обыкновенно бывает в переходные периоды от старой, отживившей или умирающей культуры к новой, более высокой, и в данном случае среди приверженцев новизны оказалось не мало таких, которые с наибольшим усердием усваивали как раз отрицательные ее стороны. Дух «свободомыслия» принимал у них отталкивающий, циничный характер, компрометировавший в глазах еврейской массы всякое свободомыслие и стремление к просвещению.

Во всем этом ортодоксы считали виновным меня, хотя я сам очень отрицательно относился к таким проявлениям «вольного духа», как оскорбление религиозного чувства, кощунство над общепризнанными религиозными предписаниями и нравственная распущенность. Меня возмущали, например, еврейские гимназисты, открыто курившие в субботу на улице. Я опасался, что такого рода выходками воспользуются ортодоксальные староверы, как орудием, в борьбе против просвещения, вообще, и против отдачи еврейских детей в русские школы. В частности, отталкивал меня также цинизм во взглядах разных вольнодумцев на женщин и возмущала их тенденция к внесению вольных нравов в отношения с девушками в кругу передовой молодежи. Я стремился к установлению

идеальных, чистых отношений между молодыми людьми обоих полов, к их сближению на почве совместных чтений, бесед и невинных развлечений. Питало и поддерживало во мне эту тенденцию идеализированное представление о женщинах и о любви, которое сложилось в моей голове под влиянием Белинского и Тургенева. Но в глазах хранителей старины мои новшества в отношениях между обоими полами молодежи являлись столь же греховными, как самые заурядные проявления нравственной распущенности.

Так как они считали меня главным, вернее, единственным виновником новых настроений в местной еврейской молодежи, то я должен был стать козлом отпущения за все ее мнимые и действительные прегрешения. Когда кто-нибудь указывал на то, что я, в отличие от других еврейских гимназистов, не щеголяю безбожием, не курю в субботу, вообще веду себя совсем не как злостный еретик, то некоторые, даже из лично расположенных ко мне евреев, возражали: «Те гимназисты — просто нахалы и дураки, а Аксельрод и есть настоящий еретик, гораздо более опасный для наших детей, чем они!»

И вот, в один прекрасный день (я был тогда в пятом классе) я вдруг лишился всех уроков — и остался без всяких средств к жизни. Поводом или толчком к этой решительной мере против меня послужило то, что один еврейский гимназист, кажется, третьего класса (но уже сравнительно взрослый, почти юноша) принял православие. За две или три недели до того ко мне пришел его дядя, рассказал мне, что до него дошел слух, что его племян-

ник собирается креститься, и слезно умолял меня, чтобы я всеми силами старался предупредить это «несчастие». Я, со своей стороны, считал своим долгом выяснить этому юноше громадный вред, который он нанесет делу просвещения евреев в Могилеве, если он, действительно, крестится. Но он клялся и божился, что ничего подобного у него в мыслях не было и нет. А недели через две или три он исчез из города. Оказалось, что один из советников губернского правления давно уже обрабатывал его и удостоился чести быть его крестным отцом.

Для ортодоксов ясно было, как день, что все это дело моих рук; они были убеждены, что без моего ведома этот гимназист не решился бы на такой шаг. И они решили, что, лишив меня уроков, они этим вынудят меня оставить Могилев и тем самым положат конец моему «зловредному» влиянию на местную молодежь. Их рассчет — по крайней мере, на некоторое время — вполне оправдался. Даже те из евреев, которые не сочувствовали гонению против меня, уступая давлению богатых и влиятельных членов еврейской общины, все же отказали мне в уроках.

Я очутился в безвыходном положении; буквально нечего было есть, да и своей комнаты у меня очень скоро не стало. Случайно я получил приют в пустом доме, где мог спать на полу. Гриша выручал меня, насколько мог, — главным образом или исключительно, натурой, принося мне куски хлеба. Ведь он был почти еще совсем мальчиком; а отец его был главным, или одним из главных

виновников постигшей меня кары[1]). Вскоре Гришу отправили в Германию, в частную школу — и я лишился и его скудной помощи.

В эту критическую минуту я вспомнил, что — по сообщениям некоторых лиц — в Нежине есть лицей, в который сравнительно легко принимают, так что в течение какого-нибудь года я мог бы подготовиться настолько, чтобы выдержать туда экзамен и стать студентом. Деньги на дорогу мне «одолжила» мать невесты моего отсутствовавшего тогда приятеля Тура, и я отправился в Нежин.

В Нежине меня поселил у себя один могилевец-студент лицея. Студент был добряк и хороший товарищ, и готов был делиться со мной последним куском, но, на мое несчастие, он сам жил кое как, уроками и, по большей части, гонорар получал натурой, в виде обеда и, вероятно, ужина. Дома у него редко бывало хлеба вдоволь; я отламывал обыкновенно хлеб тоненькими ломтями, точно пряник. «Обед» или «ужин», состоящий из хлеба со сладким чаем, был для меня редкостью, целым пиршеством. Несколько недель, если не больше, мне пришлось буквально голодать. Но потом я познакомился с одним еврейским гимназистом — Семеном Лурье, доставившим мне урок. Он был, кажется, в четвертом классе. Мне придется говорить о нем в одной из следующих глав. Здесь же отмечу только, что это был способный, интеллигентный мальчик, вернее, почти юноша (ему шел, кажется, 16-ый год), с явными задатками благо-

[1]) Старик Гуревич по торговым делам жил обыкновенно в Киеве и дома редко оставался больше нескольких месяцев, потому воспитанием детей и всеми домашними делами заведывала его жена, гораздо более умная, чем муж.

родного, хорошего человека. Понравился я его родителям, в особенности отцу, который почему то решил, что я могу иметь благотворное влияние на его любимого сына и на его развитие; в виду этого родители Лурье взяли меня к себе в дом на полный пансион.

Теперь мне оставалось только спокойно начать готовиться к экзамену для вступления в лицей.

Но тут я неожиданно получил от Хлебникова телеграмму:

«Необходимо сейчас поступить в гимназию, или стать солдатом».

Как я впоследствии узнал, случилось вот что.

Шкловское общество узнало о том, что я вышел из могилевской гимназии. А в это время как раз шел набор. Вот и решили, вместо того, чтобы отдавать в рекруты какого-нибудь благочестивого молодого человека, сплавить с рук парня, который погряз в ереси и перестал быть евреем.

Дальше оставаться в Нежине я не мог: до экзаменов в лицей ждать было долго, и за это время я как раз угодил бы на 25 лет[1]) под солдатскую шапку. Знакомые студенты посоветовали мне отправиться в Киев, чтобы там поступить в гимназию, и я, не теряя времени, двинулся в путь.

До Киева я добрался без приключений, но в гимназии, куда я обратился, меня ожидало горькое разочарование.

По наивности, я показал директору гимназии телеграмму Хлебникова. Директор прочел ее и

---

[1]) Это было в 1869 году, до военной реформы.

вернул мне со словами: «Что-ж, почему не послужить?»

В Киеве мне больше нечего было делать. Приходилось думать уже не о гимназии, а о том, чтобы как-нибудь пережить тревожное время, пока не закончится набор. Я вспомнил, что около местечка Климовичи, Черниговской губернии, живут в своем маленьком поместье родители моего большого приятеля по могилевской гимназии, Тура. Решился отправиться к ним.

Отец Лурье, бывший в то время в Киеве, дал мне на дорогу 10 рублей. Из Киева я поехал по железной дороге, но вскоре сообразил, что этак на дорогу моих капиталов не хватит, и дальше продолжал путь пешком.

Это было целое путешествие, — я пробыл в дороге недель шесть.

В Рыльске из-за разлива реки я не мог продолжать путь и должен был остановиться на почтовой станции, где надеялся найти попутчика, чтобы доехать до такого пункта, с которого я мог бы продолжать свой путь пешком. Мне посоветовали обратиться к проезжему офицеру (ехавшему по казенной надобности), задержавшемуся из-за трудности переезда через реку. Я последовал совету и, разговорившись с ним, показал ему телеграмму Хлебникова. К счастию, офицер оказался порядочным человеком и дал мне хороший совет: «Этой телеграммы, сказал он, вы лучше всего никому не показывайте!» С офицером я ехал до Новгорода-Северского, а дальше целыми днями, с раннего утра и до самого вечера, я шел один, то меж полей, то через глухой лес. Признаюсь, иногда мне ме-

рещился, особенно в сумерки, вдали не то медведь, не то волк, который потом оказывался большим толстым пнем, или чем-нибудь в роде этого.

Во время этих странствований мне невольно приходило на память то, что я всего около девяти месяцев тому назад старался изобразить в повести «Старые погудки на новый лад», ребяческой попытке нарисовать картину борьбы новаторов среди евреев с консерватизмом и фанатизмом ортодоксов. Хлебников, которому я проговорился об этой своей литературной затее, очень решительно высказался против нее, ссылаясь на мою молодость и совершенное незнание мною жизни и указывая на то, что и произведения гениальных художников в таком возрасте выходили из рук вон плохими. Он мог бы к этому прибавить, что у меня нет, даже в зародыше, задатков хотя бы для посредственного беллетриста. Но он, повидимому, не подозревал, до какой степени я лишен природой самых элементарных способностей для выполнения задуманной мной и уже значительно подвинувшейся вперед и литературной «работы». Энергичные увещания любимого и более чем уважаемого учителя не могли не заставить меня отказаться от продолжения моей «повести» тем более, что обыкновенно Хлебников не считал нужным скрывать от меня, что он ставит меня интеллектуально выше всех учеников, а иногда, при подходящем случае, совсем не педагогически так лестно высказывался о моих способностях или уме, что я легко мог заразиться большим самомнением.

Как бы то ни было, в названной «повести» я успел довести своего героя до того, что еврейское общество сдало его в солдаты. И вот мне самому

4*

грозит опасность попасть в солдаты за то самое за что герой моей повести подвергся этой участи! Мысль о том, что против меня подняли гонение богачи и власть имущие в городском еврейском обществе Могилева и Шклова, будила во мне чувство гордости, давала мне большое, нравственное удовлетворение, — и в моем воображении мелькали образы из книг, образы мучеников идеи, пострадавших в борьбе за просвещение, за правду и справедливость.

Наконец, я добрался до Климовичей. Родители Тура приняли меня радушно. Но я прожил у них не долго и вскоре устроился учителем в доме соседнего помещика.

Спустя некоторое время, я получил из Могилева письмо, сообщавшее мне, что рекрутский набор закончился, и что я могу теперь спокойно вернуться в город и снова поступить в гимназию.

Я вернулся в Могилев, сдал экзамены для перехода в 6-ой класс гимназии, и жизнь моя вошла в прежнюю колею.

За время моего отсутствия из Могилева атмосфера злобы и раздражения против меня несколько улеглась, давление «общественного мнения» охранителей старины не так сильно давало себя чувствовать; некоторые из них, повидимому, примирились с моим пребыванием в Могилеве, как с неизбежным злом. И довольно скоро после моего возвращения у меня снова явились уроки, а затем возобновилась и моя работа по «подрыванию основ» еврейской старины.

В то же время у меня постепенно установились относительно близкие отношения с лучшими,

наиболее интеллигентными товарищами из христиан; да кроме того, я несколько сблизился с учителем русского языка в средних (а, может быть, и низших) классах гимназии, Барановским и с директором женской гимназии, бывшим учителем словесности нашей же гимназии. Хлебников скоро уехал в Варшаву; мне, по крайней мере, помнится, что в шестом классе, особенно под конец, у нас был другой учитель истории, уж совсем иной породы.

Барановский был добряк, очень и очень поверхностно затронутый в университете брожением среди студенчества; умственный и политический кругозор его, духовные интересы и запросы были так ограничены, что Хлебников иронически отозвался о нем: «Он говорит о *массе*, а между тем, он же сам и принадлежит к этой массе». На умственное развитие учеников он так же мало или совсем не влиял, как другие учителя. Но он отличался от них большей простотой обращения, большей доступностью; коекто из старших учеников, насколько помню, бывал даже иногда у него на дому. Я, во всяком случае, нередко бывал у него, то по приглашению на чай, то по «делу». Помню, например, что мне приходилось просить его о заступничестве в пользу молодых евреев — самоучек, приезжавших экзаменоваться для получения права преподавать в первоначальных еврейских школах.

Директор женской гимназии, по фамилии Твердый, очень порядочный человек, был, как мне, по крайней мере, тогда казалось, интеллигентнее, образованнее Барановского. Не помню, как и по какому поводу я ближе познакомился с ним[1]). Знаю

[1]) Вероятно, у Хлебникова.

только, что я иногда спрашивал его мнение о тех мыслях, которые я излагал или собирался изложить в «сочинениях» на темы, которые задавались в последних двух классах. При случае я, со своей стороны, делился с ним своими планами и соображениями, особенно относительно просвещения евреев. На этой почве мне приходилось обращаться и к его содействию или покровительству.

К концу 60-ых годов число евреев, склонных отдавать своих детей в гимназию, заметно увеличилось. Но всех их или многих удерживало от этого то обстоятельство, что в гимназию нужно ходить в праздничные для евреев дни, и опасение, что детей там заставят даже писать в субботу.

Вот я и обратился к директору женской гимназии с просьбой-предложением устранить это препятствие к вступлению в гимназию еврейских девушек. Мое ходатайство увенчалось успехом. В мужской же гимназии еврейским ученикам и прежде разрешено было в субботу не писать. Помню, что я с самого начала, без особых усилий, получил для себя эту льготу.

В гораздо большей степени, чем до поездки в Нежин, я сознательно, осмысленно руководился теперь в своей, если позволено мне так претенциозно выразиться, «просветительно-пропагандистской» деятельности, определенной целью: идеей европеизации еврейства. Термина этого я тогда не употреблял, да, быть может, точнее было бы обозначить эту цель словом «руссификация». Но дело в том, что в моем представлении усвоение евреями русского просвещения и культуры сливалось с приобщением евреев к общечело-

веческому прогрессу. Необходимой предпосылкой для этого являлось, разумеется, распространение в еврейских массах русской грамоты.

Мне кажется, однако, что попытку устроить нечто в роде вольной еврейской школы грамоты для бедных я сделал, будучи еще в 5-ом классе. Несколько юношей и подростков-грамотеев из зажиточных семей охотно вызвались быть «учителями» в этой импровизированной школе. Поместились мы в старом, полуразрушенном доме, и некоторое время дело шло очень недурно. Среди учеников были и совсем взрослые молодые люди. Сколько их набралось, не помню. Но недолго пришлось просуществовать нашей школе. Слухи о ней дошли до директора гимназии (в то время являвшегося также начальником учебных заведений всей губернии), и он не замедлил призвать меня, сделал мне строгое внушение и приказал немедленно закрыть школу.

Другого рода попытка, сделанная мною в пользу просвещения еврейской молодежи вообще, характерна, между прочим, тем, что я имел наивность обратиться за помощью для ее осуществления к губернатору и к сыну (или племяннику) вице-губернатора, бывшему тогда редактором «Губернских Ведомостей».

У меня явилась мысль устроить библиотеку-читальню, где могла бы сходиться передовая еврейская молодежь обоих полов, читать вместе, беседовать и т. д. Привлекала меня, в частности, перспектива облагораживающего сближения девушек и юношей на этой почве. Я рассчитывал на материальную помощь со стороны состоятельных

евреев, выдававших себя за сторонников просвещения и прогресса. Эта надежда оказалась иллюзией. Особенно большие надежды я возлагал на одного богача, о котором говорили, что он близко знаком с губернатором. Я думал, что последнему он не сможет отказать, если тот попросит у него известную сумму в пользу проектируемой библиотеки-читальни. Вот я и написал соответствующее прошение и пошел на прием к губернатору. Но тот прочел бумагу и вернул мне ее со словами: «Это меня не касается».

Гораздо любезнее и, наружно, с сочувствием к моему плану, встретил меня редактор «Губернских Ведомостей». В качестве редактора, рассуждал я, он, само собою разумеется, просвещенный человек, а как близкий родич вице-губернатора, он имеет большие связи и сможет повлиять кое на кого из богатых евреев. Но из обещаний его ничего не вышло; он, как я потом слышал, был пустой болтун и хвастун.

Этот эпизод показывает, каким политическим младенцем я был еще в старших классах гимназии, в таком возрасте, в котором дети передовых интеллигентных семей в Петербурге, Москве или даже в некоторых крупных провинциальных центрах были уже насквозь заражены и пропитаны всякими «тлетворными» идеями и учениями. Но в Могилев — по крайней мере, в среду учащихся — в мое время еще не доходило даже отдаленное эхо этого движения передовой интеллигенции. Я был товарищески близок (относительно) с пятью — шестью лучшими учениками последних двух классов. Лучшими не в смысле прилежного учения или

зазубривания уроков, а по умственному развитию и духовным интересам или стремлениям. Мы не составляли настоящего кружка, но, помню, собирались пару раз для выслушивания и обсуждения реферата кого-нибудь из нас.

Но ни в рефератах, ни в беседах наших «политики» не было. И ни процесс нечаевцев, ни такое великое событие, как парижская коммуна, непосредственно не дали какого-нибудь заметного толчка для нашего пробуждения от политической спячки.

Неудивительно, поэтому, что моя, если можно так выразиться в данном случае, «общественная» деятельность в Могилеве была абсолютно чиста от всякой политической примеси, если не считать за таковую проявления приверженности к Царю. Так, например, неудачу Каракозовского покушения на Александра II я считал большим счастием, так как в моем воображении Царь этот являлся благодетелем своих подданных, вообще, и евреев, в частности, защитником слабых против сильных и блюстителем справедливости. Хотя при переходе в 4-ый класс я уже не исполнял еврейских обрядов и не молился, я все-таки не только счел своим долгом, но и испытывал душевную потребность пойти в синагогу на общую молитву, устроенную евреями по поводу спасения Царя.

А вот пример моего верноподданничества из более позднего времени. На пути в Нежин, где то в Черниговской губернии, я остановился в корчме. Разговорился с мужиками и начал расспрашивать их об их житье-бытье. Конечно, прежде всего они ругали помещиков и начальство. Но в разгар беседы кто-то из крестьян выразился так, что и царь

виноват в их бедственном положении. И вот я с величайшим рвением пустился об'яснять и доказывать им, что царь ни телом, ни душой не виноват, что его обманывают и т. д. А прощаясь, советовал, чтобы крестьяне всей губернии сговорились между собою и прежде всего подали жалобу на своих притеснителей губернатору.

Из моей деятельности среди еврейской молодежи в последние два года моего пребывания в Могилеве отмечу следующий, не безинтересный эпизод. Кроме Гриши Гуревича, я впоследствии особенно близко сошелся с одним юношей из благочестивой, фанатически-консервативной семьи, не очень зажиточной, но по своим родственным связям принадлежавшей к аристократической среде местного еврейства. Это был Лейзер Цукерман, поступивший около 10 лет спустя наборщиком в типографию «Народной Воли», откуда, как известно, попал на каторгу, где впоследствии покончил с собою. Лейзер был даровитый юноша, а его заставляли сидеть целыми днями за талмудом. Ему прочили будущность большого ученого раввина, а он уже вкусил от древа познания, тайком почитывал произведения новой еврейской литературы, сам пописывал стихи и посылал в газету «Гамелиц» целые сатиры на местных изуверов и фанатиков. Он чувствовал себя, точно в темнице, жаждал доступа к образованию, но не знал, как освободиться от оков родительских и своей богатой родни. Аналогичное стремление одушевляло еще одного из близко знакомых мне юношей[1]). И вот, после многократных обсуждений вопроса о том, как выйти из этого поло-

[1]) Его фамилия была Виленкин.

жения, я посоветовал им уехать в Житомир и там подготовиться и поступить в казенное «раввинское училище», подготовлявшее кандидатов на должности казенных раввинов, учителей для светских еврейских школ и «ученых евреев» при губернаторе. На этом и порешили. Но где и как достать средства для осуществления этого плана? Вот тут то мне оказал большую помощь учитель гимназии Барановский, о котором я уже упоминал. Он достал необходимые деньги, и в назначенный день я и, кажется, еще один молодой человек, посвященный в нашу тайну (Гриша, если я не ошибаюсь, был в это время уже заграницей) проводили их в сумерки в дорогу.

Поиски за беглецами начались уже глубокой ночью, а к утру слух о побеге разнесся среди всего еврейского населения города. В том, что я виновник этой «катастрофы», никто не сомневался. В это утро мне пришлось проходить в гимназию по улице, буквально запруженной евреями. И я слышал позади себя негодующие возгласы: «Вот он»! «Это он устроил».

Помню, я испытывал некоторое удовлетворение от сознания, что все эти богатые, властные люди ничего не могут поделать со мной, что в их среде пробита брешь, что стремление молодежи вперед сильнее их...

Впрочем, в данном случае, мне не удалось вывести моих юных знакомцев на широкую дорогу: путешественников изловили в Гомеле и вернули под отчий кров.

Как только я узнал, что за ними устроена погоня, я отправился за советом к директору женской

гимназии, Твердому. Он меня направил к прокурору, как к очень «либеральному и хорошему человеку» — точно не помню, как он его рекомендовал. Прокурор принял меня любезно, внимательно и сочувственно выслушал, но, в конце концов, ответил: «Ведь теперь время набора, я обязан был бы их даже арестовать. Стало быть, предпринять что-нибудь против родителей этих молодых людей я не имею никакой законной возможности». Пришлось до поры, до времени примириться с неудачей. Однако сношения обоих юношей со мною не прекратились. Только они с тех пор стали посещать меня «нелегально» и, вообще, тайно встречаться со мною.

Теперь консервативным элементам уже гораздо труднее стало найти средства избавиться от меня. Во-первых, мне уже не так трудно было найти уроки и в христианских домах. А во-вторых, и молодежь стала более упорной в отстаивании своего права брать уроки у учителя, который, по тем или иным соображениям, ей больше нравится, чем другие преподаватели. Да и помимо уроков, у меня было достаточно возможности влиять на молодежь. Поэтому отец двух девушек, которым я довольно давно давал уроки и с которыми я был довольно близок, придумал следующий способ спасти их от моего влияния.

Однажды является ко мне его служащий (управляющий) и с таинственным видом говорит мне: «Вы можете теперь сделать свое счастье... Родители хотят отослать дочерей в Берлин. Уговорите их, чтоб они поехали. Вам будет за это 1000 рублей». Я никак не мог понять, за что предлагает он мне деньги. Наоборот, я был очень рад

тому, что девушки поедут заграницу, увидят новые места, повстречаются с новыми людьми. Но родители их опасались, что я помешаю осуществлению их намерения, и решили купить мое согласие! Управляющий своим ушам и глазам не верил от изумления, услышав от меня решительный отказ сделать таким образом свое «счастье».

К концу 60-ых и началу 70-ых годов новаторские тенденции среди могилевских евреев и оппозиционный дух их передовой молодежи заметно усилились, а дух активного, фанатического сопротивления новаторам относительно ослабел. Это доказывается, как тем фактом, что побег двух юношей из почтенных семей не повлек за собой никаких неприятных последствий для меня и очень мало отразился на положении самих пойманных беглецов, так и тем, к какому средству счел необходимым прибегнуть один из самых крупных богачей города для того, чтобы избавиться от моего влияния на его дочерей. Ему пришлось решиться отправить их заграницу, да к тому еще заручившись заранее моей санкцией на это! Но еще рельефнее проявилось это изменение соотношения сил представителей новых веяний и их противников в том, что даже мое открытое выступление против монопольной власти «патрициев» в Шклове осталось для меня совершенно безнаказанным.

Летом 1870 г. я узнал, что в Шклове разгорелся конфликт между ремесленниками и заправилами еврейской общины. Поводом являлся вопрос о выборе нового старосты, так как полномочия старого истекли. Чуть не двадцать лет, если не больше, официальным главой еврейской общинной

администрации оставался один и тот же староста. Выборы, производившиеся в определенные сроки, были только формальным актом, утверждавшим прежнего старосту в его должности на новый срок (трехлетие или пятилетие, не помню точно).

Староста и его сотрудники в кагале были фактически ставленниками богачей, творили их волю и управляли общиной в их интересах — на счет бедняков. Всякие повинности, рекрутскую повинность, налоги и т. д. — все это местная плутократия, через посредство своих излюбленных людей в кагале, взваливала на слабые плечи малоимущего и совсем бедного населения. Пред'явленное ремесленниками требование выбора нового старосты, и именно их кандидата, было, как мне казалось, проявлением протеста бедного населения против неограниченного господства богачей, выступлением демократии против «патрицианского режима».

Меня заинтересовал возникший в шкловской общине конфликт, и я отправился в Шклов, чтоб на месте узнать, в чем дело и, может быть, даже вмешаться в него. Беседы с одним или несколькими из вожаков укрепили меня в моих априорных симпатиях к демократической оппозиции (не помню, выражался ли я тогда в этих именно терминах). И в беседах с ее вожаками я, конечно, всецело стал на их сторону. Пришлось мне при этом выступать и против некоторых из тех представителей правящих сфер общины, которые в свое время помогли мне получить «увольнительное свидетельство» для поступления в гимназию, и с которыми я, будучи уже в гимназии, поддерживал хорошие, почти дружеские отношения. Очень огорчало меня, что

мне приходится стать на сторону их противников, но выбора не было, — и я решил пожертвовать их приязнью и расположением ко мне. Из разговоров с главным вожаком ремесленников я узнал, что кандидатом своим в старосты ремесленники выставляют никого иного, как племянника одного из тех самых богачей, которые принадлежат к старой правящей клике. Племянник этого богача и сам был довольно богатенький и, по всему своему образу жизни и повседневным житейским связям и отношениям, являлся плотью от плоти и костью от кости местной еврейской «аристократии». Я и его посетил и, если память меня не обманывает, вынес из разговора с ним не совсем благоприятное впечатление. Кажется, что у меня явилось подозрение, что он стал на сторону бедноты только вследствие недовольства или озлобления — по какой то причине — против руководящих сфер, и что он желает только использовать демократическую оппозицию для своих демагогических и честолюбивых целей.

Какие советы я давал ремесленникам, я не помню, — едва ли особенно продуманные. Их достаточно характеризует тот факт, что я им предложил прислать в Могилев выборных представителей для подачи губернатору жалобы и прошения о том, чтобы он заступился за бедное население Шклова против произвола богачей. Жалобу составить я обещал им в Могилеве. Однако опытной в делах управления своей общиной «аристократии» удалось, повидимому, одержать верх над оппозицией — староста не был сменен и порядки остались прежними. Ходатаев в Могилев оппозиция не прислала. Но я, с своей стороны, решил,

тотчас по возвращении в Могилев, прибегнуть к гласности.

Редактором «Губернских Ведомостей» был тогда известный драматург Потехин. Я написал и дал ему довольно большую статью, полную обличений режима богачей и их кагала в Шклове. Это была первая моя статья в печати. Она произвела такое впечатление на Потехина, что он пустился со мною в беседу на такие темы и по таким вопросам (о сберегательных кассах, о цензуре, о затруднениях, которые ему приходилось испытывать, о хитростях, к которым он прибегает, чтобы обойти подводные камни, и т. д.), о которых я или совсем не имел никакого понятия или имел самое смутное представление. Самолюбие не позволяло мне сознаться в этом, и я, должно быть, имел вид понимающего юного собеседника. Кажется, Потехин приглашал меня сотрудничать, или предлагал пользоваться столбцами его газеты, когда мне это понадобится.

Если бы я несколько лет до того выступил так активно, да притом еще в печати, против правящей клики богачей какого-нибудь еврейского общества, меня бы трижды обрекли на голод и попытались бы сдать в солдаты. А на этот раз это не вызвало даже особого шума, и я по прежнему продолжал давать уроки в еврейских семьях и оставаться в постоянных сношениях с молодежью. Очевидный результат и проявление изменившегося в местном еврейском населении «соотношения сил» между приверженцами застоя и старых заветов, с одной стороны, и прогрессивными элементами, с другой!

Повидимому, и гимназическое начальство заблуждалось относительно степени моего политического развития. Я заключаю это из того впечатления и той тревоги, которые вызвало мое классное сочинение на окончательном экзамене — в 1871 г. Всем ученикам, и мне в том числе, дали тему: «Что посеешь, то пожнешь». И вот через несколько дней, учитель словесности заявляет мне в классе: «Аксельрод, что вы такое написали? Это Бог (или чорт) знает, что такое.» И дальше целый ряд восклицаний, выражающих не то возмущение, не то недоумение. Но ни намека на то, чтобы работа была плоха, — в последнем случае достаточно было бы поставить плохую отметку, а отнюдь не волноваться и выходить из себя. И в самом деле, в течение 4-х или 5 часов, в которые мы писали наше «сочинение» под неусыпным и зорким контролем одного из учителей, я успел написать сочинения для двух или трех товарищей, и все они получили хорошие отметки. Да и вообще мои классные и домашние «сочинения» принадлежали к лучшим. Когда я переходил из 6-го в 7-ой класс, директору вздумалось устроить своего рода торжественное зрелище, в виде публичного выступления одного из окончивших гимназию, с прощальной речью от имени всех своих товарищей и ответа на эту речь когонибудь из перешедших в 7-ой класс учеников. Разумеется, речи эти должны были быть написаны в классе, и назначение «ораторов» было делом учебного начальства. Для произнесения ответной речи назначили меня. Так как у меня отроду не было даже отдаленного подобия ораторского искусства, да если принять еще во внимание мое ев-

рейское происхождение, то само собою очевидно, что выбрали меня в данном случае в «ораторы» только потому, что написанная мною речь показалась директору и учителям лучшею в классе по своему содержанию и «литературным достоинствам». Моя «репутация» по части «сочинений» нисколько не поколебалась и в 7-ом классе. И вдруг на окончательном экзамене такой неожиданный сюрприз, как забракование моего «сочинения»!

Но загадка раз'яснилась, как только появился в классе директор. «Аксельрод», обратился он ко мне», у вас уже заметны скверные черты еврейских писателей: всякого задеть, уколоть», и т. д. в этом духе. Не сразу я сообразил, каких еврейских писателей он имел в виду, с кем из них он находит у меня сходные «скверные черты». О Берне и Гейне я имел смутное представление, хотя кое что из их произведений и читал. И так как мне, к величайшему моему сожалению, абсолютно чужд дар юмора, иронии и сарказма, которым в высокой степени обладали Гейне и Берне, то уже по одному этому мне в голову не могла придти мысль, что директор увидел какое-бы то ни было существенное сходство у меня с этими великими писателями. В действительности же, я никаких задних, политически подозрительных мыслей сознательно не проводил в своей экзаменационной работе. Вместо того, чтобы трактовать заданную тему под углом зрения моральной сентенции и иллюстрировать ее примерами из обыденной жизни и индивидуальных отношений, я во главу угла поставил вопрос о свободе воли и необходимости, как логическую предпосылку для выяснения смысла и значения

изречения: «Что посеешь, то пожнешь». Примеры же для иллюстрации этого изречения я взял из всемирной истории, указав на то, что посеял и что пожал сначала папский, а потом, в новое время, королевский абсолютизм во Франции. Я увлекся, выражаясь нескромно, за неимением более подходящего термина, «философско-исторической» стороной заданной темы, совершенно не думая о нашем, родном, российском, царском абсолютизме. Я в то время еще не сознавал, что царское самодержавие стало и все более становится таким же злом, каким являлся монархический абсолютизм во Франции в 18-ом веке. А гимназическое начальство заподозрило меня в том, что, ссылаясь на примеры из истории папства и французской монархии, я имел в виду и царскийрежим, и предстоящую ему судьбу!

Однако, начальство отнеслось ко мне снисходительно; директор и учитель тут же в классе задали мне другую тему — о Пушкине. И инцидент окончился для меня благополучно. За то меня постигла другая неприятность: я срезался по физике. Я в течение года, вообще, запустил несколько классные занятия, и вот в результате я не выдержал окончательного экзамена, так что и мне могли бы сказать: «Что посеешь, то и пожнешь».

Не хотелось мне оставаться на второй год в классе, и я решил поехать в Нежин, чтобы в то же лето выдержать там дополнительный экзамен по физике для вступления в лицей и затем, впоследствии, перевестись в Киевский Университет.

5*

III. НА РАСПУТЬЕ.
(1871—1872 гг.)

На кондиции в Конотопе. — Душевный кризис. — Лассаль и Гуцков. — Мысли о Лассале и Нечаеве. — План «всероссийской революционной организации». — В Киеве. — Поездка в Одессу и встреча с Желябовым. — «Американский кружок». — Каблиц. — Киевское студенчество в начале 70-х годов. — Крушение моего плана. — Теоретическая подготовка. — «Капитал» Маркса. — Мои «теории».

В лицей мне, действительно, удалось поступить, но остаться в Нежине слушать лекции у меня не оказалось возможности. Здесь нельзя было скоро найти уроки. Ждать, хотя бы только месяц другой, пока удастся получить урок, я тоже не мог, потому что денег у меня было в кармане, как кот наплакал. А семьи Лурье уже не было в Нежине, она переселилась в Киев, да и материальное положение ее, кажется, ухудшилось. И вот, не помню уж кто именно, рекомендовал меня семье Венгеровых (близких родственников покойного профессора — библиографа), живших в Конотопе (недалеко от Нежина) и искавших учителя для младшего сына. Я и поехал туда на «кондицию».

Это была еврейская, но уж совсем обрусевшая семья. Отца не было в живых; мать в некоторой, очень слабой степени, соблюдала религиозные обряды, но дети, два взрослых сына и взрослая дочь, превосходно говорили по-русски, о еврейской религии имели самое смутное представление и находились в гораздо более близких сношениях с христианским населением, чем с еврейским.

Раз в неделю, а иногда и чаще, у Венгеровых собиралась местная чиновничья знать, с исправником во главе. Ничего привлекательного в этой публике, проводившей целые вечера за картами и в пустой болтовне, я не находил. Но сами Венгеровы были мне очень симпатичны, как люди, несомненно очень честные, гуманные и более интеллигентные, чем окружавшая их среда.

Старшего сына (ему было за 30 лет), повидимому, отдаленным образом коснулись даже прогрессивные веяния 60-ых годов. По этой ли, или по другой причине, в доме Венгеровых оказались кое-какие русские книги, из которых некоторые сыграли большую роль в моем развитии. Помнится, что регулярно получался здесь и один журнал, чуть-ли не «Отечественные Записки».

Я был на распутье: передо мною со всей остротой стоял вопрос о дальнейшем направлении моей жизни. И больше всего сомнений вызывал во мне вопрос: готовиться ли к деятельности специально на пользу еврейского народа, для искоренения в нем всяких предрассудков, просвещения широких масс, устранения их бедственного положения и уравнения их в правах с христианским населением России, — или же посвятить себя работе на пользу

всего русского народа. Одно, короткое время, я подумывал о том, чтобы научиться древне-еврейскому языку, с целью заняться потом изучением еврейской истории и написать ее.

В этих сомнениях и колебаниях прошло несколько недель, до приезда ко мне из Могилева Гриши, поселившегося вместе со мной в симпатичной семье Венгеровых. Он сообщил мне о смерти от тифа 15-ти летней Ниси Сыркиной — самой младшей, но и самой выдающейся умом, вдумчивостью и благородством из девушек моего круга молодежи. Я был очень привязан к этой девочке, она мне часто писала о том, что читает, и делилась в письмах ко мне своими мыслями и впечатлениями. В Конотопе я вдруг перестал получать от нее письма и даже на мой телеграфный запрос у ее родителей о ее здоровьи никакого ответа не получил. И вот мой молодой друг привез мне печальную весть о том, что ее уже нет в живых. Эта весть потрясла меня, приковала мои мысли к воспоминаниям о ней и отвлекла на время мое внимание от тех вопросов, которые только что занимали меня, в совершенно другую сферу.

От Гриши я узнал, что Нися вела дневник, который родители ее хранят, как зеницу ока. По моей просьбе, они, однако, прислали его мне в Конотоп. С глубоким волнением перечитывал я страницы дневника, переписывал их и невольно думал о возможности бессмертия души. Так религиозные вопросы снова начали волновать меня. Но теперь мое внимание концентрировалось не на вопросе о том, можно ли верить священным книгам, библейскому рассказу о сотворении мира, обязательно ли

признавать догматы и предписания еврейской религии, а на вопросе о существовании или несуществовании сознательной творческой силы, проще говоря, Бога. И вот в это время мне попалась книга Спенсера «Основные начала». Не совсем утешительны были для меня его выводы. Но читал я книгу все-таки с своего рода эстетическим наслаждением, а агностицизм автора и его замечания, что творческое, непознаваемое начало мироздания, быть может, настолько же выше нашего сознания, насколько часовщик выше сделанных им часов, показались мне настоящим ключом к выходу из лабиринта вопросов и сомнений, волновавших меня.

Но чтение Спенсера все же не освободило меня из под власти того настроения, которое овладело мною по получении вести о смерти моей бывшей молоденькой ученицы. Освободили меня от этой власти и вернули к требованиям жизни две книги, случайно найденные мною в доме у Венгеровых: одна содержала речи Лассаля, а другою был роман Гуцкова «Рыцари Духа». Под впечатлением этих книг во мне сразу пробудилось сознание, что я не имею права так долго предаваться личному горю и из-за него забывать об интересах, вопросах и обязанностях высшего порядка. В мире столь необ'ятное море зла и несправедливостей, перед честными хорошими людьми стоят такие широкие важные задачи! Не грешно ли и не эгоистично ли забывать о них и жить только воспоминаниями о близком человеке, грустить об утрате, хотя бы и чрезвычайно симпатичного и благородного существа? И вот, в дневнике, в котором я записывал свои мысли и думы, в связи

со смертью Ниси, я как бы попрощался с ней, заявив, что отныне возвращаюсь к вопросам и заботам, составляющим содержание реальной жизни.

Лассаль произвел на меня колоссальное впечатление, хотя я многого, очень многого, и притом чрезвычайно существенного, не понял в его речах.

Своим прошлым, — ни своей жизненной практикой, ни чтением, — я не был подготовлен к вполне сознательному усвоению идей Лассаля и к ясному пониманию политической сущности и содержания его агитации. Но я вкладывал в его речи социальный смысл, доступный мне по моим наблюдениям над жизнью в Шклове и Могилеве. О пролетариях я и понятия не имел, хотя это слово, помнится, кое где и попадалось мне иногда, — очень редко и случайно. Я подразумевал под «пролетариями» просто бедных, нищих, трудящихся и угнетаемых богатыми и привилегированными слоями населения, ибо я только и знал эти антагонизмы — между бедными и богатыми, между крестьянскими массами и помещиками, чиновниками, вообще «панами». Частью инстинктивно, а частью сознательно я вносил в слова и речи Лассаля понятия и представления, почерпнутые из наблюдений над антагонизмом сословным и мелко-буржуазным.

И вот, Лассаль обращается к трудящимся, угнетенным и униженным массам с призывом соединить свои силы для смелой борьбы за свое освобождение. И не только за свое освобождение в узком смысле улучшения своей участи, а с целью построить «церковь будущего», завоевать всему миру, всему человечеству всеобщее счастие, всеобщую свободу и равенство, водворить в мире все-

общее братство и поднять его на новую, бесконечно высшую, чем настоящая, ступень цивилизации. Грандиозные перспективы рисовались моему воображению при чтении Лассаля, и сами выступления его на судебных процессах против него и в рабочих собраниях поражали мое воображение. С волнением я читал его гневные атаки на прокурора и гордые обращения к суду во имя идеи «четвертого сословия». Этот гордый язык и авторитетный тон в обращении «подданного», да притом еще еврея, к власть имущим (таковыми я считал прокурора и судей) производили на меня впечатление беспримерного, невиданного зрелища, вызывали во мне восторг и доставляли мне глубокое нравственное удовлетворение.

Перед величественной перспективой водворения в мире четвертым сословием, то есть беднейшими и самыми угнетенными массами, равенства и братства, бледнел и становился совсем маленьким специально еврейский вопрос. «Ведь с освобождением четвертого сословия, говорил я себе, сам собою разрешится и вопрос еврейский». И я решил посвятить свои силы работе на пользу освобождения всех бедных и угнетенных России.

Но как приступить к этой работе, в чем она должна состоять и какую непосредственно практическую задачу преследовать? Импульс и некоторые точки опоры для решения этого вопроса дал мне роман Гуцкова «Рыцари Духа». Он перенес мое воображение в революционную Германию 48 г. и натолкнул меня на две мысли. Во-первых, я пришел к заключению, что в России необходимо

готовить революцию. А во-вторых, что для подготовления ее необходима тайная организация.

О русском революционном движении в 60-тых годах я и смутного представления не имел. Каракозовское покушение прошло для меня бесследно. О процессе Нечаевцев я, на основании обрывочных газетных отчетов, составил себе довольно неопределенное представление. Но теперь, получив от Лассаля и Гуцкова толчок в революционном направлении, я вспомнил об этом процессе и отчетливее понял, что Нечаев и его единомышленники ставили себе целью именно освобождение неимущих и угнетенных и водворение равенства и братства в России революционным путем. Но какая поразительная разница, какая глубокая бездонная пропасть между организатором, вождем и характером германского освободительного движения, с одной стороны, и революционного движения в России, с другой! В Германии вождем явился Лассаль, вооруженный знаниями своего века, импонирующий своей интеллектуальной силой и гениальностью. А у нас — Нечаев, невежественная личность, увлекающая целый кружок на убийство своего товарища. Лассаль — носитель высшей, духовной культуры, а Нечаев — темная, грубая, варварская сила. Чем об'яснить этот поразительный контраст, где его причина?

Мне казалось, что об'яснение этой загадки заключается в том, что наша русская среда не п о д г о т о в л е н а к тому, чтобы давать таких людей, как Лассаль, и потому-то из нее вырастают лишь такие революционеры, как Нечаев! Вывод был ясен: для того, чтобы у нас, в России, стало

возможным появление Лассалей, нужно соответствующим образом п о д г о т о в и т ь общественную среду.

Но как подготовить эту среду? Мысль моя начала работать над этим вопросом. И мало по малу в моей голове выкристаллизировался план обширной всероссийской организации.

В основу ее должны были лечь разбросанные по всем университетским городам России студенческие кружки. Изучая общественные вопросы, знакомясь с Россией, молодые люди готовятся в этих кружках к предстоящей им общественной и революционной работе. Кружки действуют легально. Но главные руководители и вдохновители кружков в каждом городе образуют тайный центр. Связанные одна с другой руководящие группы, существующие во всех университетских городах, выделяют один общероссийский центр, стоящий во главе всей организации. С этим центром сохраняют связь все оканчивающие университет молодые люди, получившие в кружках идейную и революционную подготовку. Таким образом, подготовительная работа в студенческих кружках связывается с работой общественных деятелей во всех областях жизни. Создается мало по малу целая армия людей, об'единенных общими идеальными стремлениями и общественными задачами, работающих над освобождением народа, революционизирующихся все больше и больше в ходе этой работы, и вместе с тем, постепенно революционизирующих окружающую их среду.

Таков был, в общих чертах, план, созревший в моей голове. В Конотопе, кроме Гриши Гуревича,

не с кем было поговорить об этом плане, а между тем мне хотелось, не теряя времени, приступить к делу. Я вернулся вместе с Гришей в Нежин и принялся искать среди студентов лицея товарищей, которые примкнули бы к моему плану.

Но нежинское студенчество оказалось совершенно невосприимчиво к моей пропаганде. Собственно, здесь даже приступить к ней не удалось. Одни из лицеистов были поглощены мыслью о будущей карьере, другие больше всего интересовались картами и водкой. О вопросах общественных большинство совершенно не думало.

Лишь два человека в Нежине заинтересовались моим планом. Но один из них оказался впоследствии просто краснобаем. Серьезней и искреннее отнесся к моему плану Гончаревский. Он отправился в Одессу, чтобы начать там работу среди студентов, а я, с той же целью, перевелся в Киевский университет.

В Киеве я, прежде всего, близко сошелся с Семеном Лурье, окончившим гимназию и вступившим в университет как раз во время моего и Гриши переселения в Киев. Он был способным, интеллигентным, в высшей степени добрым и симпатичным юношей. Таким он остался во всю свою, к сожалению, слишком недолгую жизнь. Меньше, чем через два года нашей совместной работы, он был арестован, нажил в тюрьме болезнь легких, от которой он не избавился и после того, как ему — при помощи товарищей — удалось бежать из тюрьмы и очутиться на свободе заграницей. Здесь, кажется, в Берлине, он женился на Амалии Ратнер, одной из наиболее передовых девушек Могилева, поселился

с ней в Италии, где окончил медицинский факультет и стал практикующим врачом. Но скоро он от быстро развившейся чахотки умер.

Не успел я освоиться с Киевом, приобресть какие - нибудь связи в студенчестве, как получил от Гончаревского письмо с приглашением, или, точнее, с настоятельной просьбой приехать в Одессу. Он обращался ко мне с этой просьбой не только от своего имени, но и от имени одного юноши, с которым он познакомился в Одессе. Этот юноша, писал мне Гончаревский, полон хороших стремлений, но нуждается в руководстве. А так как он богат, то по мнению Гончаревского, он будет полезен нашему делу также и своими средствами. Я решил поехать в Одессу и, смотря по обстоятельствам, остаться там некоторое время.

Готовясь к поездке, я начал расспрашивать некоторых студентов, нет ли у них в Одессе таких знакомых или товарищей, которые могли бы там быть мне полезны, и к которым они могли бы дать мне рекомендации. Один одессит назвал мне как такого товарища, студента (бывшего) Желябова, о котором сообщил, что он был выслан за речь на студенческой сходке, а теперь снова в Одессе. Рекомендации я к нему, однако, не получил, так как никто из киевских студентов, с которыми я говорил по этому поводу, лично с Желябовым не был знаком. А может быть, и не решались рекомендовать меня, так как ведь я был в Киеве совсем, что называется, новичком.

Все же я твердо решил разыскать Желябова.

Но разыскать его оказалось не легко: никто в Одессе не знал его адреса. Насилу, насилу, после

недельных поисков, я нашел его где-то на краю города, в детской школе. Когда я пришел туда, Желябов был во дворе, окруженный детворой, и с увлечением занимался с ребятишками гимнастикой.

Увлечение, с которым он занимался с детьми, его умное, интеллигентное лицо и вся его симпатичная наружность сразу произвели на меня хорошее впечатление и расположили к нему. Я горячо развивал Желябову свой план или программу деятельности; но он отнесся ко всем моим соображениям и перспективам более, чем скептически, скорее совсем отрицательно. Он прямо высказался против нелегальной работы и попытки создания обширной всероссийской организации. Он об'явил себя сторонником легальной культурно-просветительной работы; как на пример, достойный подражания, как на образец общественной деятельности на этой почве, он указал мне на либерального земца, барона Корфа.

Несмотря на его отрицательное отношение к тому, что меня тогда воодушевляло и во что я глубоко верил, прекрасное впечатление, произведенное им на меня, от этого ничуть не пострадало, и наша беседа до самого конца сохранила искренний, я сказал бы, даже почти задушевный характер.

В ходе беседы, уже после того, как разница наших взглядов выяснилась, Желябов обратился ко мне с вопросом, буквальную формулировку которого я не могу припомнить. Но смысл его заключался в том, займусь ли я публицистикой, и вообще, собираюсь ли посвятить себя литературной деятельности. Не знаю, почему он вынес

такое впечатление, и что вызвало с его стороны такое предположение. Но по поводу его вопроса я ему сделал признание, что во мне происходит колебание между влечением к теоретическим занятиям по системе Спенсера и чувством или сознанием долга, требующего немедленного посвящения всех сил непосредственно практической работе. Я признался, что еще не решил окончательно, на чем остановиться; но этим я не хотел сказать, что я склоняюсь к карьере ученого — я говорил лишь о своем влечении к теоритеческой работе для выработки своего революционного мировоззрения в интересах пропаганды. Помнится, что я выразил сомнение в своей способности к призванию настоящего журналиста, но сказал в то же время, что чувствую себя как бы прирожденным пропагандистом и, может быть, буду пытаться и литературно пропагандировать свои взгляды, если мне удастся приобрести необходимые для этого знания. Забегая немного вперед, отмечу, что меньше, чем через год, Желябов приехал в Киев, и тут мы с ним вели беседы уже на чисто революционные темы. О преимуществах земско-либеральной деятельности над революционной уже и речи не было.

Отношение Желябова к моему плану, а также и то, что юноша, ради которого Гончаревский настаивал на моем приезде в Одессу, оказался пустым малым и хвастуном, побудило меня ускорить свое возвращение в Киев. Если такой яркий представитель передовой интеллигенции в Одессе так отрицательно относится к мысли о революционной деятельности и создании всероссийской организации свободо- и народолюбивых элементов, то —

рассуждал я — ясно, что для того, чтобы найти сторонников в Одессе, мне необходимо надолго остаться в этом городе. А так как расчеты на материальную поддержку «богатого юноши» оказались иллюзией и надежда на то, чтобы скоро найти уроки, была также очень слаба, то о более или менее продолжительном пребывании в Одессе и думать нечего было. В Киеве же у меня были, в лице Гриши и Лурье, не только единомышленники, но и личные друзья, готовые оказывать мне всякую помощь. И я, после нескольких недель валандания в Одессе, снова очутился в Киеве.

В Киеве я разыскал прежде всего земляка-могилевца Судзиловского, бывшего на третьем курсе медицинского факультета или только что перешедшего уже на последний курс. Не помню, откуда и как я узнал, что он принадлежит к элите киевского студенчества, революционно настроен и имеет, конечно, значительные связи в местной студенческой среде. Привлечь его на свою сторону, значило для меня приобрести неоценимого сотрудника, гораздо более меня опытного и образованного. И я ему с увлечением изложил свой план действия со всеми главными мыслями и соображениями, приведшими меня к нему. В ответ я услышал от него совершенно неожиданные соображения и предложение вступить в кружок, поставивший себе целью переселиться в Америку и там образовать колонию на коммунистических началах.

«Ваш план», сказал мне мой земляк, «превосходно разработан, и может иметь большой успех. Но чем успешнее пойдет работа в намечаемых вами рамках, чем быстрее будет расти и крепнуть проектируемая

организация, тем хуже будет для русского народа, потому что она будет способствовать развитию и торжеству буржуазии в России».

И вот, исходя из того соображения, что всякая общественная, хотя бы и формально революционная, деятельность в России не может не вести к господству буржуазии над народными массами, Судзиловский старался убедить меня в том, что именно организацией коммунистических колоний в Америке русская революционная интеллигенция сможет самым деятельным образом воздействовать на Россию в социалистическом смысле и помешать воцарению в ней господства буржуазии. «Собственным примером», доказывал он мне, «мы будем пропагандировать социализм, и по мере того, как под влиянием нашей наглядной пропаганды число коммунистических хозяйств, основанных русскими социалистами в Америке, будет расти, социализм будет приобретать силу и в России».

В таких чертах мне запомнился план Судзиловского. А в заключение он, как я уже сказал, предложил и мне переселиться с его компанией в Америку. В виду недостаточности наличных средств для осуществления плана кружка «американцев», он предложил мне жениться на одной могилевской девушке из богатой еврейской семьи (Ратнер), в которой я, находясь в Могилеве, давал уроки. Но об этом предложении мне и разговаривать не зачем было, так как я ко всей затее этого кружка отнесся абсолютно отрицательно.

Признаться, мне была непонятна вся точка зрения Судзиловского на развитие России и на неизбежный результат революционной деятельности

в ней. Он не аргументировал ссылками на Маркса, да я в то время и имени Маркса не слыхал еще. Думаю, что мои возражения и доводы отличались еще большей примитивностью и прямолинейностью, чем его. Самое главное мое возражение заключалось в том, что недопустимо бросить Россию, что нельзя покинуть русский народ, на кровные деньги которого мы учились, что наш священный долг остаться в среде этого народа и работать на пользу ему. Это категорическое заявление было мне продиктовано не только разумом, теоретическими соображениями, но и чувством. Я не только был проникнут сознанием, что мы, «интеллигенты», всецело обязаны своим образованием народным, то есть, главным образом, крестьянским массам, и что на нас лежит огромный долг по отношению к ним, но я живо ощущал мысль об оставлении России, как что-то преступное по отношению к русскому народу, под которым я подразумевал обездоленные, угнетенные и невежественные массы России.

От своего организационного плана мне все-таки довольно скоро пришлось отказаться, как от утопии, лишенной реальной основы. К этому привели меня наблюдения над студенчеством. Но первый, решительный толчок в этом направлении дала мне беседа о моих планах с Каблицем (Юзовым), значительно ускорившим и облегчившим мне подведение итога моим новым впечатлениям и наблюдениям.

Каблиц был уже старым студентом юридического факультета, готовившимся второй раз к окончательному экзамену. По сравнению со мною, совершенным новичком в качестве «радикала», он был ве-

тераном, при том гораздо более меня образованным, не говоря уже об его близком знакомстве с революционным движением 60-ых годов. Новые знакомые, о которых я буду говорить в следующей главе, указали мне на него, как на одного из самых передовых и популярных представителей радикальной среды в Киеве. Вполне естественно, что я поспешил познакомиться с ним и посвятить его в свои планы.

Выслушав меня со вниманием, он сказал:

— План ваш хорош. Один у него недостаток: он построен на песке.

И Каблиц об'яснил мне, что нельзя на студенчестве строить задуманную мной организацию.

— Что же нужно делать? — спросил я.

Каблиц ответил кратко:

— Народ нужно грамоте учить!

В его устах это не было предложением работать в земско-либеральном духе, как предлагал мне в Одессе Желябов. Это было приглашение идти в низы народа с просветительной и революционной пропагандой, призыв, который несколько позже лег в основу «хождения в народ».

Замечания Каблица заставили меня призадуматься тем больше, что я начал уже и сам разочаровываться в студенчестве.

Передовые элементы студенчества, студенты — шестидесятники в это время еще не совсем оправились от оцепенения и апатии, порожденных в них кошмарной историей нечаевского кружка. Вскоре после встречи с Судзиловским, я попал, не помню, каким образом, на небольшую сходку, состоявшую, главным образом, из шестидесятников, или из радикалов переходного момента от конца 60-х к началу

6*

70-х годов. Если память меня не обманывает, там происходили дебаты между членами или сторонниками кружка «американцев» и их противниками. Споры показались мне скучными, и у меня не сохранилось в памяти их содержание, хотя бы в общих чертах. Вообще, я не вынес хорошего впечатления из этого собрания. Это была в Киеве единственная сходка радикального характера в период, непосредственно предшествовавший революционному движению 73—74 г. г. Я, по крайней мере, ни разу не слыхал больше о такого рода сходках, а между тем, благодаря приобретенным мною знакомствам, я был бы приглашен на сходку, если бы таковая состоялась.

Повидимому, наиболее живые и активные радикальные представители молодежи, уцелевшие от погрома по случаю провала нечаевской организации, принадлежали в Киеве именно к группе «американцев», и все они вскоре уехали заграницу — одни, прямо в Америку, а другие в Швейцарию, где и застряли на время, чтобы потом вернуться в Россию. Как впоследствии оказалось, и среди молодежи, отправившейся в Швейцарию в начале 70-х годов, чтобы учиться, было не мало радикально настроенных людей. Теперь, задним числом, я этим — в связи, конечно, с влиянием нечаевской истории — об'ясняю себе то полное затишье в революционном движении, которое я застал в Киеве, и тот оттенок скептицизма, или даже прямо пессимизма и разочарования, которые сквозили при беседах со мною в речах тех, крайне немногих представителей старшего поколения радикалов, с которыми мне пришлось сталкиваться.

Отсутствие активных радикальных элементов, общее впечатление, произведенное нечаевскими методами революционной деятельности на академическую молодежь, революционное затишье — все это естественно усиливало антиреволюционные настроения в массе этой молодежи. И все, что мне казалось проявлением этого настроения, иллюстрировало для меня замечания Каблица о студенчестве.

Помню, попал я на сходку, где обсуждался вопрос о студенческой кухмистерской. Шли бесконечные речи о приходе и расходе, о каких то копейках. Все это показалось мне безнадежно скучным и вновь подтверждало в моих глазах Каблица.

В другой раз я попал на собрание студенческого кружка грамотности. Я думал, что в этом собрании речь будет идти о просвещении народа в подлинном смысле. Но каково же было мое разочарование, когда я услышал в кружке пресерьезные речи о необходимости «религиозно-нравственного воспитания народа»!

Это еще ярче подтвердило мнение Каблица. Чем дальше, тем яснее становилось для меня, что мой организационный план, действительно, был построен на песке, что напрасно мечтал я подойти к народу через студенчество, вместо того, чтобы начать пропаганду прямо в народных массах.

Я стал искать средств для прямого общения с «народом».

Отмечу, прежде всего, что, несмотря на свое революционное настроение, я совершенно не был знаком ни с историей и традициями революционного движения в России, ни с радикальной литера-

турой. Именно поэтому в Конотопе и мог я сочинить утопический организационный проект и открывать воображаемую Америку для подготовления революции в России.

В гимназические годы, в Могилеве, радикальная литература оставалась вне поля моего внимания, главным образом, благодаря влиянию Хлебникова: будучи человеком очень умеренных политических взглядов, он смотрел сверху вниз на представителей радикального направления и относился довольно пренебрежительно к радикальной публицистике.

Людей же, которые направляли бы на нее мое внимание и авторитетно противоставляли бы взглядам Хлебникова взгляды передовых писателей, увлекавших тогда молодежь в университетских и даже некоторых крупных провинциальных городах, в Могилеве не было, или я о них не слыхал.

Позже, в Конотопе, как я упоминал уже, мне попались сочинения Лассаля и Гуцкова. Они способствовали революционизированию моего настроения, но мало дали моему теоретическому развитию. Представления о революции и социализме, которые я вынес из этих книг, были весьма сбивчивые, туманные и абстрактные. Главную причину этого я уже указал.

И в раннем детстве, в Шклове, и в гимназические годы, и после окончания гимназии, в Конотопе, я вращался исключительно в мещанской среде. Жизнь вне этой среды оставалась мне неизвестной. И потому, отчетливо ощущая несправедливость сословных привиллегий и угнетения бедных богатыми, я совершенно не представлял себе того основного классового антагонизма, который определил

содержание и направление Лассалевской агитации. Думаю, однако, что я все же, хоть отчасти, был бы подготовлен к лучшему пониманию Лассаля, если бы я в последних классах гимназии знакомился с нашей радикальной публицистикой.

Моя теоретическая подготовка к революционной работе началась, собственно говоря, лишь в Киеве. Но и здесь я читал без системы, читал большей частью то, что попадалось. Да и такие научные труды, как сочинение Джона Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского, если и способствовали моему теоретическому развитию, то все же больше косвенно, чем непосредственно. Не могу сказать, чтобы даже полемическое произведение Лассаля, в котором он разделывал Шульце-Делича, очень существенно способствовало теоретическому выяснению мне сущности и исторической основы социализма. Как это, быть может, на первый взгляд ни странно, но несравненно больше теоретического света дал мне научный труд, по общему мнению, бесконечно менее доступный пониманию молодежи, чем сочинения Лассаля или Чернышевского. Я имею в виду великое произведение Маркса «Капитал».

Я впервые случайно увидел эту книгу не то в доме у врача Каминера, о котором речь будет в следующей главе, не то у Каблица. Раньше я не только ничего не слыхал о существовании этой книги, но и имя самого автора было мне совершенно неизвестно. На мой вопрос: «Что это за книга», Каблиц мне ответил, что автор очень ученый человек, но что он «собственно, не революционер. Вот Бакунин — настоящий революционер». Но я и имя Бакунина впервые услышал от Каблица.

Этот отзыв о Марксе посеял во мне некоторое предубеждение против него, которое не очень предрасполагало меня приняться читать его сочинение. Но я все-таки приступил к чтению «Капитала» и, несмотря на трудности понимания первых глав, читал его чуть не запоем. А по прочтении этой книги, у меня было такое ощущение, будто она меня из сумерок вывела на залитый солнцем простор, будто теперь мне все стало ясно.

Конечно, это так только казалось мне. Философско-историческая основа великого научного труда Маркса для меня осталась тогда скрытой; не понял я также — или поверхностно понял — тонкости его анализа и многие места в книге. Воспринял я, главным образом, теорию стоимости и прибавочной стоимости; поразило меня изображение процесса возникновения капитализма, как необходимой фазы в развитии товарного обмена (даже без внешних насильственных средств); а затем, конечно, развитие самого капиталистического производства в направлении к социализму, путем вытеснения мелких собственников крупными и все большей и большей концентрации средств производства в руках немногих капиталистов.

Но в общем и целом, я все же остался и по прочтении «Капитала» во власти настроений и тенденций утопического социализма с весьма значительной примесью этического, почти религиозно - сектантского элемента, то есть во власти настроений, не имеющих ничего общего с историческим материализмом. Это сказалось и в том, что на меня произвели огромное впечатление «Исторические письма» Лаврова, которые я прочел несколько позже. Они

вполне соответствовали моему настроению. При чтении их мне казалось, что автор нашел слова для выражения самых заветных моих мыслей и чувств. Уплата долга народу — это было для меня одним из наиболее мощных побуждений к революционной работе...

В этот период (я имею в виду конец 1872 г. и начало 1873 г.) мне удалось прочесть и кое-какие другие книги, но опять-таки без системы. А между тем, меня тянуло к книгам, хотелось расширить свои знания и теоретические горизонты.

Но мне казалось, что я не имею права зарыться в книги и накапливать все новые и новые знания для себя, забывая о своем долге народу, когда этот народ не знает даже грамоты.

Беседа с Каблицем утвердила во мне это настроение. Мне запомнились его слова: «Народ-то ведь ничего не знает; он и читать не умеет, мы рядом с ним — ученые».

Весьма вероятно, однако, что, еслибы теоретические запросы давали себя мне чувствовать с неодолимой, стихийной силой, глубоко коренящейся в натуре, в интеллекте, я бы, все-таки, не так легко забросил теоретические занятия. Но потребность в теоретическом обосновании всего того, к чему я приходил путем догадки или инстинктом, под влиянием революционного или идеалистического настроения, у меня все-таки оставалась. Голая эмпирика меня никогда или очень редко могла удовлетворить. И вот, за недостаточностью знаний и теоретической подготовки, я в трудные моменты, своими, так сказать, наличными средствами, со-

здавал себе нечто в роде суррогата теоретического об'яснения данного явления или ответа на данный вопрос.

Припоминаются мне два случая.

В первый период существования нашего киевского кружка, когда пропаганда подвигалась очень туго и кругом царила мертвая политическая тишина, у нас чувствовалась потребность не давать ослабнуть вере в плодотворность нашей работы и в несомненность ее успехов в будущем. И вот, под влиянием этой потребности, я написал реферат, в котором, основываясь на законе неуничтожаемости сил или энергии, старался доказать, что и наша деятельность не может остаться безрезультатной. Взяв исходным пунктом положение, по которому «истины», законы, открытые науками более общими, абстрактными, могут служить посылками, как бы аксиомами для наук, исследующих явления более сложные, я доказывал, что такое значение имеет для социологии физический закон сохранения энергии. На этом основании я считал логически и научно правильным чисто дедуктивным путем признать за истину, что и наша пропаганда, как проявление особого вида энергии или силы, не может пропасть бесследно. Попадая от нас в головы наших слушателей, идеи наши продолжают, чрез посредство этих слушателей, действовать дальше, на новые круги лиц. В кружке, в котором я излагал эту «теорию», присутствовали два третьекурсника медицинского факультета, из которых один (а может и оба) кончил уже факультет естественных наук. Они не нашлись, что возразить мне. Лишь значительно позже, один студент — физик

(кажется, последнего курса) указал мне несостоятельность всего моего теоретического построения:

— Затраченная вами энергия, — сказал он мне, — не уничтожится; но она может застрять в воздухе, приняв сначала форму звуковых волн. А желательного вам результата — приобретение нового приверженца ваших идей — может совершенно не получиться.

Справедливость этого соображения была так очевидна для меня, что я досадовал на себя: как же я упустил совершенно из виду, что закон сохранения энергии не только не означает неизменности форм ее проявления, но, наоборот, предполагает превращение ее из одного вида в другой?

Закрадывались иногда в мою голову сомнения и прежде. Но они возникали под влиянием исторических фактов, при мысли о судьбе разных сект, верований и учений древних и средних веков. Но я разными софизмами малодушно отгонял всякие, смущавшие меня сомнения, и так уверовал в свою «теорию», что, когда мне нужно было далеко ходить, я иногда нарочно брал извозчика, чтобы по дороге, хотя бы в осторожных выражениях, беседовать с ним о положении народа, о тягостях и несправедливостях, которые ему приходится переносить, и т. д. И такая, мол, летучая «пропаганда» не бесполезна.

В другой раз я спасал себя от пессимистических навождений при помощи теории эволюции, вообще, и учения Дарвина, в частности. Читал я вместе с двумя товарищами «Историю французской революции» Гельда и Корвина. В самой книге или в предисловии к ней автор (или авторы) развивал взгляд, по которому всякая нация проходит те же

фазы развития, что и отдельный индивидуум и, достигая зрелости и потом старости, неминуемо, неизбежно погибает. Вывод получался крайне пессимистическй: человечество обречено, в лице отдельных наций, начинать свой путь с начала, не имея никаких шансов подняться на более высокие ступени цивилизации, чем нации исчезнувшие, и достичь высшего совершенства. Взгляд этот привел меня и товарищей в большое смущение. Помню, что мной овладели большое волнение и тревога, не давшие мне и ночью успокоиться. И именно ночью голова особенно энергично заработала — и вдруг, точно яркий луч света озарил ее: в безмерности пути, пройденного миром от состояния туманности до планет с бесконечно сложной органической жизнью, в чудесных достижениях человека, поднявшегося от уровня бессловесного животного до нынешнего положения царя природы, я увидел залог того, что и в дальнейшем нет пределов развитию человеческого общества.

Все, чего до сих пор достиг мир, говорил я сам себе, явилось результатом действия слепых, стихийных сил. Теперь на помощь им приходит сила сознания, теперь человечество знает, куда идти! Неужели же мы не сумеем пройти то сравнительно ничтожное пространство, которое отделяет нас от уже открывающегося нашему умственному взору идеала!

Признаюсь, спенсеровская теория мировой эволюции и дарвиновское учение о происхождении видов и развитии человеческой породы и до сих пор служат мне вернейшим противоядием против всякой заразы мрачным, безнадежным пессимизмом.

А в период моей жизни, о котором я рассказываю, учения эти не только спасали меня от разочарования и т. п. настроений, но и являлись для меня буквально источником непоколебимой веры в конечное торжество социалистических идеалов, возмещавшей мне недостаток теоретической подготовки и знаний в ту пору, когда у нас вновь начало оживать революционное движение.

Отмечу еще, что накануне этого периода, когда в Киеве, по крайней мере, царило еще полное затишье, не малой моральной поддержкой мне служило — это может показаться странным — то, что я абсолютно не страдал самомнением, был бесконечно далек от того, чтобы считать себя пророком, возвещающим новые учения, опережающим свое время на десятки лет. Живо помню еще свою беседу с Семеном Лурье по поводу отсутствия кругом нас людей, разделяющих наше настроение. О зачатках революционного движения в столицах и, как впоследствии оказалось, в некоторых провинциальных центрах мы ничего не знали. «Ведь вот мы с тобою обыкновенные люди, не гении, а между тем полны ненавистью к существующему строю и жаждем его разрушения», говорил я Лурье: «Не может быть, поэтому, чтобы, по крайней мере, в некоторых больших городах, особенно в Петербурге, не было людей с таким же настроением. Когда мы здесь поработаем, упрочимся, нам не трудно будет найти единомышленников в других местах и вступить с ними в организационную связь».

Эти предположения и надежды оправдались скорее, чем я сам тогда ожидал.

IV. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАБОТЫ.

(1872—1874 гг.)

Занятия с плотничьей артелью. — Пропагандистский кружок. — Плотник Гаврила. — Одесский «Вперед». — Чарушин. — Брешковская. — Совещание с Желябовым и Подолинским.

Моя пропаганда среди рабочих началась со двора дома, в котором жил со своей семьей доктор Каминер. Это был талантливый и интересный человек. Он вышел из старозаветной еврейской среды. Готовя его в духовные раввины, родные женили его очень рано, чуть ли не 15-ти лет от роду. Уже имея семью на руках, он начал учиться русской грамоте, самоучкой дошел до университета и стал врачом. Вместе с тем, Каминер был выдающимся еврейским поэтом.

Семья у него была большая. Старшие дочери, Надежда и Августина, очень еще юные и интеллигентные, были живые и идейные девушки. Познакомил меня с ними Лурье. Я быстро подружился с ними. Упомяну, кстати, что через них я познакомился с Каблицем, который раньше был их преподава-

телем. Вскоре я сам приглашен был Каминером давать уроки его детям, затем я совсем поселился у него.

Во дворе дома Каминеров работали плотники.

Как то, вечером, я остановил одного из них, Гаврилу, на улице и заговорил с ним. Плотник шел, прихрамывая, — я и начал разговор с вопроса, что с его ногой. Узнав, что он получил ушиб на работе, я заметил что-то о том, как тяжело достается хлеб бедному человеку. Затем спросил Гаврилу, знает ли он грамоту?

— Нет, я неграмотный, — ответил Гаврила: — В нашей артели всего лишь один умеет читать, да и то не гораздо...

— А хотите, я буду приходить к вам в артель? Обучил бы вас читать и писать...

— Что-ж? Это хорошо. Приходите!

И Гаврила дал мне адрес артели.

Артель была небольшая, человек в восемь — все крестьяне из средних губерний — помнится, из под Рязани. Жили все вместе, в общей квартире, где то на краю города, за Подолом.

Пришел я в артель. С час занимался с плотниками грамотой. Затем, вынул принесенную с собой популярную брошюру по природоведению и предложил почитать вслух. Прочел несколько страничек — артель слушала с интересом. Тогда я приступил к тому, что считал собственно пропагандой. Об'яснил, что предметы, о которых говорится в книжке, проходятся в гимназиях и в университетах, что рабочему люду туда нет доступа, что об образовании простого народа начальство не думает, что с народа только налоги берут...

Все это пришлось моим слушателям по душе, и с этого вечера я начал очень часто бывать в артели.

Но революционных тем я касался с некоторой осторожностью, приспособляясь к уровню развития слушателей. А вопросов религии не касался вовсе.

Иногда в основание своих бесед я брал евангельские изречения, осуждающие богачей и вскрывающие беззакония власть имущих. Но, читая и толкуя эти изречения на революционный лад, я старался, чтоб у слушателей не могла явиться мысль, что я говорю против церкви, против Христа.

На плотничьей артели я, разумеется, не остановился. Это был только первый опыт.

Я останавливал на улице совершенно незнакомых рабочих, вступал с ними в разговор, расспрашивал об их жизни и, в заключение, предлагал обучить артель грамоте. Почти всегда это предложение встречалось сочувственно. Число артелей, которые желали учиться, постепенно росло. Приблизительно таким же образом завязывали сношения с артелями и Гриша, и Лурье.

Через некоторое время, в конце 1872 или в начале 1873 года, я познакомился с двумя студентами — медиками, Рашевским и Эмме. Они оба были значительно старше меня. Взгляды их сложились в 60-ых годах, и в то время, как я встретился с ними, оба они, оставаясь радикалами, социалистами в душе, переживали полосу некоторого скептицизма, разочарования, усталости. Но не разделяя моего энтузиазма, они все же с сочувствием и сердечностью отнеслись к моему увлечению пропагандой. Это были люди редкого благородства, про-

никнутые глубокими симпатиями к народу и к борьбе за его освобождение.

Различие в возрасте и в темпераменте не помешало нашему сближению, и мы даже поселились все вместе, — Рашевский, Эмме и я с Гришей. Мои новые товарищи тоже стали заниматься с артелями. Вскоре присоединились к нам в этом деле два брата Левенталь, мои старые товарищи по Могилеву. Они жили в Петербурге и приехали в Киев по моему приглашению, специально ради пропаганды. Мало по малу у нас образовался целый кружок, человек в десять.

Больше всего связей было у нас со строительными рабочими: они жили на артельных квартирах, и это облегчало занятия с ними. Помню артели плотников (их было несколько), столяров, стекольщиков, каменьщиков, печников.

Состав артелей, с которыми мы занимались, не редко менялся. Занятия иногда обрывались из за ухода артели, закончившей свою работу в Киеве, или по иной причине.

Характер занятий был не повсюду одинаковый, что зависело и от состава слушателей, и от того, кто вел пропаганду. Так, Рашевский и Эмме были гораздо осторожнее меня: у них культурно - просветительная сторона работы решительно преобладала над революционно - политической пропагандой, тогда как для меня грамота и чтение были лишь средством, а революционная пропаганда — непосредственной целью.

Но нужно признаться, что среда, в которой мы работали, довольно туго воспринимала наши революционные идеи. В большинстве артелей нельзя

было даже заговаривать на некоторые темы (например, о царе). А тех наших слушателей, в которых заметно было революционное настроение, можно было перечесть по пальцам. С ними мы устраивали изредка «маевки»: переезжали в лодках через Днепр и здесь, недалеко от берега, в уютном месте, вели революционные беседы или читали вслух книжки, которых нельзя было читать в артелях, — например, «Слова верующего» Ламмене.

Решительно выделялся в этой среде плотник Гаврила, человек лет 35-ти, с живым самостоятельным умом, с властным характером, энергичный, смелый. Грамоте он так и не научился, но революционные идеи он схватывал на лету и как то самостоятельно перерабатывал их.

Раз мне пришлось на несколько недель уехать из Киева. Вернувшись (это было летом 1873 г.), я пошел с Гаврилой в трактир. Сидим и пьем чай. Вдруг Гаврила спрашивает меня:

— Скажи ты мне, Павел Борисович, был ли Христос, или нет?

А я до сих пор никогда не говорил с Гаврилой о религии. Ответил уклончиво:

— Как-же! Ведь в Евангелии написано...

— Написано то написано, — возразил Гаврила, — да не то написано, что на самом деле было... Вот Чернышевский, к слову, был, или нет?

— Разумеется, был!

— Вот, значит, был Чернышевский, а ты будто его апостол. А ведь Чернышевский — человек, а не Бог. Так вот я и думаю, что так точно оно и с Христом было. Только ты Чернышевского

проповедуешь, а они, то есть, его апостолы, — про Христа учили.

— С чего это ты? — с удивлением спросил я Гаврилу.

И он рассказал мне, как рухнула его вера в Христа:

У Каминера на постройке работал один раскольник, старик, очень приверженный к своей вере. Он предлагал Каминеру даром работать у него, лишь бы тот принял его веру. Так вот этот фанатик старался и Гаврилу обратить в свою веру, перетянуть.

И в результате споров его с Гаврилой, этот не только не ушел в раскол, но и в Христа перестал верить...

Весной 1874 года я познакомился и увлекся теориями Бакунина. Попытался я и Гаврилу заразить бакунизмом. Но Гаврила возразил мне:

— Ты, Павел Борисович, народа не знаешь. Для него это не подойдет. С нашим народом нужно, как Стенька Разин, — командовать.

Этот своеобразный «якобинизм» глубоко сидел в Гавриле. Он и в своей артели командовал, и тот же элемент команды вносил в пропаганду.

Так, выходил он, бывало, на толчок, где толпились ждущие нанимателя рабочие, и начинал:

— Эх вы, бараны! Чего вы друг другу работу перебиваете? Чего зря цену сбиваете? Разве это порядок? В других-то странах народ умнее, там цен не сбивают...

И начнет рассказывать, как дружно борются с хозяевами рабочие в Англии. Но все в таком

7*

тоне, будто начальнически распекает толпу, которая не понимает своего собственного интереса...

Гаврила был наиболее яркой фигурой среди рабочих, с которыми я сталкивался в Киеве. Остальные много уступали ему во всех отношениях.

С 1873 года у нас пахнуло в воздухе началом политического оживления.

В январе (или, может быть, в феврале) к нам в Киев попал № 1 рукописной, нелегальной газетки «Вперед», выходившей в Одессе. Ничего особенно оригинального в этой газетке не было: был здесь проект революционной организации, похожий на мой конотопский в том отношении, что он тоже базировался на студенчестве, но еще более наивный и не выходивший из рамок академической молодежи; была статейка, рекомендовавшая студентам, занимающимся преподаванием, устроить забастовку, чтобы добиться повышения платы за уроки... Но огромное значение имел в наших глазах самый факт, что в Одессе существует революционный кружок, который мог приступить к изданию собственной газеты.

Будучи уверен, что Желябов является членом этого кружка и, вероятно, стоит даже во главе его, я послал ему письмо, но оно не дошло до Желябова, а впоследствии я узнал, что его в это время не было в Одессе, что он не был членом кружка, издававшего листок «Вперед», и никакого отношения к этому последнему не имел.

Но это была лишь первая ласточка, возвещавшая приближение революционной весны.

Несколько позже, весной, приехал в Киев Чарушин, член петербургского революционного

кружка, основателями которого были Натанзон и Чайковский. Он имел явку к Рашевскому и Эмме, которых знали некоторые члены петербургского кружка. У них встретился Чарушин со мной и с Гуревичем и Лурье.

Чарушин произвел на меня очень хорошее впечатление своей серьезностью, интеллигентностью и простотой.

Он привез с собой гектографированный проект программы революционного журнала «Вперед», издание которого предполагалось в Цюрихе, под редакцией Лаврова. Проект показался мне недостаточно революционным и не вызвал у меня восхищения, а скорее наоборот.

Я повел Чарушина к моим плотникам. Он засиделся здесь до 1 часу ночи. Гаврила привел его в восторг, и он уверял меня, что таких умных и сообразительных рабочих он не встречал в Петербурге.

Чарушин предложил Лурье организовать контрабандную перевозку и доставку в ближайшие пункты заграничных русских изданий. Лурье ему показался, очевидно, наиболее подходящим из всех нас для этого человеком. Он условился с нами относительно шифра и сношений с петербургским кружком чайковцев, а на обратном пути из Одессы сказал нам, что и там, в Одессе, существует организовавшаяся группа пропагандистов, с которой он также установил правильные сношения. Таким образом, оптимистические предсказания, с которыми я осенью предыдущего года обращался к Лурье, видимо, начали оправдываться. В самом деле, не прошло и полгода, после первого приезда Чару-

шина к нам, как мы оказались организационно связанными с Петербургом, Одессой и Москвой. В этих городах оказались люди — а в Питере целая организация, — которые раньше нас уже начали работать в одном направлении с нами. И вот, наконец, мы нашли друг друга.

В Киеве стали все чаще появляться новые люди.

Приехал к нам народный учитель Колодкевич. С большой радостью ввел я его в нашу работу.

Приехали Всеволод Лопатин, брат Германа, и Катя Брешковская. И они принялись заниматься в артелях, с которыми у нас были связи.

Брешковской было в это время лет 30, а может быть, даже больше. Рядом со мной, Лурье, Гришей, она казалась особенно солидной, серьезной, настоящим ветераном.

Вспоминая мое отношение к Кате Брешковской в это время, я не могу определить его иначе, как словом «благоговение». Было в Брешковской что-то исключительное, свойственное ей одной, что заставляло меня — да и не меня одного — преклоняться перед ней. Это были не какие-либо новые идеи, не особенные таланты, а ее огромная, живая, страстная любовь к народу. Любовь, всепоглощающая, безмерная любовь, а не чувство отвлеченного долга, были двигателем всей ее жизни. Она умела любить не только каждого человека из простого народа, но и весь народ, как огромный коллектив.

Помню, я говорил о Кате Брешковской Дебагорию-Макриевичу, возвратившемуся из Швейцарии, кажется, в конце 1873 или в начале следующего года:

— Не знаю, как она это может... Я понимаю любовь к отдельным индивидуумам. Но по отношению к народу, в целом, я испытываю глубокое сострадание и горячее желание, чтоб он возможно скорее достиг свободы и благосостояния; я ненавижу строй, обрекающий его на страдания, и тех, которые охраняют этот строй. Но люблю то я собственно те новые формы человеческих отношений, которые составляют наш идеал и которые только и дадут возможность человеку достигнуть духовного и нравственного совершенства. А вот Катя прямо и просто, всем сердцем, любит народ, как он есть.

В конце лета в Киев приехали из Одессы Желябов и Подолинский (участвовавший в организации цюрихского издания «Вперед»; а впоследствии примкнувший к украинофильскому движению, руководимому Драгомановым). Они предполагали устроить вместе с нами конференцию по вопросу о создании общероссийской революционной организации. Но товарищи, которых они ожидали в Киев, не явились. Пришлось ограничиться простым обменом мыслей. Со стороны киевлян, участвовали в беседах Рашевский, Эмме и я. Помню, говорили мы о том, на каких поприщах могут успешнее всего развить свою деятельность революционеры в России.

Желябов доказывал, что профессия для революционера не имеет большого значения: можно быть и врачом, и профессором, говорил он. Я же с этим не соглашался, находя, что привиллегированное положение, даже в виде профессуры, способствовало бы не сближеню нашему с народом, а наоборот, отдалению от него и ослаблению в нас револю-

ционного настроения. Я настаивал на том, что революционная интеллигенция должна избирать такие профессии, которые ставили бы ее в непривиллегированное положение, непосредственно сближающее ее в повседневной жизни с народом, например: профессию сельского учителя, фельдшера, а еще лучше, конечно, ремесленника.

Наше совещание не имело никаких практических результатов. Но я не мог не радоваться тому, что в нем активно участвовал, даже был его инициатором, такой яркий представитель передовой интеллигенции, как Желябов, который еще год тому назад отрицал необходимость какой бы то ни было тайной организации и образцом общественного деятеля считал либерального земца, барона Корфа.

В это время Желябов был уже вполне революционером, хотя официально еще не входил ни в какую организацию: вступил он в одесский кружок лишь зимой или весной 1874 года.

Разногласия, которые наметились в ходе нашей беседы, между Желябовым и мною, были не случайны: в них, в зачаточной форме, проявилось уже то расхождение тенденций революционного движения, которому суждено было вскоре лечь в основу борьбы между «лавризмом» и «бакунизмом».

В это время работа наша в артелях перестала уже удовлетворять большинство членов нашего кружка; все более и более росла неудовлетворенность результатами этой работы среди крестьян, далеких от земли, и среди которых так трудно было вести чисто революционную пропаганду. К соб-

ственному опыту присоединилось и влияние тенденций, начавших проникать из Швейцарии, литературными выразителями которых являлись Бакунин и Лавров. Все более и более мы проникались взглядом на занятия в артелях, как на деятельность временную, преходящую, подготовительную к подлинно революционной пропаганде в деревне.

V. ЛАВРИСТЫ И БАКУНИСТЫ В КИЕВЕ.

(1874 г.)

Организация «чайковцев». — Киевская «коммуна». — Наше отношение к лавризму. — Чем пленил нас бакунизм. — Крайние бакунисты. — Поездка в Одессу. — Среди молодежи в Каменец-Подольске. — Расхождения в нашем кружке. — В поисках «разбойника». — Неудавшийся финансовый план. — Полицейский разгром.

Осенью 1873 года снова приехал в Киев Чарушин. Пробыв у нас недолго, он уехал в Одессу и вернулся оттуда с Желтоновским, делегатом одесской революционной организации, выпустившей упомянутую выше рукописную газетку «Вперед».

Во главе одесской организации стоял Волховский. Ему было 33 года, и молодежь смотрела на него, как на ветерана революционного движения тем более, что он отсидел уже $1\frac{1}{2}$ или 2 года в тюрьме и состоял под надзором полиции.

В результате приезда Чарушина и Желтоновского, оформилась организационная связь нашего кружка с революционными группами, действовавшими в Одессе, Москве и Петербурге.

Все четыре кружка образовали как бы единую федеративную общероссийскую организацию.

Вопрос об общей программе при этом не подымался: нам достаточно было познакомиться друг с другом, чтобы убедиться, что, в сущности говоря, не сговариваясь между собой, мы все, в разных концах России, делали общее дело с одинаковыми целями и приблизительно в одинаковом духе.

Нас сплочивало признание необходимости социальной революции в России и решение — путем пропаганды в народе, особенно среди крестьян — способствовать тому, чтобы революция пришла возможно скорее. Цели нашего об'единения были практические: издание и распространение революционной литературы, распределение сил для пропаганды, вообще самая широкая взаимная поддержка в общей работе.

Вопрос об общем руководящем центре не ставился. Но как бы само собой вышло, что фактическим центром организации являлся петербургский кружок «чайковцев», выделявшийся и розмахом работы и богатством сил, и сравнительно продолжительным революционным опытом. Большое значение имело также и то, что именно петербуржцы, путем посылки эмиссаров в Москву и на юг, приняли на себя почин об'единить кружки и группы, действовавшие до того независимо друг от друга. . .

Так оформилась тайная организация, которая впоследствии вошла в историю революционного движения в России под названием организации «Ч а й к о в ц е в».

Эта организация имела разветвления и связи также и вне четырех главных городов, где она зародилась. Деятельность ее выражалась в революционно-социалистической пропаганде среди интеллигентной молодежи и рабочих; некоторые из ее членов ходили также в «народ» [1]), то есть, пытались пропагандировать и среди крестьян.

Просуществовала наша организация недолго: осенью 1873 г. определился ее состав, а летом 1874 г. она была уже разгромлена полицейскими преследованиями и массовыми арестами.

Но к моменту полицейского разгрома, в нашей организации, — по крайней мере, в Киеве, — уже не было полного идейного единства: у нас наметились уже весьма серьезные расхождения во взглядах, в 1873 г. остававшиеся еще в зачаточной стадии, неоформленными. Теперь же, под влиянием возвратившихся из Швейцарии бывших «американцев» и других представителей радикальной молодежи, а главное, под влиянием привезенных ими оттуда произведений Бакунина и журнала «Вперед», различие в тенденциях приняло характер явных разногласий во взглядах на непосредственные задачи, методы и формы революционной деятельности.

Большинство возвратившихся, и именно наиболее видные из них, пропагандировали бакунинские учения. Генеральной квартирой нелегальных бакунистов в Киеве была «коммуна», но она же служила некоторое время центром и для лавристов, или тяготевших к лавризму.

---

[1]) Клеменц, Кравчинский, Рогачев.

«Коммуной» мы называли квартиру Кати Брешковской, где была наша явка. Здесь останавливались приезжавшие в Киев революционеры. А из киевских пропагандистов некоторые сходились сюда обедать, и те из них, кому поздно или далеко было возвращаться домой, нередко оставались здесь спать на полу, где и как попало. Здесь встречались представители различных оттенков революционной мысли. Из бесед здесь рождались споры. И в результате этих споров, мало по малу намечались линии расхождения, вырисовывались новые группировки, ослабевали первоначальные кружковые связи.

Из нашего кружка в «коммуне» бывали Рашевский и Эмме, братья Левенталь, Лурье, я и —в конце — Стефанович, вступивший в наш кружок незадолго до его исчезновения.

Рашевский и Эмме во всех спорах занимали правый фланг. Они оба кончали увиверситет и, при всей своей преданности народному делу, не видели оснований отказаться от врачебной деятельности, к которой они готовились, — «сжечь корабли» по распространенному в то время выражению. Оба они были горячими приверженцами Лаврова, которого считали чуть ли не величайшим ученым и философом современности.

Преклонение их перед Лавровым оказало влияние и на мое отношение к его личности. Но все же очень скоро еще больше стала импонировать мне личность Бакунина, как революционного мыслителя и борца. В его пользу предрасполагали меня отзывы о нем, правда, довольно лаконические, сначала Каблица, а потом Чарушина. Но обратили меня в поклонника Бакунина сочинения

его, привезенные возвратившимися из Швейцарии бывшими «американцами», и их рассказы о нем и его роли в Интернационале.

Вообще, вернувшаяся в Россию революционная молодежь, привозившая с собой нелегальные издания и передававшая нам впечатления, вынесенные ею из общения с тогдашними русскими эмигрантами, оказала на наш киевский кружок не малое влияние. Да и мы сами сочли нужным предложить С. Лурье уговорить своего отца, чтобы он дал ему деньги на поездку в Швейцарию. Мы, конечно, поручили ему посетить там Бакунина и Лаврова. К первому мы дали ему нечто в роде адреса, написанного нашим собственным каллиграфом, младшим Левенталем, из предосторожности, миниатюрными буквами. На меня лично сведения, доходившие до нас о русской эмиграции, повлияли в том смысле, что ускорили мой сознательный и решительный поворот в сторону бакунизма. Подготовлен же был этот переворот неудовлетворенностью моей и некоторых товарищей программой и пропагандой журнала «Вперед».

Уже проект этой программы, привезенной нам весной 73 г. Чарушиным, показался мне бледным и крайне умеренным. И это впечатление нисколько не было ослаблено, когда мы познакомились с самим журналом.

К самому Лаврову мы относились с большим почтением. Но в его программе мы не находили внутренней стройности, которая могла бы увлечь нас. Пропаганда принимала в этой программе абстрактный характер, утрачивала революционную остроту. Требование серьезной теоретической под-

готовки к пропаганде оставляло радикалу возможность преспокойно пользоваться всеми благами жизни — в то время как у нас была внутренняя моральная потребность поскорее порвать всякие связи с «погрязшим в разврате миром» и «сжечь за собой корабли».

Неясным представлялось нам отношение Лаврова к государству. С одной стороны, отрицание государства, — и притом не только полицейского государства, но всякой государственной организации вообще, — провозглашение вольного союза свободных общин. С другой стороны, — признание необходимости государственной организации, как «переходной» формы. Этим признанием уничтожение государства отодвигалось куда-то в туманную даль, а для данного момента устанавливалась тактика приспособления, против которой восставало наше непосредственное революционное чувство (и примитивная политическая мысль).

Вообще, революционной молодежи казалось, что лавризм отклоняет ее от истинно-революционного пути, что своими постоянными оговорками он отодвигает в неопределенную даль то революционное дело, которому мы хотели немедленно отдать все свои силы.

Теория Бакунина лучше отвечала настроению радикальной молодежи. Эта теория подкупала нас своей простотой, прямолинейностью, тем, что она без всяких оговорок *радикально* разрешала все вопросы. Несомненно, что Бакунин опьянял нас особенно своей революционной фразеологией и пламенным красноречием.

Народ — революционер и социалист по инстинкту, говорил нам Бакунин. Со времени основания московского государства, народ никогда не мирился с существующим строем: разбойники и те, кого закон считал уголовными преступниками, были выразителями народного протеста и живущего в народных массах духа возмущения. Народ знает, что ему нужно, знает, куда идти. Не поучать нужно его, а нужно дать толчок пробуждению его революционной энергии и помочь ему организоваться.

Задача интеллигенции — идти в народ; быть с ним там, где вырывается наружу скрытая в нем революционная сила; вызывать, организовывать местные бунты и через них подымать все выше революционный дух народных масс; через разрозненные бунты сплачивать наиболее передовые революционные элементы народа и готовить, таким образом, общероссийскую организацию для всенародного восстания...

Бакунизм быстро овладел умами революционной молодежи. Одних привлекало в новой программе категорическое требование немедленного слияния с народом — более полного и безусловного, чем это требовалось лавризмом, оставлявшим за интеллигентом роль пропагандиста, *обучающего* народ. Другим дорого было в схеме Бакунина то, что она давала наиболее прямой выход жертвенному настроению, которое было столь сильно среди революционеров того времени. Сильно действовала на воображение многих романтическая идеализация народа, как инстинктивного социалиста и потенциального революционера. Наконец, нет со

мнения, что были элементы, которые примкнули к бакунизму потому, что эта теория открывала простор их авантюристическим наклонностям.

Никакой научной подготовки, никаких университетов, ничего, что связывало бы нас с городской культурой! Надо повернуться спиной не только к сословным привиллегиям, но и к «официальной науке».

Некоторые отрицали даже необходимость для пропагандистов обучаться ремеслу, чтоб подготовиться к пропагандистской работе в деревне. Человек, не имеющий профессии, не связанный никакими житейскими интересами, отщепенец, представлялся идеальным типом бунтаря, призванного содействовать разрушению всего старого мира с тем, чтобы из хаоса развалин мог стихийно восстать новый мир анархии и свободы!

С таким взглядом на призвание революционера плохо вязалась просветительная работа в народных массах. И, действительно, иные из бакунистов шли так далеко, что сомневались даже в пользе грамоты для народа. А некоторые считали ее прямо вредной.

Помню, у меня был однажды спор по этому поводу с Судзиловским. Я доказывал необходимость издания пропагандистской литературы «для народа». Судзиловский же возражал:

— Не нужно народу и грамоты! Хуже станет, если народ грамоте научится. Будет газеты читать, заразится тлетворным влиянием старого мира, и придется еще бороться с заразившими его буржуазными предрассудками.

Судзиловский и Мокриевич являлись у нас, в лагере бакунистов, экстремистами. Оба они раньше принадлежали к «американскому» кружку и мечтали об устройстве коммунистической колонии за океаном. Но до Америки они, отправившись туда через Швейцарию, не добрались и вернулись из заграницы в Россию убежденными бакунистами. Для них такой приверженец бунтарской тактики, как Каблиц, был уже через чур умеренным, непоследовательным революционером. Так, например, Судзиловский возмущался тем, что Каблиц отстаивает право общества, хотя бы и в лице правительства, преследовать и наказывать уголовных преступников. Ведь они только жертвы общественной среды и ее преступлений!

Вот еще один пример крайнего бакунизма. Мокриевич ввел в «коммуну» некоего Ларионова, человека с грубым, отталкивающим лицом. Это был конокрад, отсидевший уже свое наказание в тюрьме. Но Дебагорий видел в нем революционную натуру, вышедшую из недр самого народа, весьма ценную народно-революционную силу. Когда Ларионова арестовали, он выдал всех, кого только знал или о ком слышал, что тот революционер, или сочувствует революционному движению.

Среди чайковцев, насколько мне известно, не только в Киеве, но и в других городах, не было сторонников таких взглядов и тенденций. Но влияние бакунизма в этой среде начало все-таки ощущаться уже в конце 73 или в начале следующего года. На меня лично колоссальное впечатление произвела книга Бакунина «Государственность и Анархия». Это, однако, не мешало ни мне, ни

другим моим близким товарищам, увлекавшимся взглядами Бакунина, решительно восстать против его отрицательного отношения к тому, чтобы молодежь специально знакомилась с сочинениями Лассаля и Маркса. Когда С. Лурье в беседе с Бакуниным сообщил ему, что мы читали некоторые произведения названных мыслителей, он заметил:

— Что ж, читайте их, но помните, что пользы от них для революционной деятельности не получите.

С этим мнением не только лавристы в нашем кружке, но и те из нас, которые тяготели к бакунизму, никак не могли согласиться. Зато к восприятию общего взгляда Бакунина на предварительную научную подготовку к революционной деятельности, как на излишнюю, даже прямо вредную роскошь, мы были психологически вполне подготовлены.

Не только я и Лурье[1]), но и братья Левенталь уже раньше пришли к тому заключению, что заняться «научной подготовкой», значит отказаться на неопределенное время от революционной работы и фактически готовиться к привиллегированному положению. А между тем, оба они отличались от нас своим складом ума. Старший из них обладал редкими способностями к физике и математике, и очень вероятно, что он впоследствии стал бы крупным ученым, если бы жизнь его не оборвалась так преждевременно и трагично — на почве личной беды он покончил самоубийством. А младший брат впоследствии совсем отошел от рево-

[1]) Гриша Гуревич уже летом или осенью 73 г. уехал в Берлин.

люции и занял кафедру по гистологии в Лозаннском университете.

Но если в своем отрицательном отношении к научной подготовке многие, чтобы не сказать большинство, членов организации чайковцев сходились более или менее с бакунистами, то по отношению к устной и книжной пропаганде в народе чайковцы были солидарны между собою и резко расходились с крайними бакунистами. Я уже говорил о своем споре с Судзиловским по вопросу о литературной пропаганде. Но весной 74 г., когда началось массовое «хождение в народ», мне приходилось вести с «бунтарями» горячие споры даже о целесообразности или революционной важности устной пропаганды в народе. Когда бунтари ссылались на стихийные народные протесты против властей и помещиков, как на доказательство революционности (или социалистичности) народа, я указывал на то, что и бык «протестует» иногда ударами головой о стену, и собака «бунтует», когда хозяин чувствительно ударит ее палкой, но она при этом кусает не самого хозяина, а палку, которой он ее бьет. И те из нас, которые склонялись к бунтарской тактике, все же настаивали на необходимости пропаганды, для внесения возможно большей сознательности в «бунтующие» массы.

Не разделяя указанных крайностей таких бунтарей, как Судзиловский, Мокриевич и их единомышленники, некоторые чайковцы, и я в том числе, фактически все же стали бакунистами. В марте или апреле 74 г. я поехал в Одессу, чтобы лично поближе познакомиться с одесскими товарищами и даже попытаться повлиять на них в пользу баку-

нистских взглядов. В одесском кружке я вновь встретился с Желябовым, но уже как с членом местной ветви нашей организации. Первое же заседание кружка при мне ознаменовалось маленьким инцидентом. Была уже почти полночь, когда вдруг раздался стук в дверь. Первая мысль, которая у всех мелькнула в голове, была: «полиция». Кажется, Желябов пошел отворять. Но тревога оказалась напрасной: вошли два случайно запоздавшие товарища, — Макаревич с женой, урожденной Розенштейн. Он впоследствии, кажется, умер в ссылке, а она, попав заграницу, ушла потом всецело в итальянское рабочее движение, в котором она теперь еще играет видную роль, я говорю об Анне Кулишевой.

В одесском кружке господствовало антибакунистское направление, вообще, и антибунтарское, в особенности. Фанатическим противником бунтарской тактики был Волховский, глава и, почти наверное, организатор кружка. На него то мне хотелось, прежде всего и главным образом, воздействовать. Но именно потому я не мог достичь в Одессе сколько-нибудь осязательного результата. По сравнению с Волховским, ветераном-шестидесятником, обладавшим всем революционным опытом предыдущего десятилетия и несомненно более меня образованным, я был почти юнцом. И, конечно, не мне, только что обратившемуся в бакунистскую веру, под силу было бороться с влиянием в кружке такого авторитетного члена, каким являлся Волховский.

Моя бакунистская ересь не помешала, однако, тому, что по инициативе того же Волховского, этот

кружок предложил мне, на обратном пути в Киев, свернуть в сторону и заехать в Могилев на Днестре и в Каменец-Подольск с тем, чтобы установить связь с тамошней радикально настроенной молодежью. Само собой разумеется, что я очень охотно принял на себя это поручение. В Каменец-Подольске мне впервые пришлось написать и прочитать реферат со специальной целью опровергнуть, при помощи «Капитала» Маркса, идеализацию царизма и реформ Александра II. Защищал эти реформы, в противовес моим революционным взглядам, гимназист седьмого класса из крестьян. В конце концов, и он не устоял против соблазна перейти в революционный лагерь.

Но в Каменец-Подольске мне пришлось неожиданно взять на себя и миссию совсем другого рода.

Мне удалось в короткое время распропагандировать несколько гимназистов и семинаристов последних классов, образовать из них местный кружок (в который вошел и упомянутый гимназист из крестьян) и условиться относительно дальнейших сношений между ними и — не помню — Одессой или Киевом (по всей вероятности, я связал их с одесской организацией, по поручению которой я поехал в Каменец-Подольск). И вот, познакомившись со мною несколько ближе, мои новоприобретенные товарищи рассказали мне о страданиях одной, по их словам, хорошей, симпатичной девушки от тирании своей матери, при чем они просили меня помочь ее освобождению. Другого пути для этого не было, как увести ее с собой в Киев. И я это выполнил с такой же готовностью, с какой несколько лет перед тем я помог Лейзеру Цукер-

ману и Виленкину бежать от родителей для поступления в житомирское раввинское училище. В Киеве я поместил ее, конечно, в «коммуне». А здесь она — Польгейм была ее фамилия — довольно скоро стала подругой Ларионова, а позже, во время массовых арестов, она перешла к приобревшему вскоре печальную известность жандармскому офицеру Гейкину.

Углубившиеся в нашем кружке разногласия между лавристами и теми членами кружка, которые стали или все более становились бакунистами, не могли не действовать на него разлагающим образом. Как ни симпатичны были мне, например, Эмме и Рашевский, я чувствовал себя ближе с Катей Брешковской, не входившей в наш кружок и примыкавшей или ставшей в центре радикального, то есть бакунистского крыла киевлян. Стефанович, самый молодой член кружка, довольно скоро фактически оставил его и сблизился с представителями этого крыла, в особенности, с Катей. Со мною Брешковская делилась планами и проектами, о которых я не мог говорить со своими товарищами по организации. А в одном случае, летом 74 г., я предпринял с ней одно дело, помимо кружка, даже не сообщивши о нем товарищам. Случай этот характерен для тогдашних тактических взглядов бакунистов.

Через некоторое время после моего возвращения в Киев, пришла ко мне Катя Брешковская и рассказала важную новость: по газетным сообщениям, где-то в Полтавской или на юге Киевской губернии появился разбойник, который грабит

богатых помещиков и евреев и раздает награбленное беднякам-крестьянам.

Чтобы дать представление о значении для нас известия об этом добродетельном разбойнике, я должен снова напомнить здесь, что Бакунин считал разбои проявлением не прекращающегося ни на миг протеста народных масс против угнетающего их строя, и что одна бакунинская прокламация, обращенная к революционной молодежи, прямо заявляла нам, что все вообще разбойники — это «герои, защитники, мстители народные».

А тут вдруг мы узнаем о разбойнике, борющемся с имущественным неравенством, восстановляющем социальную справедливость!

Необходимо было во что ни стало разыскать этого разбойника и установить с ним связь. Но кто мог принять на себя эту нелегкую задачу?

Мне казалось, что самым подходящим человеком является для этого Дебагорий-Мокриевич. И его наружность, и его костюм, и его уменье говорить по малороссийски и выступать, как истый «хохол», — все говорило за то, что именно ему следует взять на себя миссию отыскать и завязать сношения с революционным разбойником. Я это высказал Кате. Но она мне ответила: «Дебагорий отказывается, потому что едет на границу за литературой». А между тем, с этим делом всякий из нас мог бы справиться. И Лурье, например, уже ездил раз на границу для переговоров с контрабандистами. Отказ Дебагория меня очень удивил, и я сказал Кате, что поеду искать разбойника.

Катя, в свою очередь, решила сделать тоже самое, но не вместе со мной. Мы условились идти

(или ехать) разными дорогами и потом встретиться в одном местечке. Замечу, что я отнюдь не обманывался на счет того, что разбойник может далеко не ласково отнестись ко мне, как к еврею, являющемуся к нему со странным предложением от имени какой то таинственной компании.

Но пространствовав около недели пешком, я нигде никаких даже намеков в подтверждение газетного сообщения о разбойнике не слыхал. Газетное известиее, взволновавшее нас, было, очевидно, плодом чьей то досужей фантазии или нарочно пущенной в обращение газетной уткой. Случайно ли Брешковская не оказалась в условленном местечке, или вследствие требований конспиративной осторожности она там так скрывалась, что я не мог ее разыскать — но я вернулся в Киев.

Для характеристики настроения, царившего тогда в революционной среде, не лишен интереса и следующий эпизод.

Революционное движение, признаки назревания или оживления которого были уже заметны в последние месяцы 73 года, в начале следующего года, особенно весной, приняло уже массовый характер. Началось массовое пилигримство, «хождение в народ» одних революционеров и подготовление других к тому же. Стефанович, например, обучался в это время сапожному ремеслу, старший Левенталь и я — столярному. Даже Мокриевич, знавший хорошо деревню с раннего детства и умевший, конечно, справляться с сельскими работами, нашел нужным подготовиться немного в городе и просил меня помочь ему в этом. Я его познакомил

с Гаврилой, под руководством которого он — очень короткое время — плотничал.

Параллельно с расширением движения, росла и нужда в материальных средствах для удовлетворения его ростущих потребностей и запросов. И вот я и С. Лурье решили добыть некоторые средства для наших дел следующим, для того времени не очень экстраординарным, способом.

Лурье в то время должен был жениться на очень симпатичной девушке, дочери богатых родителей, и получить хорошее приданое. Я же был уже женихом старшей Каминер, но мы считали совершенно лишним сказать об этом ее родителям. Теперь же мы решили сообщить им и настаивать, чтоб они нам дали 3000 рублей[1]) на самостоятельное устройство.

Отец моей невесты, Надежды, не раз весьма лестно отзывался перед детьми обо мне, как о революционере. И теперь именно его, по-моему, преувеличенно высокое мнение обо мне, оказалось серьезным препятствием для достижения нашей цели. «Такому человеку, как Аксельрод», говорил он, «совсем жениться не следовало бы». Затем, скрепя сердце, боясь, что дочь совсем может уйти из дому, он дал согласие на наш брак. Но насчет «приданого» он остался непреклонным: «Живите у нас», говорил он мне и дочери, «до окончания университета, а потом я, конечно, помогу вам устроиться». Он знал, что я уже давно распростился с мыслью об окончании университета и о какой-нибудь карьере, и догадывался или даже

[1]) О большей сумме мы и не мечтали, имея в виду, что родители были, хотя и состоятельные, но далеко не богаты.

был уверен в том, что если он нам даст деньги, то они уйдут совсем не на наше благоустройство. Мы оказались, таким образом, в роли наивного мужичка, попытавшегося хитростью обойти барина, который, однако, сразу разгадал его хитрость.

Лурье же, кажется, даже и попытаться осуществить проект своей «выгодной» женитьбы не удалось, потому что отец симпатичной ему, да и нам, его друзьям, девушки был совсем из другого теста, чем Каминер: это был самый заурядный купец.

Едва мы успели примириться с неудачей, постигшей нас в наших финансовых проектах, как у нас мелькнула надежда получить возможность осуществления другого проекта — устройства тайной типографии.

Каминер решил купить у вдовы умершего предводителя дворянства Черниговской губ. имение в Городнянском уезде этой губернии. В силу разных обстоятельств, ему при этом нужна была помощь его старшей дочери, моей невесты. И так как ему, как врачу, нельзя было на долго отлучаться из Киева, то ей предстояло на более или менее продолжительное время застрять в деревне (Паперня), сначала для сношений и переговоров с помещицей, а потом отчасти и для хозяйничанья.

А между тем, Надежда жила в это время в одной из подгородних деревень в крестьянской семье, под видом горничной, которой врач предписал поправиться немного после болезни, или чего то в этом роде. Она уже успела свыкнуться с жизнью в одной избе с целой семьей и сблизиться с хозяевами и с их детьми, участвовала в домашних работах и вообще чувствовала, что делает успехи

в подготовке себя к «жизни в народе». И вот, вдруг ее хотят вырвать из этой обстановки для сношений с какой то помещицей, а затем и для того, чтобы она сама заняла положение помещицы!

Конечно, она и слышать не хотела об этом. Но тут то отца ее, неведомо для него, выручили наши мечтания об устройстве тайной типографии. Мы вообразили, что в деревне, лежащей в глуши, нам легко будет устроить тайное революционное гнездо, где можно будет печатать листки и воззвания, и где товарищи смогут на время скрываться от преследований. А в придачу ко всему этому, наша молодая компания, — Левентали, я и старшие дети самого Каминера, — рассчитывала использовать пребывание в деревне в летние месяцы для ознакомления с сельской жизнью, бытом, положением, нравами и настроением местных крестьян. Словом, перспективы, рисовавшиеся нам, казались вполне заслуживающими жертвы, требовавшейся от моей невесты.

В то время, когда я искал мифического разбойника, она уже была в Паперне, а потому, по возвращении в Киев, я сейчас же уехал в эту деревню, куда очень скоро приехал и старший Левенталь. Но не прошло, кажется, и двух или трех недель, — максимум, месяца, как все наши проекты и надежды разлетелись в пух и прах. В мое и Левенталя отсутствие, в Папернию неожиданно прибыл из Киева товарищ с плохими вестями: его прислали сообщить мне, что в Киеве начались полицейские репрессии, — Лурье арестован; у него забрали и мои письма, рукописи, дневник и т. д. ищут и меня. Нужно было скрываться. Вместе

со старшим Левенталем, который оказался здесь, мы попытались укрыться в одной, затерянной среди леса, избушке, недалеко от Паперни. Но жандармы и прокурор прибыли в деревню, наше убежище казалось ненадежным. Мы решили уехать подальше.

Но аресты уже шли по всей России. Всюду были разосланы приказы ловить подозрительных лиц. Два раза мы были задержаны, и лишь счастливая случайность оба раза дала нам возможность бежать. Товарищи в городах, куда мы приезжали, либо уже сидели по тюрьмам, либо скрывались неизвестно где. Все явочные квартиры были провалены. Негде было приютиться, хоть на короткое время.

Уходя от полиции, мы об'ехали ряд городов, — побывали в Рославле, Могилеве на Днепре, Ковне. Повсюду та же картина, полный полицейский разгром. Мы решили тогда уехать на время за границу и там переждать, пока не явится возможность нелегально вернуться в Россию.

Поскольку у меня были колебания перед необходимостью покинуть пределы России, решающую роль сыграла для меня мысль о том, что я, наконец, увижу рабочих, к которым были обращены пламенные речи Лассаля, рабочих, которых он призывал строить «церковь будущего».

В сентябре 1874 г., при помощи очень хорошей, интеллигентной еврейской семьи в Ковне, мне и Левенталю удалось, без всяких документов, перейти германскую границу около Вержболово.

VI. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С ГЕРМАНСКОЙ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЕЙ

(1874 г.)

Берлин. — Рабочие собрания. — Мое впечатление от германского рабочего движения. — Сапожник Метцнер. — Дмитрий Клеменц.

Перейдя границу, мы с Левенталем направились на вокзал в Эйдкунен, взяли билеты и поехали в Берлин, где уже с полгода или даже около года находился мой друг Гриша Гуревич.

Ехали мы не то в четвертом классе, не то в товарном вагоне, — помню, что скамеек в вагоне не было, приходилось сидеть или лежать на полу. Но когда в Берлине мы вышли из вокзала на шумную, полную движения улицу, я не чувствовал ни малейшей усталости.

В первый раз в жизни я был в большом европейском городе! Может быть, впечатление было бы слабее, если б я был знаком хотя бы с Москвой или Петроградом. Но после сонного Киева начала

70-х годов берлинские улицы ослепили и оглушили меня.

Гриша жил далеко от вокзала. Мы ехали омнибусом через город часа полтора, а может быть и больше. Толпа, заполнявшая тротуары, бесконечные вереницы возов с товарами, бесчисленные магазины — все изумляло и подавляло меня.

Я даже сказал Левенталю:

— Теперь я начинаю понимать преклонение некоторых экономистов перед буржуазным прогрессом. Конечно, они стараются не видеть оборотную сторону медали, но все же то, что мы наблюдаем сейчас, поразительно!

Приехали к Грише. Он уже успел немного освоиться с берлинской жизнью, а по-немецки он и раньше говорил свободно. Жил он не нуждаясь, получая средства — довольно, впрочем, скромные — из дому. Он, однако, ухитрялся делиться с нами и своими скромными средствами.

Я начал знакомиться с Берлином. О существовании музеев и художественных галлерей я едва ли даже подозревал. О театрах и т. п. развлечениях я и думать не мог, — особенно в то время, когда товарищи, оставшиеся в России, сидели по тюрьмам или скрывались от преследований. Да, впрочем, и денег у меня не было на посещение театра. Знакомство с Берлином сводилось для меня к посещению рабочих собраний.

И здесь, на первых порах, помог мне Гуревич. Он уже много раз бывал на рабочих собраниях, знал пивные, в которых сходились по вечерам вожди и видные члены партии, был лично знаком с такими деятелями, как Вильгельм Либкнехт, и даже успел

подружиться с 22-х летним Эдуардом Бернштейном, который, несмотря на свою молодость, был уже видным членом Эйзенахской партии[1]).

Первое время я плохо понимал речи, угадывал лишь их общий смысл, благодаря сходству немецких слов с еврейскими. Но Гриша садился рядом со мной и переводил мне то, чего я сам не мог понять.

А спустя некоторое время, я настолько освоился с немецкой речью, что мог и один ходить на собрания. Здесь у меня бывали теперь затруднения другого рода: собрания происходили в пивных; нужно было заказать себе хоть полкружки пива; а иногда во время собрания происходил еще сбор на какое-нибудь благое дело; самое меньшее, приходилось истратить за вечер один зильбергрош (10 пфеннигов), а зильбергрошей частенько у меня не хватало, так как средств Гриши порой было недостаточно на нашу «коммуну».

Рабочие собрания произвели на меня еще большее впечатление, чем берлинские улицы.

Прежде всего, поразил меня массовый характер этих собраний: по нескольку сот человек, — а

---

[1]) Напомню, что в начале 60-х годов в Германии существовала лишь одна рабочая социалистическая партия, — «Общегерманский рабочий Союз», основанный Лассалем. Вскоре после смерти Лассаля (1864 г.) внутри союза возникла оппозиция с Вильгельмом Либкнехтом во главе, направленная против политики Швейцера, который некоторое время был редактором центрального органа союза, а потом его президентом. В 1869 г. оппозиция, на конгрессе в Эйзенахе, конституировалась в отдельную партию, получившую название «Эйзенахской партии». Эта партия находилась в тесных сношениях с К. Марксом и считала себя секцией Интернационала.

иногда и тысячная толпа или даже еще более многочисленная!

Затем, состав собраний. Кругом рабочие, настоящие рабочие, — и на местах слушателей, и за председательским столом, и на ораторской трибуне!

И эти люди свободно и смело говорят о положении государства, высказываются по самым сложным вопросам, критикуют правительство!

Какой контраст с нашими кружковыми собраниями!

Импонировала мне еще одна черта берлинских собраний. На них неизменно присутствовал представитель полиции. Он сидел за особым столиком, недалеко от председателя, слушал ораторов и записывал их речи, но его присутствие, как мне тогда казалось, никого не стесняло[1]). Напротив того, отпуская шпильки по адресу правительства, ораторы бросали взгляды в сторону полицейского, будто поддразнивая его. А тот сидел и слушал.

Иногда, потеряв терпение, полицейский об'являл собрание закрытым. Со всех сторон неслись выражения протеста, а затем все подымались со своих мест и затягивали революционный гимн.

Одно собрание произвело на меня особенно сильное впечатление. Это было огромное, многотысячное рабочее собрание, созванное в декабре, то есть незадолго до Готского с'езда, и посвященное вопросу о слиянии эйзенаховцев и лассалианцев в единую социал-демократическую партию. Я знал, что эйзенахцы на своих собраниях и в прессе не щадят лассалианцев, и что лассалианцы платят

[1]) Напомню, что это было до введения исключительных законов против социалистов.

им той же монетой. Но на общем об'единительном собрании все разногласия были забыты. В речах ораторов обоих направлений звучал страстный призыв к об'единению. Один лишь оратор попытался вокресить старые споры, но его голос потонул в протестах толпы, которая вся полна была энтузиазма и веры в будущее рабочего движения! На этом собрании я в первый раз услышал Вильгельма Либкнехта. Тут же выступал и юный Эдуард Бернштейн.

Впоследствие мне приходилось не раз сравнивать впечатление, вынесенное мною из первых встреч с социалистическим Берлином, с тем впечатлением, которое те же встречи производили на других русских эмигрантов. И я замечал, что товарищи далеко не разделяют моего энтузиазма. Думаю, что зависело это от различий в пройденном мною и ими пути.

Почти все они вышли из дворянской или интеллигентской среды, где не редкость чувство собственного достоинства и независимости в человеке. А я, хоть и считал себя в неоплатном долгу перед народом, вырос в самых низах народа. С детства я видел вокруг себя забитых, приниженных, боящихся всего вышестоящего, людей. Из царства тупого беспросветного невежества не вывели меня, собственно говоря, и киевские рабочие артели. Ведь здесь все приходилось начинать с азов, приспосабливаясь к первобытным слушателям, и я прекрасно знал, как трепещет перед околоточным любой из наших кружковых рабочих!

Встречая в берлинских рабочих собраниях прямую противоположность этой приниженности и

тьмы, я мог особенно отчетливо чувствовать царивший здесь дух. И потому даже самые мирные рабочие собрания становились для меня полны глубокого смысла, вызывали в памяти гордые, пленительно прекрасные слова Лассаля об исторической роли рабочего класса и укрепляли мою веру в социализм.

Позже в словах Якоби я нашел яркое выражение того, как я смотрел тогда на рабочее движение: «Основание самого маленького рабочего союза», сказал Якоби, «имеет большее культурное значение, чем громкая победа под Садовой или Седаном».

К концу осени приехали в Берлин моя невеста, Надежда Каминер, и ее младшая сестра Августина. Надежде хотелось возможно ближе приглядеться к жизни немецких рабочих, и потому она решила поселиться в рабочей семье. Гриша Гуревич отправился к Бернштейну за советом, не знает ли он рабочего социалиста, у которого можно было бы снять комнату. Бернштейн указал нам сапожника Метцнера, и Каминер поселилась у него, — как сейчас помню, за 13 талеров (39 марок) в месяц, на всем готовом.

Метцнер со своей семьей занимал крошечную квартирку в подвале. Две комнатки выходили окнами во двор, третья — на улицу. Были еще маленькие сенцы, — здесь я устроился впоследствии, когда тоже переселился к Метцнеру.

Наш хозяин-сапожник работал один, без подмастерьев. Заказов было мало, заработка не хватало. Семья жила чрезвычайно бедно и нередко голодала, в полном смысле слова.

Для Каминер, привыкшей к довольству и домашнему уюту, эта жизнь впроголодь оказалась непосильно тяжелой. Она ослабела от хронического недоедания. Раз даже ей стало дурно от голода, и когда она очнулась от обморока, первыми ее словами были:

— Кусочек хлеба! Дайте кусочек хлеба!

Но она и не думала променять жизнь у Метцнера на более комфортабельную обстановку, которую могли доставить ей средства, посылаемые из дому.

Метцнер, вечно занятый работой и мыслями о заказах и куске хлеба, был видным членом берлинской социал-демократической организации. Он вступил в движение еще при Лассале, был одним из 24 членов правления основанного Лассалем «Рабочего Союза». Но затем он вступил в лагерь оппозиции, покинул ряды лассалианцев и принял участие в образовании Эйзенахской партии.

Помню, как восторженно рекомендовал он мне произведения Маркса:

— В «Коммунистическом Манифесте», — говорил он, — чуть не на каждой странице больше мыслей, чем во всех сочинениях Лассаля!

Впрочем, в рядах Эйзенахской партии Метцнер занимал своеобразное положение. Он был в оппозиции к правлению партии и обвинял его в чрезмерном увлечении централизмом. Вокруг Метцнера группировался небольшой кружок рабочих, разделявших его настроение. Метцнер председательствовал на еженедельных собраниях этого кружка. Были у кружка и секретарь, и кассир. Заседания носили немного официальный характер и происходили в присутствии полиции.

Все эти формальности казались мне излишними, но к критике партийного централизма я относился с полным сочувствием: эта критика была родственна идеям федерализма и безначалия, которыми я очень дорожил, как бакунист. Со своей стороны, я со всем пылом развивал организационные и политические принципы бакунизма перед Метцнером и, кажется, не без некоторого успеха, который я об'ясняю, в значительной степени, влиянием на Метцнера Дюринга. Дело в том, что увлечение «Коммунистическим Манифестом» не мешало Метцнеру быть большим поклонником Дюринга, — который, между прочим, принадлежал к числу его постоянных клиентов. Метцнер столько рассказывал мне про Дюринга, что, в конце концов, я пошел к Дюрингу, представился ему, как «русский социалист-эмигрант и знакомый товарища Метцнера». Был я и на какой то лекции Дюринга, но эта лекция не произвела на меня большого впечатления.

Я жадно читал в Берлине социалистические газеты: «Volksstaat» («Народное Государство»), орган эйзенахцев, во главе которого стоял Вильгельм Либкнехт, и «Sozialdemokrat», орган лассалианцев, редактором которого был тогда Гассельман,

Между обеими газетами велась отчаянная полемика. Симпатии мои склонялись в сторону эйзенахцев, но за кратковременное пребывание в Берлине я не мог основательно разобраться в их разногласиях.

В конце 1874 г. в Берлин приехал Дмитрий Клеменц: ему пришлось бежать из России так же, как мне с Левенталем и многим другим.

Не знаю, был ли Клеменц значительно старше меня летами, но он был гораздо старше революционным опытом и знанием жизни. Он работал в петербургском кружке «чайковцев», стал сознательным революционером раньше меня, хорошо знал радикальную литературу и был знаком с прошлым революционной борьбы в России.

Вообще, это была талантливая, богато одаренная натура. В университете — он был уже на четвертом курсе — ему прочили блестящую научную карьеру, но он бросил все ради революции. И все же, впоследствии он выделился, как ученый — этнограф. Наряду с научным дарованием, он обладал большим запасом житейского здравого смысла, практической сметки, изобретательности, находчивости.

Клеменц был мастером рассказывать, при чем талантливо представлял в лицах всех, с кем ему приходилось иметь дело. Мимический талант не раз выручал его в трудные минуты.

Однажды, например, кружок поручил ему устроить побег одного товарища, сосланного в Петрозаводск. Клеменц запасшись подложными бумагами инженера Штурма, будто бы командируемого в Петрозаводск по казенной надобности, явился прямо к петрозаводскому полицмейстеру, познакомился со всем местным начальством, играл в карты и пил с чиновниками,—пока не подготовил всего к побегу. И когда он уехал из города вместе с товарищем ссыльным, никому не могло придти в голову, что «государственный преступник» бежал, скрывшись в кибитке благонамереннейшего инженера!

Решив идти в народ, Клеменц, чтобы легче сблизиться с крестьянами, принял на себя роль кучера у Иванчина-Писарева, помещика, сочувствовавшего движению и впоследствии целиком отдавшегося революции. Эту свою роль он проводил мастерски. Как то исправник, встретившись с помещиком у корчмы на проезжей дороге, обратил внимание на нового кучера. Но Клеменц принял сразу такой вид, что исправник задал помещику лишь один вопрос:

— Где вы такого идиота раздобыли?

Клеменц сам описывал мне эту сцену и показывал, какую именно рожу состроил, чтобы усыпить подозрительность исправника.

Мы скоро подружились с Клеменцом. От него я узнал много интересного о петербургском кружке. Клеменц с большой теплотой и искренностью говорил о членах этого кружка и о царившей в нем атмосфере интимнейшего товарищества и высокого идеализма. Беседы с Клеменцом, в связи с тем впечатлением, которое с Киева сохранилось у меня от Чарушина, делегата «чайковцев», внушили мне глубокую симпатию к этому кружку.

Позже, вспоминая об этом кружке, я не раз мысленно сравнивал его духовный облик с обликом передовой молодежи, которая в 40-х годах группировалась вокруг Станкевича.

По совету Клеменца, я решил переехать в Женеву, чтобы познакомиться с местными русскими эмигрантами.

Это было в январе. Стояли сильные морозы, а у меня не было теплого пальто. Клеменц одел на меня свою превосходную шубу и так и отправил

меня на вокзал. Не помню даже, сказал ли я ему «спасибо», — настолько нам казалось естественным делиться друг с другом тем, что мы имели.

Но одно не пришло нам в голову: что в Женеве теплее, чем в Берлине! Клеменц остался мерзнуть в Германии, а в Швейцарии погода оказалась настолько теплая, что молодой человек в огромной шубе представлял здесь собою довольно странное зрелище, и за мной, благодаря подарку Клеменца, чуть не бегали мальчишки по улицам.

VII. СРЕДИ ЭМИГРАНТОВ В ЖЕНЕВЕ.

(1875 г.)

Первые встречи. — Веселая вечеринка. — Н. Жуковский. — Группа Ралли. — «Работник». — Кравчинский. — Моя столярная работа. — Наше материальное положение. — Эмигранты-бакунисты и восстание в Герцеговине. — «Золотая грамота» к чигиринским крестьянам. — Я еду в Россию.

Средств, которыми могли снабдить меня берлинские товарищи, еле-еле хватило до Берна. Но здесь я, благодаря адресу, данному Клеменцом, отыскал двух товарищей: Грибоедова и Саблина, принадлежавших к Петербургскому кружку чайковцев.

Грибоедову было лет 35. Несмотря на полную преданность революции, в нем чувствовалась некоторая усталость. Он относился к нам, молодым революционерам, со снисходительным добродушием: хорошие, мол, у вас стремления, но много еще в вас ребячества!

Саблин был гораздо моложе и производил также очень симпатичное впечатление. Впоследствии, в

конце 70-х годов, он оказался в числе наиболее активных членов террористической организации, из которой вышла «Народная Воля», участвовал в подготовке боевых актов и погиб вскоре после дела 1-го марта 1881 г.: он застрелился при аресте.

Грибоедова и Саблина я разыскал в Берне через одну русскую студентку, которая стояла близко к эмигрантам, хотя сама не была эмигранткой, а приехала в Швейцарию учиться. Совершенно юная, красивая, веселая, она производила самое симпатичное впечатление. Это была Вера Фигнер. Я тогда еще не знал, что она уже была замужем и разошлась с мужем из-за убеждений.

Пробыв очень недолго в Берне, я поехал оттуда, вместе с Саблиным, в Женеву.

Здесь Саблин сразу повел меня в кафэ-ресторан Грессо, где обычно столовались русские, а отчасти и французские эмигранты (бывшие коммунары).

Русская компания занимала столик в отдельной комнате в первом этаже. Ужинали скромно. Но... мне этот ужин показался все-таки слишком роскошным. Особенно поразило меня вино, которое пили обильно, — по моим тогдашним представлениям. После ужина компания принялась петь скабрезные песни. Все это показалось мне весьма «буржуазным», так как во мне еще очень прочно сидели мои настроения киевского периода, когда я считал чуть ли не грехопадением купить апельсин (роскошь, недоступная для народных масс) и колебался брать извозчика, когда мне нужно было далеко ходить, так как бедным людям приходится тащиться пешком даже на очень далеких расстояниях. Конечно, впоследствие я увидел, что в Женеве вино — самая

обычная принадлежность стола не только у «буржуа», но и у всех решительно бедняков. Да и блюда, составлявшие наш ужин, не очень уж отличались от тех, которые подавались у Грессо и в других плебейских ресторанах к обеду или ужину коммунарам и рабочим. Наконец, нашему ужину был нарочито придан характер пирушки, на которую приглашены были самые близкие товарищи. Но на меня эта пирушка произвела тягостное впечатление, и я ушел к себе в тяжелом раздумьи. А между тем, организаторы и участники вечеринки были чистые, идейные люди, преданные революции, и с некоторыми из них мне предстояло близко сойтись.

Здесь были: Ралли, Гольдштейн, Эльсниц, Николай Жуковский, Николай Морозов, Саблин и др.[1]).

Старше других годами был Н. Жуковский. Он эмигрировал в Европу еще в начале или середине 60-х годов и успел настолько освоиться с заграничной жизнью, что стал наполовину французом. Он был одним из ближайших сотрудников Бакунина, хорошо говорил, мог и писать недурно, но как то отбился от революционной работы и ничего не делал.

О Николае Морозове я много слышал от Клеменца. Рассказывая о «чайковцах», Димитрий всегда с особенной теплотой отзывался о троих: о Перовской, о Кравчинском и о Морозове. О последнем он говорил, как об исключительно талантливом юноше, подающем блестящие надежды.

---

[1]) Быть может, он приехал несколько позднее.

Я должен остановиться несколько дольше на троице — Ралли, Гольдштейн и Эльсниц. Все трое они были эмигрантами нечаевского периода, то есть конца 60-х и самого начала 70-х годов. За границей они сошлись с Бакуниным, работали некоторое время под его непосредственным руководством и сделались правоверными бакунистами. Именно они составили и выпустили обращение «К революционной молодежи», которое я цитировал выше, говоря об отношении бакунистов к разбойникам.

Но в то время, когда я встретился с ними, эта троица, сохраняя целиком свое бакунистское настроение, не имела уже непосредственной личной близости со своим учителем. Отдалились они от Бакунина по причинам чисто личного характера. Дело в том, что ближайшим помощником, правой рукой Бакунина был Росс (Сажин), которому Бакунин неограниченно доверял во всех практических вопросах. Росс секретарствовал при Бакунине, вел его переписку, писал под его диктовку статьи и брошюры. Это был человек энергичный, властный, крутого нрава и, как говорили, мало разборчивый в средствах. С ним Ралли, Гольдштейн и Эльсниц не ужились, и это побудило их отойти в сторону от Бакунина.

Некоторое время они работали в Цюрихе, где завели собственную наборню (довольно примитивного устройства) и выпускали кое-какую литературу. Затем перебрались в Женеву.

Здесь кружок предпринял издание пропагандистской газеты «Работник». Эта газета, просуществовавшая больше года, показывает, что женев-

ский кружок не разделял увлечений крайних бакунистов (типа Судзиловского или Дебагория-Мокриевича), отрицавших пользу не только пропаганды, но даже простой грамоты: редакция стремилась расширить кругозор рабочих, для которых предназначалось издание, стремилась учить народ.

Кружок выпустил также сборник статей «Сытые и голодные».

Душой кружка был Ралли, человек хорошей души и живой фантазии. Он женился на одной русской студентке и рассказывал, что сосватал их Бакунин:

— Старик так и сказал мне: женись, это как раз такая жена, какая нужна тебе.

Жена Ралли была из богатой помещичьей семьи, у нее осталась доля имения в России. Это избавляло семью от материальных забот, тяжело ложившихся на других эмигрантов. Ралли мог отдавать революционной работе все свои силы и все время. А порой он имел возможность оказывать материальную поддержку и неимущим товарищам, и всей группе.

Работа кружка заключалась, главным образом, в издании революционной литературы для России.

Техника издания была очень простая. У группы «Работника» была наборня, состоявшая из двух-трех касс, и был постоянный наборщик (из эмигрантов). Готовый набор относили в одну женевскую типографию, где ни хозяин, ни рабочие ни слова не понимали по русски, и здесь, на глазах нашего наборщика, производилось печатание.

Точно также работала и другая, существовавшая в Женеве, наборня, принадлежавшая «чайковцам». А впоследствии обе наборни слились.

Вскоре после меня в Женеву приехал Кравчинский, которого я знал уже по рассказам Клеменца. Кравчинский сразу завоевал мои симпатии. Это был человек не только весьма талантливый, но и активный, сильный и смелый — «не ведающий страха», по характеристике Клеменца, — одна из наиболее ярких фигур среди русских революционеров. Он оказался одним из самых блестящих представителей всего русского революционного движения 70-х годов.

Кравчинский привез с собой рукописи двух написанных им пропагандистских брошюр для народа — «Мудрица Наумовна» и «Слово на Великий Пяток» — написанных в форме народных сказок. Он читал их в нашем товарищеском кругу, и мы были от них в восторге.

Кравчинский был убежденным бакунистом. Он ездил в Локарно к Бакунину для личной беседы с ним. Помню еще, что он написал Лаврову большое письмо, в котором критиковал взгляды лавризма.

Кружок русской эмиграции в Женеве постепенно расширялся. К весне 1875 г. приехали сюда: мой старый знакомый по Могилеву и Киеву Судзиловский, Ткачев, уже пользовавшийся известностью, как публицист и теоретик революционной борьбы, и некоторые другие.

Еще раньше приехала ко мне из Берлина моя невеста, Надежда Каминер. В Женеве мы и поженились. А вскоре после нее приехала и сестра ее Августина. Надежда поступила ученицей в

швейную мастерскую (она уже и в Берлине училась ремеслу портнихи), а Августина — в прачешное заведение.

Чтобы подготовиться к предстоящему «хождению в народ», я поступил учеником в столярную мастерскую. Собственно говоря, я уже не был совершенным новичком в столярном деле: еще в Киеве, пока Стефанович учился шить сапоги, я упражнялся в строгании досок на дворе у Каминеров. Но у меня не оказалось ни малейшего таланта к ремеслу: сколько я ни бился, мне никак не удавалось выстрогать доску так, чтоб не было косины. А между тем, работал я изо всех сил, даже есть почти перестал и совсем похудел. Впрочем, в конце моей столярной карьеры я получал 15 франков в месяц (за полировку поручней на лестницах).

Рабочий день продолжался у нас 11 ч. В это время в Швейцарии происходило движение в пользу законодательного установления 10-часового рабочего дня. Как бакунист, я был противником этого движения: мы считали, что не революционное дело агитировать за подобные мелкие улучшения, которые лишь ослабляют революционность рабочего класса. Но, несмотря на эти соображения, в глубине души я очень желал, чтобы закон о сокращении рабочего дня был принят, что дало бы мне возможность работать лишь 10 часов.

Учился я столярному ремеслу в маленькой мастерской, в которой работал только сам хозяин, француз, поклонник Гамбетты.

Между нами часто происходили горячие споры. Чувствуя, что мне недостает слов, чтобы выразить

свою мысль, я то и дело переспрашивал моего собеседника:

— Вы меня понимаете? Вы понимаете, что я хочу сказать?

Мой хозяин всегда отвечал очень любезно:

— Отлично понимаю! Вы превосходно говорите по французски.

Но, в действительности, говорил я по французски из рук вон плохо.

Припоминая, как мы жили в Женеве в смысле материальном, я затрудняюсь определить точно источник наших доходов. Мой 15-ти франковый заработок, разумеется, был совершенно недостаточен. Надежда получала очень мало, так как большая часть средств, которая высылалась ей и Августине из дому на ее старый берлинский адрес, оставалась в берлинской эмигрантской «коммуне». Перебивались мы кое-как, в значительной степени благодаря помощи товарищей и кредиту у Грессо.

Из женевской эмиграции в самом тяжелом положении была приехавшая к нам из Одессы жена Волховского, сидевшего в то время в тюрьме. Она была тяжело больна, и за ней требовался непрерывный и внимательный уход. Эту работу приняла на себя моя жена, которой около этого времени пришлось оставить мастерскую, вследствие более чем подозрительного поведения хозяйки и работниц. Кравчинский, который был дружен с Волховскими, передал мне, что Волховская говорила ему о моей жене: «Только мысль о Надежде Каминер примиряет меня с людьми».

Мне припоминается один комичный случай, происшедший с Кравчинским. Он обыкновенно

ходил на базар за провизией для Волховской. Но' выполняя это ответственное дело, он бывал занят своими мыслями. И вот, однажды, Сергей вернулся с базара с пустой корзиной: оказалось, что по дороге он с'ел виноград и чуть не всю провизию.

Летом 1875 г. у нас было решено, что кто-нибудь должен поехать из Женевы в Россию. Выбор пал на меня.

Два обстоятельства вызвали наше решение: события в Герцеговине и аграрные беспорядки, вспыхнувшие в Чигиринском уезде Киевской губернии.

В Герцеговине в это время происходило восстание местного славянского населения против турецкого владычества. Все симпатии революционной эмиграции были, разумеется, на стороне повстанцев. Не ограничиваясь выражением своих симпатий, некоторые бакунисты полагали, что революционные элементы России должны принять активное участие в этом движении, влив в ряды повстанцев свои добровольческие дружины. Этот план обосновывался соображениями двоякого рода:

1. Борясь против турок в рядах восставших славян, русские революционеры внесли бы социалистические тенденции в движение, и это явилось бы гарантией того, что Балканы, в результате победоносного восстания, получат политическое устройство, отвечающее интересам и требованиям народных масс.

2. Вооруженная борьба с турками явилась бы для русских революционеров боевой школой, и приобретенный этим путем опыт можно было бы использовать впоследствии для революционной борьбы в России.

Я должен был передать товарищам в России этот план и содействовать развитию добровольческого движения в революционной среде.

В то же время Кравчинский, Клеменц и Сажин сами собирались отправиться в Герцеговину и, действительно, туда отправились. Вернулись же они оттуда изрядно разочарованными в революционности «братушек»-славян.

Задача, возложенная на меня в связи с Чигиринским движением, состояла в следующем:

По дошедшим до нас сведениям, аграрные беспорядки приняли в Чигиринском уезде весьма серьезный характер. При этом, однако, крестьяне все свои надежды возлагали на Царя-Батюшку. Именно эта особенность движения подсказала Стефановичу, Дейчу и Бухановскому мысль попытаться организовать крестьян именем царя. Но у нас — в узком кружке, куда входили Судзиловский, «хохол» Николай Жебунов и я — созрел прямо противоположный план. Мы решили обратиться к чигиринским крестьянам с воззванием, которое об'яснило бы им, что напрасно надеятся они на царя, что царь держит сторону помещиков и начальства. Чтоб усилить впечатление от нашего воззвания, мы решили напечатать его золотыми буквами, то есть придать ему внешний вид той самой «золотой грамоты», которой мужики ждали от царя.

Жебунов написал по-украински текст воззвания. Мы дали набрать его в нашей наборне и отпечатали золотой краской, помнится, в количестве 500 экземпляров, в типографии, куда обычно передавали заказы.

Не помню точно, как подписали мы нашу «золотую грамоту». Кажется, подпись указывала, что воззвание исходит от «друзей народа» или какого то «союза».

Нужно было принять меры, чтобы наша грамота попала в охваченный беспорядками район. И я должен был доставить ее в Россию и подобрать товарищей, которые могли бы выполнить эту задачу.

К этому прибавилось еще третье поручение, которое дала мне группа «Работника».

Ралли и его друзья имели связи с одним довольно значительным революционным кружком, участники которого фигурировали позже в известном «процессе 50» и руководителями которого были, главным образом, грузины, со Здановичем во главе.

Женевцы предложили мне лично связаться с этим кружком, наладить правильные сношения между ним и группой «Работника» в Женеве и, в частности, устроить транспорт литературы.

Средства на дорогу дала мне, главным образом, группа «Работника», и в конце июля (или начале августа) я выехал в Россию. —

10*

VIII. ПОЕЗДКА В РОССИЮ.

(1875 г.)

Переход границы. — В Кишиневе. — Встреча с Здановичем. — Фроленко. — Петербургский кружок революционеров. — Натансон. — Перовская. — План Каблица. — Плеханов. — Снова переезд через границу.

В Россию я выехал через румынскую границу. Этим путем я быстрее попадал на юг России, где мы рассчитывали привлечь к нашим планам местных революционеров-бунтарей. Да и до Чигиринского уезда от румынской границы было сравнительно недалеко. А, главное, я должен был встретиться в Кишиневе со Здановичем, к которому я имел поручения от группы «Работника».

Ехал я без всяких документов, без всяких связей для перехода границы. Все надежды были на товарищей в Румынии.

В Яссах я разыскал русского эмигранта Каца (впоследствии под именем Герея он сыграл крупную роль в социалистическом движении в Румынии и был одним из основателей румынской социал-демократии). Я рассказал Кацу о наших планах и просил позаботиться о переправе через границу, как

меня, так и нашей «золотой грамоты». Но оказалось, что у Каца тоже не было необходимых связей. Был у него один знакомый инженер-поляк, но из его стараний ничего не вышло. Недели две прошло в бесплодных поисках и ожидании. Наконец, удалось раздобыть адрес какого то пограничного еврея, через которого можно было достать билет для перехода через границу; но о перевозке тюка с воззваниями нечего было и думать. Приходилось оставить «золотую грамоту» в Яссах, — до тех пор, пока не удастся наладить нелегальный транспорт. Я взял с собой лишь пару экземпляров, сколько мог спрятать в мои длинные чоботы.

Товарищи для перехода границы нарядили меня ветхозаветным галицийским евреем.

Маскарад удался как нельзя лучше. На границе таможенный досмотрщик, обыскивая мои карманы, заинтересовался моим кошельком. Там, кроме денег, были кое-какие бумажки с зашифрованными адресами. Но я протянул кошелек так, что досмотрщик сразу решил, что я дрожу за свои деньги.

— Не бойся, не бойся, — заворчал он на меня: — не возьму я твоих денег.

И прибавил еще вслух:

— Целый день возись вот с такими!

Вот это впечатление, произведенное на него моим костюмом и внешним видом, и спасло меня. До чоботов моих он так и не добрался.

В Кишиневе я остановился в какой то еврейской корчме. Через одного студента, адрес которого я получил еще в Женеве, я легко нашел явочную квартиру Здановича. Но здесь у меня вышла заминка.

В Кишиневе, чуть не накануне моего приезда, были обыски. Полиция, повидимому, искала Здановича. Меня, благодаря моему костюму, который внушил такое доверие таможенному досмотрщику, на явочной квартире приняли подозрительно. Начали расспрашивать, кого я знаю. Я назвал целый ряд одесских товарщей, — между прочим, Костюрина, члена кружка „чайковцев“. Тогда мне предложили придти в сумерки в городской сад, чтобы встретиться с одним из старых знакомых.

В саду было пусто, так как это был вечер перед субботой, и все евреи были в синагоге. Вдруг я вижу, приближается ко мне какой то офицер в полной форме. Я сразу узнал Костюрина. На радостях мы обнялись, расцеловались, забыв совершенно, что сцена об'ятий галицийского еврея в высокой шапке с офицером русской армии не может не показаться подозрительной. Но на наше счастье, по близозти не было ни души.

Меня повели к кому то из товарищей, заменили мой галицийский наряд другим костюмом, и в тот же вечер я встретился со Здановичем.

Беседа наша продолжалась довольно долго. Мы и ночевали вместе, точнее, провели ночь, с часу ночи до утра, в одной комнате в гостиннице. Но окончательно сговориться обо всем не удалось. Здановичу нельзя было оставаться в Кишиневе, где его искали. Мы условились с ним встретиться в Одессе, куда мы (но не в одном и том же поезде) в тот же день и поехали.

Но и в Одессе нам не удалось наладить практически дела, поставленные группой «Работник»: Зданович должен был торопиться в Москву. Услови-

лись, что и я приеду туда для свидания с ним и с другими членами его организации.

Я временно задержался в Одессе, чтобы заняться здесь нашими проектами в связи с герцеговинским восстанием и чигиринскими беспорядками. Но очень быстро я убедился, что здесь не с кем говорить об этих планах. Революционная организация в Одессе, как и повсюду в России, была разгромлена недавними арестами. Нельзя — или очень трудно — было даже найти квартиру для ночевки нелегальному.

Узнав, что в Николаеве и в Херсоне уцелело несколько человек революционеров, я поехал туда.

В Николаеве встретился я с Фроленко, — он вел здесь пропаганду среди сектантов и был всецело поглощен этой работой.

Это был тот самый Фроленко, который впоследствии играл столь видную роль в революционном движении, — он между прочим устроил побег Стефановича, Дейча и Бухановского из Киевской тюрьмы. Под чужим именем он поступил в тюрьму надзирателем; зарекомендовал себя хорошим служакой, добился доверия начальства, — и в одну прекрасную ночь вывел из тюрьмы всех трех арестантов и скрылся вместе с ними.

Попытался я привлечь Фроленко к нашим герцеговинским планам, но не встретил сочувствия с его стороны.

— Людей у нас мало, — говорил он: — нужно у себя работать. Где нам заграницу отряды посылать?

Не больше интереса проявили Фроленко и его товарищи и к нашей чигиринской затее: уж слиш-

ком увлечены были они своей местной работой среди сектантов!

Под влиянием разговоров с Фроленко и с его товарищами я в значительной степени охладел к той миссии, с которой приехал из за границы. Для меня все более выяснялось, что прежде, чем предлагать что нибудь российским товарищам, нужно осмотреться, освоиться с обстановкой, которая заметно изменилась за время моего отсутствия из России.

С этим настроением я поехал в Москву. Здесь у меня была явка к Бутурлину. Это был довольно богатый человек, который прежде давал средства на издание журнала «Вперед». В его квартире сходились уцелевшие «чайковцы» и члены кружка 50-ти. Бутурлина я встретил крайне встревоженным, подавленным и узнал от него о новых провалах. Зданович и почти все видные участники его кружка были арестованы. Сам Бутурлин с часу на час ждал обыска. Оставаться у него не было возможности. Да и вообще, в Москве у нас не было больше ни одной верной квартиры. Бутурлин дал мне петербургские явки, дал денег на дорогу и отправил меня в Петербург.

Здесь полицейский разгром был менее полный, чем в Одессе и в Москве. Всетаки уцелели коекакие квартиры, была возможность жить нелегально, была возможность встречаться. Сюда стягивались мало по малу с разных концов России уцелевшие от арестов члены разгромленных революционных кружков.

От Бутурлина я имел адрес квартиры, где я встретился с Софьей Перовской, Натансоном и

Германом Лопатиным, только что бежавшим из Сибири.

Мне трудно изобразить ту атмосферу, которая царила в этом кружке. Между членами кружка чувствовалась братская близость, та сердечность и простота отношений, которая бывает порой в хорошей дружной семье. Здесь не обсуждались вопросы о долге пред народом, о служении народу, о слиянии с ним. Для всех и для каждого эти вопросы были уже разрешены бесповоротно, и к ним больше не возвращались. Все жили лишь одной заботой: собрать вновь рассеянные силы и возобновить революционную работу, которой были нанесены столь тяжелые удары полицейскими преследованиями.

Организация пропаганды в народе представлялась всем насущной задачей. Но в «летучей пропаганде» все уже успели разочароваться. Общим сочувствием пользовалась идея революционно-социалистических групповых поселений. Но для осуществления этой идеи требовалась организация с руководящим центром. Ее то и нужно было создать прежде всего!

Этим делом был занят тот кружок, в который я попал в Петербурге: это была инициативная группа, из усилий которой должна была вырасти впоследствии «Земля и Воля».

Признанным главой кружка был Натансон, человек, закаленный в революционной работе. В свое время он боролся с Нечаевым и казался последнему настолько опасным соперником, что Нечаев грозил ему донести на него III-му Отделению, если он, Натансон, будет противодействовать его пла-

нам. Позже Натансон явился основателем того революционного кружка, который известен, как организация «чайковцев». В момент ликвидации «чайковцев» он уже был в ссылке. Вернувшись из ссылки, он со всей энергией принялся за работу Он был опытнее других членов кружка и обладал. выдающимся организаторским талантом.

Обаятельное впечатление производила Перовская. В этой девушке, вышедшей из барской, сановной среды, чувствовалась такая бесграничная преданность народу, абсолютная простота и правдивость! Уже со слов Клеменца я знал о Соне Перовской. Димитрий много говорил мне и о глубине ее революционного настроения, и об ее исключительной смелости. При личной встрече меня поразила ее полная скромность, отсутствие всякого намека на позу, глубокая, идущая до конца искренность. Она уже была нелегальной и, если я не ошибаюсь, была «хозяйкой» конспиративной квартиры, о которой я говорю.

Политическое настроение кружка соответствовало переходному моменту в революционном движении.

Оно было радикальнее, революционнее лавризма. Но бунтарская тактика встречала здесь серьезные возражения. Помню по этому поводу у меня бывали большие споры с Перовской, которая была противницей бунтарства. Общие же дебаты по вопросам программным и тактическим при мне не происходили. В моей памяти сохранилось впечатление, что внимание и заботы всех поглощены были, главным образом, организационной задачей: собирать силы, созидать.

Натансон чуть ли не при первой встрече сказал мне, что его кружок рассчитывает привлечь и меня в создающуюся организацию. И как то само собой вышло, что ко мне за все время моего пребывания в Петербурге относились, как у члену кружка.

К герцеговинскому и чигеринскоиу планам я больше не возвращался: Петербургским товарищам эти планы казались беспочвенной выдумкой эмигрантов, недостаточно осведомленных об истинном положении дел в России.

Впрочем, и в Петербурге были в то время охотники до фантастических планов или просто до авантюр.

С одним из таких планов я познакомился через Каблица. Каблиц держался в стороне от кружка Натансона и Перовской. Причины этого я не знал и теперь не знаю. Но имею основание думать, что она заключалась не столько в программных или тактических разногласиях, сколько в нежелании Каблица сближаться с группой видных революционеров, в которой он не сможет играть первую роль. Он и впоследствии, в период народнический и народовольческий, оставался в стороне от главного русла движения и его организованных сил. Узнав о моем приезде в Петербург, Каблиц через общих знакомых устроил свидание со мной — не помню уже, у себя на квартире, или у кого-то другоо. Он сообщил мне о своем плане взорвать Зимний Дворец и предложил мне остаться в Петербурге для участия в осуществлении этого плана. Я вспомнил, что он с мыслью о взрыве Зимнего Дворца носился уже в Киеве. Об этом мне говорило Брешковская, сообщив под строжайшим секретом, что он

предложил ей и Ковалику принять участие в этом предприятии. Удивлялась и недоумевала она при этом по тому поводу, что Каблиц настаивает на том, чтобы только жребий решил, кому именно выполнить последнюю самую важную функцию — произвести взрыв. Естественно, что теперь, с первых же слов, я с очень большим скептицизмом отнесся к его плану, со скептицизмом, до крайности усилившимся, когда Каблиц мне об'яснил, в чем должна будет состоять моя роль в проектируемом предприятии. Мне предназначалась миссия пропагандиста, популяризирующего мысль о взрыве Зимнего Дворца, вербующего сторонников и сочувствующих, и организующего сборы средств. Когда же я ему указал на то, что я ведь в Петербурге новый человек, никому, кроме маленького кружка товарищей, неизвестный, то он мне ответил: «О, на этот счет будьте спокойны. О том, чтобы вы стали популярны в радикальных кругах, другие позаботятся». Перспектива приобресть известность при помощи такой рекламы окончательно настроила меня против Каблица и его предложения. Если память меня не обманывает, Судзиловский впоследствии рассказывал мне, что и он ездил в Америку для добывания динамита и что на Каблицовскую затею было ухлопано не мало денег.

В первый же свой приезд в Петербург я впервые познакомился с Плехановым.

Как нелегального, меня устроили однажды для ночевки в комнате студента горняка I-го или II-го курса. Юноша произвел на меня приятное впечатление. Говорил он хорошо, деловито, просто и вместе с тем весьма литературно. Чувствовалась в

нем большая любознательность, привычка читать, думать, работать.

Этот студент был Георгий Плеханов.

Он мечтал в это время окончить Горный Институт и поехать за-границу усовершенствоваться в химии. Мне этот план не понравился.

— Это роскошь!—говорил я молодому человеку:— Если вы будете так долго усовершенствоваться в химии, когда же начнете вы работать для революции?

В нашем кружке я рассказал о встрече с горняком и отрекомендовал Плеханова, как молодого человека, на которого нужно обратить внимание и которого следует привлечь к революционному делу.

Плеханова, действительно, привлекли к работе. И, благодаря своим блестящим способностям, юноша очень быстро выдвинулся. В 1876 г. он был уже одним из главных организаторов известной демонстрации на Казанской площади и выступил здесь с речью.

Впоследствии он рассказывал мне, как подготовлялась казанская демонстрация. Целыми днями Плеханов бегал по заводским кварталам, разыскивая сознательных рабочих, которых нужно было привлечь к делу. Вечером Натансон расспрашивал его о выполненной работе, и порой в повышенном тоне очень строго выговаривал студенту, почему не побывал он по такому то адресу. Плеханов кротко выслушивал резкие замечания старшего товарища и на следующий день утром спешил исправить упущения. Все его мечты об окончании Института и о дальнейшей научной работе рассеялись, как дым, — в революции Плеханов нашел свое призвание. . .

В это время я уже не был в Петербурге.

Когда я уезжал из Швейцарии, моя жена ожидала рождения ребенка. Мы условились с нею, что до нового года я вернусь в Женеву. И я тем более спешил вернуться, что знал, насколько тяжело было моей жене, при ее положении, без средств, еще ухаживать за больной Волховской.

Перед от'ездом я условился с товарищами, что вернусь через короткое время, как только мне позволят семейные дела. И сам я был твердо уверен, что мне скоро удастся справиться со всеми трудностями и вернуться в Петербург. Но судьба решила иначе.

На этот раз я выехал за-границу через Вильну. Тамошние товарищи устроили мне переезд через границу. В Вержболово, на вокзале, меня должен был встретить еврей-контрабандист. Но выйдя из вагона на платформу, я напрасно озирался по сторонам, розыскивая своего «проводника». Я отправился в вокзал третьего класса. Вдруг пробегает мимо меня какой-то человек и бросает, не останавливаясь:

— За вами следят, идите за мной!

Я не заставил его повторять приглашение.

Пробежав через вокзал, контрабандист спустился на железнодорожные пути. Я за ним. Вижу, мой проводник лезет в какой то вагон. Я, было, поколебался, следовать ли за ним, но он решительно скомандовал:

— Нечего разговаривать! Полезайте!

Вагон был битком набит пассажирами евреями, — мужчинами, женщинами, детьми. Контрабандист указал мне место под лавкой. Но тут уже я запротестовал. Тогда мой проводник сунул меня

в самое переполненное отделение, дал мне какой то паспорт и исчез, приказав, на прощание, сидеть смирно. Взглянул я в паспорт, чтобы знать, под каким же именем, в качестве кого я еду. Но из документа ничего нельзя было понять: видно было, что у меня куча детей, и что я еду в Америку, но оставалось неясно даже, мужчина я или женщина. Может быть, это и было достоинством моего документа!

Во всяком случае, проехал я через границу вполне благополучно.

IX. СНОВА В ЖЕНЕВЕ.

(1876—1878 гг.)

Наше материальное положение. — Ткачев. — Группа «Работника» и женевская секция бакунистского Интернационала. — Папа Беккер. — Столяр Гутсман. — Попытки бакунистов сблизиться с социал-демократами. — Бернский об'единительный конгресс. — Крапоткин. — Драгоманов. — Клеменц. — Кравчинский. — Стефанович, Л. Дейч, и В. Засулич.

В Швейцарии мне пришлось пробыть на этот раз гораздо дольше, чем я рассчитывал: в Россию я смог вернуться лишь в начале 1879 г.

Вскоре после моего приезда в Женеву, у меня родилась дочь. Пришлось думать о средствах к жизни, о заработке. Я решил изучить ремесло наборщика и поступил — сперва в качестве ученика — в наборню «Работника». При сдельной оплате труда, хорошие наборщики зарабатывали здесь до 5 франков в день. Вскоре я научился набирать, но работал я недостаточно быстро, и мне, до конца, так и не удалось заработать за день больше 3 франков. Порой я оставался работать до 10—11 ч. вечера. Но почти всегда выходило так, что полоса,

за которую я мечтал получить 4-й франк, в последний момент рассыпалась у меня в руках.

Набирать мне пришлось, как помнится, сочинения Флеровского, Драгоманова, а позже разные частные заказы, не имевшие никакого отношения к революции.

Материальное наше положение было очень тяжелое. Временами мы рады были и тому, что можно было купить молока для ребенка. Одно время главной нашей пищей (кроме хлеба) были улитки — мы их собирали с кустов на женевских улицах, отмачивали в уксусе, и находили, что это блюдо, при нужде, в некоторой степени может заменить мясо.

У Грессо наш долг доходил одно время до суммы, которая казалась нам колоссальной. Бывали порядочные долги и в соседних лавочках. Товарищи говорили даже, полушутя, что по некоторым улицам я избегаю ходить, так как задолжал там всем лавочникам. И это было очень близко к правде.

Впрочем, позже, в 1878 г., наши дела несколько поправились: у меня явился литературный заработок. Точнее говоря, это не был регулярный «заработок», а просто я получил сразу несколько сот рублей в виде гонорара за большую статью об английских трэд-юнионах, которую я послал через Клеменца в петербургский журнал «Слово». Статья должна была идти в трех номерах. Но уже вторая часть статьи навлекла на журнал цензурные кары, и потому конец статьи не был напечатан.

Ради заработка я послал также в «Отечественные Записки» статью по поводу книги Брандеса о Лассале. Но на этот раз, как я узнал позже от Н. Ф.

Аненского, статья оказалась совсем нецензурной и не увидела света.

Материальные лишения не производили, однако, угнетающего действия на меня и на жену; мы их, сравнительно, легко переносили, и на наше настроение, на нашу психику они в отрицательном смысле не влияли.

Русская эмиграция в Женеве в то время делилась на две группы, не только резко обособленные, но и враждебные друг другу:

кружок «якобинцев», группировавшийся вокруг журнала «Набат»,

и кружок бакунистов, органом которых был «Работник».

Во главе «якобинцев» стоял Ткачев, прибывший в Женеву весной 1875 г. Вскоре после своего приезда он посетил меня и затем пригласил меня и еще нескольких эмигрантов на реферат к себе на квартиру. Темы этого реферата я не помню, но центральная идея его, если память меня не обманывает, сводилась к тому, что «прогресс» отнюдь не желателен с точки зрения народного блага и что, наоборот, он ведет к все большему ухудшению положения народных масс, к увеличению неравенства и к усилению гнета этих масс.

Реферат был довольно скучный и, помню, не вызвал особого интереса и живых дебатов. Теперь, мне самому кажется странным, что реферат, в котором развивалась такая идея, не произвел особого впечатления на слушателей. Не об'ясняется ли это тем, что под словом «прогресс» мы все подразумевали «буржуазный прогресс», а этот последний все мы отожествляли с прогрессом нищеты и стра-

даний народа? Вероятно, точка зрения и тенденции референта были настолько общепризнаны в нашей среде, что развивавшиеся им положения казались нам чем-то чуть не само собой подразумевающимся.

Ткачев был, как известно, приверженцем нечаевских методов революционной борьбы. По делу нечаевцев он был приговорен к 1 г. 4 м. тюрьмы, затем был сослан, и с места ссылки бежал заграницу. Здесь он посвятил свое недюжинное литературное дарование теоретическому обоснованию и пропаганде тактических и организационных взглядов Нечаева.

Ниже, говоря о «Набате», я остановлюсь несколько на взглядах Ткачева.

Здесь отмечу лишь, что с группой Ткачева остальная революционная эмиграция почти не поддерживала сношений. Я не помню всех, кто был в этой группе. Одно время Ткачева заменял во главе «Набата» некто Молчанов, оказавшийся впоследствии правительственным агентом: он был разоблачен, изгнан из организации и затем всплыл вновь, как сотрудник суворинского «Нового Времени».

Ткачевцам противостояла группа «Работник», с которой я начал сближаться еще до поездки в Россию. По возвращении же оттуда я довольно скоро совсем сблизился с нею, в особенности с ее наиболее активным членом, Ралли. Ралли познакомил меня с некоторыми «коммунарами», а они, с своей стороны, ввели меня в местный кружок анархистов, состоявший, главным образом, из французских эмигрантов, участников Парижской Коммуны 1871 г.

11*

Кружок этот идейно примыкал к Юрской федерации анархического или бакунистского Интернационала. Среди членов этого кружка были люди со славным прошлым. Особенно выделялся Ле-Франсэ, член социалистического интернационалистского «меньшинства» Коммуны, уже пожилой человек, автор довольно большого труда о Коммуне. Он хорошо говорил и любил рассказывать о том, как на одном народном собрании сорвал значек «почетного легиона» с груди Жюля Симона. Ле-Франсэ был кассиром секции, а в еженедельных собраниях брал на себя и функцию «сборщика податей», не брезгая при этом и частичными взносами следуемой суммы.

В Женеве был и немецкий чисто социал-демократический рабочий союз. Духовным руководителем и вдохновителем этой организации был Филипп Беккер, «папа Беккер», как его называли в Женеве не только немецкие рабочие, но социалисты вообще. Он пользовался всеобщим уважением и любовью, в особенности, конечно, среди немецких рабочих. Вся его долгая безупречная жизнь была отдана революционной борьбе. Уже в 1830 г. он участвовал в революционном движении Германии. В Баденском восстании 1849 г. он играл выдающуюся роль, — командовал вооруженными силами революционного правительства, в рядах которых сражался, между прочим, молодой Фридрих Энгельс. После подавления восстания, Беккер бежал в Швейцарию и поселился в Женеве, гражданином которой он состоял уже с 30-х годов. Здесь некоторое время признавались паспорта, которые Беккер выдавал своим соотечественникам-эмигрантам. Но затем

Наполеон III положил конец консульской деятельности неутомимого революционера. В Женеве Беккер основал журнал «Vorbote» («Провозвестник»), являвшийся фактически органом немецкой секции Интернационала, успехам которого он не мало способствовал. Беккеру же, его неутомимой пропаганде и агитации в 60-х и в начале 70-х годов обязана, в значительной мере, своим возникновением и первоначальным развитием швейцарская социалдемократия.

Упомяну еще, что Беккер сражался под знаменами Гарибальди за освобождение Италии, был близким другом Маркса и Энгельса, поддерживал с ними деятельную переписку и, несмотря на окружавшую его славу, сохранял милую простоту в обращении и обаятельную скромность.

В посвященном Филиппу Беккеру некрологе Энгельс справедливо характеризовал старого бойца: «Это была одна из тех редких личностей, писал он, которым достаточно следовать своему инстинкту, чтобы всегда поступать хорошо».

По годам я мог быть чуть не внуком Беккера. Старик относился ко мне с ласковым добродушием. Между прочим, он учил меня пить вино.

— Вино, — шутливо уверял он меня, — это — дух (Geist),

Как то, на одном рабочем празднике, усердно подливая мне вино, он заставил меня выпить 3½ стакана, но после этого я едва добрался до дому и провел такую скверную ночь, что еще и теперь живо припоминаю ее. После этого урока я уже не следовал питейным советам Беккера.

Из бесед с Беккером и из рассказов о нем некоторых членов женевского союза немецких рабочих, я вынес впечатление, что он был не только человеком революционного действия в тесном смысле слова, но и далеко не заурядным оратором. В мою бытность в Женеве, Беккер уже не выступал в больших народных собраниях, и мне только один раз пришлось присутствовать на открытом собрании, где он произнес небольшую речь, полную огня и революционного темперамента. Быть может, эта именно речь и оставила в моей памяти отчетливое представление о его ораторском таланте.

Собрание, на котором я слышал Беккера, было созвано местным немецким рабочим союзом[1]) для того, чтобы протестовать против жестокого усмирения стачечников в Гешене. Рабочие забастовали здесь, так как не могли больше выносить страшную эксплуатацию, которой они подвергались при постройке С. Готардского туннеля. Власти стали на сторону предпринимателей и, водворяя «порядок» вооруженной силой, убили 6 рабочих и изувечили 12, или около того. Это вызвало большое возмущение и протесты социалистических рабочих во многих городах Швейцарии, в том числе и немецких рабочих в Женеве. Председатель собрания, созванного здесь для протеста, молодой рабочий Гутсман, в заключение своей речи выразил надежду или уверенность (точно не помню), что в конце концов все-таки восторжествует «правда и справедливость». Вот эти утешительные слова, повидимому, и побудили старика Беккера попросить слова.

Я, конечно, не могу, хотя бы приблизительно,

[1]) В 1876 г., кажется, весной.

воспроизвести теперь его речь. Помню только, что она была проникнута гневным возмущением против виновников катастрофы в Гешене и произнесена была с таким темпераментом, что мне и моей жене казалось: призови Беккер слушателей сейчас же выйти на улицу для вооруженной демонстрации — все, и мы в том числе, ни минуты не колеблясь, пошли бы за ним. Не помню, в начале или в заключение своей речи, он обрушился на предыдущего оратора за его аппеляцию к «правде и справедливости». «Несчастные, голодные, измученные рабочие», говорил он, «просили хлеба, а им ответили пулями». После этого возлагать надежды на какую то, неизвестно где, будто бы существующую правду и справедливость, значит — убаюкивать себя и других иллюзиями, питать в рабочих веру в чудеса, в то время, как нет у них другого пути к освобождению, как противопоставить материальной силе буржуазии свою силу, силу сплоченного пролетариата. Слова «правда и справедливость» в классовую армию останутся пустым звуком, способным только обманывать рабочих, усыплять их, отуманивать их головы до тех пор, пока рабочий класс не приобретет силу, достаточную для того, чтобы повести борьбу не на жизнь, а на смерть с врагами правды и справедливости, и не достигнет той сознательности и организованности, при которых он сумеет водворить реальную правду и справедливость в человечестве».

Повторяю: мое резюме речи Беккера дает лишь весьма бледное представление о ее содержании и о темпераменте, силе и энергии, с которыми он произнес ее.

Ф. Беккер был бесконечно близок рабочим и в большом и в малом. Припоминается мне один маленький случай, о котором он сам мне рассказывал.

Однажды старик Беккер зашел в странствующий зверинец. Остановился у клетки с медведем, вдруг слышит, — кто то осторожным шопотом окликает его: «Папа Беккер! Папа Беккер»! Оглянулся — по близости ни живой души, кроме медведя, поднявшегося на задние лапы у решетки клетки. С изумлением слышит снова: «Папа Беккер!» Не могло быть сомнений — голос шел из клетки!

Наконец, убедившись, что по близости нет посторонних, медведь сказал ему человеческим голосом: «Папа Беккер, я безработный. Вот, пришлось в медведи наняться»!

Бедняга чувствовал потребность посвятить старика Беккера в свои дела...

Беккер познакомил меня с председателем местного союза немецких рабочих, столяром Гутсманом, на которого он так напал за его веру в чудотворную силу правды и справедливости. Это был очень интеллигентный рабочий, немного старше меня, с тонкими чертами и милым выражением лица. Я довольно близко сошелся с ним, и он иногда делился со мной своими интимными мыслями и чувствами. Он испытывал тяжелые переживания вследствие неудовлетворенной потребности в облагороженной любви к женщине, — или точнее, вследствие сознания, что в окружающей его социальной среде нет таких женщин, которые, по своему интеллектуальному развитию и душевному складу, способны были бы быть настоящими интимными

товарищами и подругами жизни для политически активных и идейных рабочих-социалистов. А о том, чтобы русская социалистка из интеллигенции полюбила его, столяра, и связала бы с ним свою судьбу, он едва ли серьезно решался мечтать.

Беседы наши с Гутсманом вращались большей частью вокруг принципиальных и тактических разногласий между анархистами и социал-демократами. Оставаясь правоверным бакунистом, несмотря на мои симпатии к германскому рабочему движению, я, конечно, старался заразить бакунизмом моего собеседника. Отчасти мои старания оказались не совсем бесплодными, по крайней мере, в том смысле, что поколебали абсолютно отрицательное отношение Гутсмана к анархизму и внесли некоторую путаницу в его голову и элемент эклектики в его образ мыслей.

Впоследствии, — кажется, Гутсмана тогда уже не было в Женеве, — я, в своем анархическом рвении, решился прочитать в немецком рабочем союзе реферат об участии социалистов в парламентских выборах. Я был, конечно, против такого участия. Как справился я с своей задачей при моем слабом знании языка, — это и теперь еще для меня загадка. Однако, мой реферат вызвал, повидимому, некоторое смущение среди слушателей; думаю так потому, что едва я его окончил, как явился старик Беккер, за которым, очевидно, было послано во время моей речи. Не помню, выступал ли он сам с возражениями против меня, или это сделал кто-нибудь другой; только отчетливо помню, как ветеран интернационального революционного движения и один из знаменоносцев первого пролетарского Интернацио-

нала отечески пожурил меня: «Чего вы хотите от этих людей? Зачем вы им головы кружите?» — сказал он мне. Этими словами, кажется, и ограничилось с его стороны выражение не то неудовольствия, не то огорчения по поводу моей попытки пропагандировать анархические учения в немецком рабочем союзе.

Однажды я присутствовал с Беккером на празднике этого союза. Все шло по обычной программе: рабочий хор, упражнения членов рабочего гимнастического кружка, вино и пиво. Я сидел за столом с Филиппом Беккером. Мы смотрели на праздничную толпу, и я сказал старику:

— Папа Беккер, ведь это в крошечном виде — прообраз жизни в будущем социалистическом обществе!

Беккер качал головой в знак согласия, повторяя:

— Да! да! Конечно!

Я должен отметить, что мои товарищи из группы «Работника» не разделяли моего интереса и моих симпатий к немецкому рабочему движению. Скорее, они, как истинные анархисты, относились к этому движению свысока. Мне запомнился, например, отзыв о германском пролетариате Н. И. Жуковского, видного члена нашей группы.

Он читал в небольшом русском собрании реферат о рабочем движении во Франции начала 60-х годов и старался изобразить его в очень ярком свете. Картина, однако, вышла у него отнюдь не внушительной. Закончил же Жуковский свой реферат вопросом: «А что делали в это время немцы?» И он ответил на этот вопрос: «Они пиво пили и колбасой закусывали». Ветеран русской эмиграции в Швей-

царии как бы проспал такие события, как агитация Лассаля, вызвавшее эту агитацию самостоятельное выступление наиболее передовых германских рабочих, громкое эхо, раздавшееся в пролетарских массах в ответ на призыв Лассаля, и буря негодования, разразившаяся в рядах либеральной буржуазии против него, как политического организатора и вождя германского пролетариата.

Но в то время, как русские анархисты с таким полным пренебрежением или презрением продолжали относиться к социал-демократии, в Юрской федерации или, точнее, в самом интернациональном центре анархистов зародилось стремление к сближению с ней.

Толчок этому дали похороны Бакунина, скончавшегося 29 июля 1876 г. в Берне. На похоронах говорил, между прочим, и делегат от местных немецких социал-демократов; он заявил, что хотя они и не разделяют взглядов Бакунина, «они сочли, однако, своим долгом выразить свою печаль о потере человека, который так много сделал для революции». Были также на похоронах представители еще нескольких наций. И вот они в тот же день, как похоронили Бакунина, собрались и решили обратиться к рабочим всех стран с «резолюцией», предлагавшей им «забыть прежние печальные раздоры и теснее сплотиться» на основе полной автономии федераций и секций Интернационала.

Осуществить или попытаться осуществить эту резолюцию мог только интернациональный конгресс. И так как бюро Юрской федерации со времени Брюссельского международного конгресса бакунистов (в 1873 г.) являлось их оффициальным между-

народным центром, то оно, естественно, и должно было взять на себя подготовку и созыв международного с'езда с указанной целью. И оно, действительно, полтора месяца после смерти Бакунина, именно 15 сентября, разослало всем секциям циркуляр с приглашением на конгресс, который должен был собраться 24 октября в Берне. Приглашались участвовать в этом конгрессе и социал-демократические партии и группы.

За несколько недель до рассылки этого циркуляра, в первых числах августа, состоялся местный конгресс Юрской федерации, отправивший адрес с «братским приветом конгрессу немецких социалистов в Готе (он состоялся недели две позже). «Вы, наши немецкие братья, — говорилось в этом адресе — подали нам великий пример: социалисты Общегерманского Рабочего Союза и социалисты Эйзенахской партии, отрекшись от прошлых неприязненных отношений между собой, подали друг другу руку примирения. Дело примирения, таким образом, установленное вами, может и должно продолжаться повсюду. Необходимость этого общего примирения живо чувствуется в тех группах, которые мы представляем, и социалисты разных национальностей, призывавшие 3 июня 1876 г. в Берне на могиле Михаила Бакунина к забвению напрасных и достойных сожаления разногласий прошлого, выразили этим наши самые дорогие желания. Да, мы убеждены, что различные фракции социалистической партии, сохраняя свои программы и свою специальную организацию, могут вполне установить между собою дружеское соглашение... Мы вполне уверены, товарищи, что вы примете

наше послание с теми же чувствами искреннего братства, которое руководило нами при составлении его. Примите вместе с тем наши искренние пожелания успеха вашим работам на конгрессе»[1]).

Но германская социал-демократия, в лице своих вождей, отнюдь не была убеждена в том, что между нею и бакунинскими организациями возможно дружеское соглашение, а тем паче братское единение, при сохранении бакунистами программы и специальной организации. Руководители германской социал-демократии с такими сознательными марксистами во главе, как Либкнехт, Бебель, Браке, прекрасно понимали, что об'единительные стремления Юрской федерации сведутся на практике к бесплодной попытке соединить несоединимое. Они имели основание даже опасаться, что участие социал-демократических партий в этой попытке может привести только к поднятию престижа анархического Интернационала и к внесению путаницы в умы некоторых социал-демократов.

Германская социал-демократия была уже тогда самой сильной политической партией рабочего класса во всем мире. Но и вне пределов Германии — в Дании, немецкой Швейцарии, Голландии, даже в Бельгии — социал-демократия приобретала все более и более прочную и широкую почву в пролетариате, между тем как бакунистские организации были очень слабы. Сознание или ощущение руководителями Юрской федерации внутренней слабости, немощи анархического интернационала и было, повидимому, психологическим источником

[1]) Цитирую по двухнедельному обозрению «Вперед», 1876 г., № 40: «Из Швейцарской Юры».

их об'единительных стремлений. Недаром конгресс федерации в своем приветственном адресе к германской социал-демократии заявлял: «Необходимость этого общего примирения живо чувствуется в тех группах, которые мы представляем». Этим группам нечего или почти нечего было терять от организуемого их центром об'единительного международного с'езда, наоборот, они могли рассчитывать, что много выиграют от него. Социал-демократия же, особенно немецкая, не испытывала потребности найти для себя опору во вне, в сближении с бакунистскими организациями; ее внутренние силы и жизнеспособность росли, так сказать, с каждым днем и все более и более проявлялись наружу, а «дружеское соглашение» с анархистами, как таковыми, могло только повредить ей.

Но как можно было ответить безоговорочным отказом прислать делегата на конгресс после таких выражений братских чувств и т. д., какими изобиловало послание Юрской федерации? И вот, в своем циркуляре о сроке созыва конгресса, федеральное бюро бакунистов радостно извещает: «Мы счастливы, товарищи, что можем сообщить, что в нашем конгрессе примут участие социалисты из Германии». В действительности же, «участие» это было менее чем платоническое. Но об этом ниже.

Не знаю, под влиянием ли германской социалистической прессы, или же независимо от нее, совершенно самостоятельно, женевский немецкий рабочий союз также отрицательно отнесся к об'единительной затее Юрской федерации и решил не посылать делегата в Берн на организуемый ею конгресс. Но, повидимому, и женевские анархисты, со своей

стороны, очень скептически относились к надеждам, возлагавшимся на этот конгресс его организаторами. Я не безусловно уверен в этом, но такое впечатление оживает в моей памяти теперь, когда я стараюсь об'яснить себе, почему я, горячо сочувствуя предстоявшему конгрессу и его специальной цели, предложил, с одной стороны, Ралли и Жуковскому, а с другой — Гутсману, независимо от местного кружка анархистов и немецкого рабочего союза, выпустить совместно воззвание в пользу дружеского соглашения обеих социалистических фракций.

Я написал это воззвание (или «письмо» — не помню) и развивал в нем ту мысль, что тактика германской социал-демократии в такой же мере, как и тактика анархистов, диктуется революционными целями, желанием подрывать основы существующего общественного строя и сплачивать рабочие массы в самостоятельную революционную силу для борьбы за полное освобождение. «Избирательная агитация, парламентская деятельность, агитация в пользу петиций в парламент — все это для социал-демократии формы протеста и средства борьбы против буржуазии и ее государства. Различие в формах и методах революционной борьбы и организации революционных сил у анархистов и у социал-демократов зависит от разницы в условиях, в которых тем и другим приходится действовать».

Таковы были, в немногих словах, те соображения, которыми я обосновывал предложение, сделанное Юрской федерацией анархистам и социал-демократам «установить между собою дружеское соглашение» на основе программной, организацион-

ной и тактической автономии федераций и секций, входящих в состав (Интернациональной) Ассоциации. Теперь даже странно было бы доказывать всю несостоятельность этого «обоснования». Но в то время оно казалось настолько серьезным и убедительным, что составленное мною воззвание не только принято было названными мною товарищами в Женеве, но и произвело, как мне потом передавали, впечатление на таких людей, как Гилльом, который был главой Юрской федерации и всего анархического Интернационала.

Гутсман, член немецкого рабочего союза, с одной стороны, Жуковский, Ралли и я — с другой, составили группу, от имени которой воззвание было (или должно было быть) распространено, и которая должна была послать делегата на конгресс. Были делегированы Гутсман и я[1]). Жуковский имел мандат от «женевской секции пропаганды». На конгрессе я познакомился с Гилльомом, которому очень понравилось наше обращение или письмо (не помню даже, адресовано ли оно было конгрессу), и который просил меня выступить в открытом народном собрании против Грейлиха. Но я тогда еще гораздо хуже говорил по немецки, чем позже, когда я решился прочитать реферат в женевском союзе немецких рабочих. Да у меня тогда и храбрости не хватило бы выступать в большом собрании.

Конгресс даже в минимальной степени не оправдал надежд Юрской федерации. Всего делегатов с правом решающего голоса на нем было 26, и из

[1]) В виду импровизированного характера нашей группы, не являвшейся организованной секцией, мы не могли участвовать в конгрессе, как полноправные делегаты.

них 18 были от Юрской федерации, то есть от одного только угла Швейцарии, где находилось интернациональное бюро бакунистских групп. Из этих 18 делегатов, один, П. Брусс, фигурировал и в роли представителя Франции, откуда у него едва ли, вообще, был настоящий мандат, а если он и получил его, то от двух-трех товарищей. Принимая еще во внимание, что участников с совещательным только голосом было всего 6 человек и, за исключением одного, — опять таки все исключительно из Швейцарии (из Женевы и Цюриха), нельзя не констатировать, что численно конгресс был очень жалким.

Отмечу еще, что единственным иностранцем среди шести делегатов с совещательным голосом, был Вальтейх, делегированный германской социал-демократической партией. Но Вальтейх почел нужным подчеркнуть в своей речи, что он не является официальным представителем своей партии. Фактически, Бернский конгресс 1876 г. ни по своему составу, ни по программным и тактическим взглядам, господствовавшим на нем, не был «генеральным» и ни в малейшей степени не мог привести к «дружескому соглашению» и мирному сожительству анархистов и социал-демократов в одной и той же интернациональной организации. У меня нет под рукой документальных материалов, на основании которых я мог бы здесь воспроизвести наиболее характерные отчеты и речи, в которых наиболее ярко выразился царивший на конгрессе дух и обнаружилась особенно рельефно бездонная пропасть между этим духом и воззрениями социал-демократии. Но, чтобы дать хоть некоторое пред-

ставление о характере и тенденциях конгресса, я приведу здесь несколько кратких фактических указаний, которые заимствую из двухнедельного обозрения «Вперед», издававшегося под редакцией П. Л. Лаврова.

Делегат Юрской федерации и глава интер национального центра бакунистов, Гилльом, заявил, что распространенное мнение относительно различия в образе мыслей деятелей Юрской федерации с взглядами, господствующими в Бельгии и немецком Швейцарском рабочем союзе, совершенно неосновательно. Только под влиянием местных обстоятельств «Юрская федерация не считает возможным допустить в программу социалистов-революционеров французской Швейцарии ... прямое участие народа в законодательстве, отделение церкви от государства, фабричное законодательство и т. д.»

В чем же, однако, состоят особенности этих местных обстоятельств? Главным образом, в том, что указанные требования «находятся в программе радикальной буржуазной демократии». И вот, стремясь к «отделению рабочих от радикальной партии», юрские социалисты стараются организовать силы «на экономической почве и идут проповедывать свои взгляды не в кантональных советах ..., а в публичных народных собраниях».

Гилльом, как инициатор — и при том один из главных организаторов — конгресса с об'единительной целью, старался, по возможности, если не затушевать, то сгладить, смягчить разногласия и потому подчеркивал, что «Юрская федерация следует той же тактике и так же признает полезной борьбу с буржуазными партиями по второсте-

пенным вопросам[1]), как социал-демократы». Итальянские же и испанские делегаты чувствовали себя свободнее в выражении своих взглядов. Так Малатеста заявил, что, по убеждению итальянской делегации, освобождение пролетариата может совершиться только бунтарским путем, а не путем политической деятельности. «Бунт, говорил он должен быть не только целью организации, но и средством пропаганды». А в докладе испанского делегата было выражено удовольствие по поводу того, что рабочие начинают устраняться от стачек, отрицательно относиться к потребительным и производительным обществам «и становятся на революционную почву».

В прямую противоположность только что цитированным заявлениям, представитель приглашенного на с'езд швейцарского рабочего союза (немецкого) Грейлих специально подчеркивал, что этот союз не разделяет того взгляда, по которому «все буржуазные законы направлены против рабочих; уменьшение рабочего времени на один час сделало бы для революции больше, чем многие революционные речи». А ведь в немецкой Швейцарии «местные обстоятельства» существенно не отличались от тех, в которых действовала Юрская федерация. В районе деятельности швейцарского (немецкого) рабочего союза и швейцарской социал-демократии также имелась на лицо «радикальная буржуазная партия», и в ее программе стояли те же требования, которые, к огорчению юрцев, находились в программе их местной радикальной партии.

---

[1]) Курсив мой.

12*

Особенный интерес представлял отчет бельгийской федерации, оффициально принадлежавшей к бакунистскому Интернационалу и действовавшей, хотя и в стране далеко не с таким демократическим строем, как Швейцария, но все же в политических условиях и тогда уже не очень существенно отличавшихся от тех, в которых действовала Юрская федерация, и которыми Гилльом мотивировал ее анархическую тактику.

В Бельгии, сообщил делегат ее национальной федерации де-Пеп, Интернационал находится «в периоде преобразования». Из восьми местных федераций, составлявших несколько лет тому назад бельгийскую ветвь Интернационала, некоторые вовсе прекратили существование, в других число секций стало совершенно ничтожно, но это только в валонских провинциях. Во фламандских же провинциях число секций увеличивается, и пропаганда их прогрессивно растет. Под влиянием фламандского элемента, вступившей в секцию молодежи и знакомства с немецкой социалистической литературой, отрицательное отношение к политической борьбе и прудоновские идеи потеряли свое господство в бельгийской федерации. Она признает необходимость образования «политической партии для борьбы против законов, особенно тягостных для рабочего класса».

Точно также и в Голландии, по словам де-Пепа, представлявшего также и ее рабочие секции, социалисты тогда уже отнюдь не разделяли взглядов бакунистского Интернационала. Бельгийская федерация, один из главных оплотов интернационального анархизма, стояла уже ко времени Бернского

конгресса — если не обеими ногами, то одной ногой — на почве социал-демократии. Там же, где рабочее движение недавно только зародилось или начало зарождаться, как в Голландии и Дании, оно чуть ли не с самого начала становилось на эту почву.

Все это являлось наглядным опровержением необходимости полной автономии национальных и даже провинциальных местных ветвей рабочего движения в программе и методах их деятельности и иллюстрировало теоретическую несостоятельность и утопичность проекта интернационального об'единения социалистических групп и партий на основе такой «автономии».

Считаю нелишним отметить, что мой Гутсман выступил в открытом рабочем собрании против Грейлиха с речью, которая, хотя в общем и целом не была антисоциал-демократической — скорее наоборот, — все же содержала в себе несколько капель анархического дегтя. Я не помню ее содержания, но сохранившееся в моей памяти впечатление таково, что его критика тактики швейцарского рабочего союза, от имени которого говорил Грейлих, носила следы влияния бакунистских тенденций. Тогда это мне было, конечно, очень приятно, тем более, что я не мог не сознавать, что в данном случае, как и в согласии Гутсмана взять мандат на конгресс от группы анархистов, принявшей составленное мною воззвание, сказалось влияние моих бесед с ним. В настоящее же время воспоминание об этом результате наших бесед меня, конечно, совсем не радует.

Конгресс окончился банкетом, на котором присутствовал и Вальтейх, который произнес даже не-

большую речь. Но он являлся там как бы пришельцем из чужого, враждебного лагеря, пришельцем, которого только из вежливости терпели, и который сам только из вежливости оставался среди противников. Присутствовал и де-Пеп, тоже внутренне уже совсем чуждый остальным делегатам, но благодаря его прошлому и сохранявшейся еще официальной связи бельгийской федерации с бакунистским Интернационалом, его отчужденность меньше чувствовалась или не так бросалась в глаза.

Реальным результатом конгресса было не «дружеское соглашение», а новое обострение вражды между анархистами и социал-демократами, особенно в Швейцарии. Уже раньше конгресса Брусс начал издавать в Берне на немецком языке анархический орган «Рабочая Газета» («Arbeiterzeitung»). Я впервые увидел эту газету и познакомился с нею через некоторое время после конгресса. В это время она — так же, как орган Юрской федерации «Bulletin» — вела уже ожесточенную борьбу с социал-демократами.

Враждебное настроение анархистов по отношению к социал-демократии, еще усилившееся, как я уже сказал, после Бернского конгресса, всецело разделялось, конечно, и русской эмиграцией, идейно примыкавшей к анархическому Интернационалу. Это настроение достаточно ясно отразилось в «социально-революционном обозрении» «Община», о котором речь будет в следующей главе. Здесь же отмечу только, что одним из главных вождей анархического Интернационала в его борьбе с «государственниками» вообще и социал-демократами в особенности стал, прибывший вскоре после

Бернского конгресса в Женеву, П. А. Крапоткин, бежавший из царской тюрьмы.

П. Крапоткин приехал в Женеву, уже окруженный двойным ореолом — выдающегося ученого и крупного революционного деятеля. Позади у него была революционная работа в рядах «чайковцев», научные труды, Петропавловская крепость, побег из тюремной больницы (превосходно описанный, со слов самого Крапоткина, Степняком).

Выше среднего роста, плотный, с широкой окладистой бородой, П. Крапоткин казался, среди эмигрантской молодежи, солидным, уже пожилым человеком. Поразительна была его простота в обращении. В нем чувствовалась большая доброта, любовное, мягкое отношение к людям. Но мягкость в житейском обиходе не мешала ему быть крайне резким в споре. Никто, однако, не обижался на его резкости. Очень быстро Крапоткин завоевал в Женеве общую любовь.

В русской эмиграции он занял вполне определенное положение, как крайний, наиболее последовательный, сектантски-правоверный анархист.

Не знаю, был ли он знаком в то время с теорией Маркса, но, во всяком случае, его суждения об этой теории производили такое впечатление, будто он черпает свои сведения о ней исключительно из тенденциозных, буржуазных источников. Характерно, что даже отзывы Бакунина о великом историческом значении научных трудов Маркса не побудили Крапоткина серьезно ознакомиться с этими трудами и вдуматься в них.

На развитие революционной мысли в эмигрантской среде Крапоткин не оказал влияния: вскоре

после приезда за-границу, он ушел целиком в интернациональное движение, и проблемы революционной борьбы в России как бы отошли для него на задний план. Превосходно владея европейскими языками, он сразу окунулся в западно-европейское движение, — работал в Юрской федерации, читал лекции и рефераты перед французской аудиторией, писал во французских анархических журналах. После изгнания из Швейцарии и по окончании срока тюремного заключения во Франции, он переселился в Англию.

Около того же времени, как Крапоткин — кажется, несколько раньше его — появился в Женеве М. П. Драгоманов. Он также был противником социал-демократии, выступая против нее под флагом федерализма, но не революционно-социалистического, а национального.

Подобно тому, как Крапоткин представлял собой крайний левый фланг женевской эмиграции, крайний правый фланг ее был представлен Драгомановым, который тоже пользовался среди нас большим уважением, несмотря на свое расхождение с господствовавшими в нашей среде взглядами.

Это был человек с большими знаниями, несомненно талантливый, глубоко преданный своей идее. В России, в Киеве, он занимал профессорскую кафедру, имел довольно видное, независимое положение в обществе, но бросил все и добровольно стал эмигрантом, чтоб отдаться всецело пропаганде против правительства и организовать нелегальную украинофильскую партию.

Драгоманов считал себя социалистом. Его противники, напротив того, социалистом его не признавали. Без всякой полемики я сказал бы, что это был честный и последовательный л и б е р а л - д е м о к р а т с с и м п а т и я м и к с о ц и а л и з м у.

Эта особенность его мировоззрения давала ему возможность поддерживать личные отношения с группами, которые стояли очень далеко одна от другой: с одной стороны — с такими либералами, как Пыпин, Стасюлевич, с другой стороны — с нами.

Первой основной задачей для всех революционных и оппозиционных партий в России Драгоманов считал завоевание конституции. При этом, совершенно исключительное значение он придавал тому, чтобы в будущей конституции России были обеспечены права национальных меньшинств в форме национальной автономии. Особенно остро он ставил вопрос об автономии Украины. Пропаганде этого вопроса должен был, главным образом, служить основанный Драгомановым журнал на украинском языке «Громада».

Мы, бакунисты, не интересовались украинофильскими тенденциями Драгоманова. Помню, я как то спорил с ним, доказывая, что не стоит тратить силы на создание украинского языка, так как украинцы понимают русский язык, на котором писали лучшие украинские писатели с Гоголем во главе. Но идея автономии, которая играла во взглядах Драгоманова столь крупную роль, сближала его до некоторой степени с нами: от нее, казалось нам, легко было перейти к анархическому идеалу.

Кажется, один лишь Крапоткин не поддерживал личных отношений с Драгомановым. Остальные же женевские бакунисты в то время, о котором я теперь говорю, часто бывали у него и, повидимому, эти частые встречи имели некоторое влияние и на Драгоманова, и на нас.

Хотя Крапоткин принадлежал к тому же идейному лагерю, что и группа «Работник» и примыкавшие к ней русские эмигранты, и являлся даже одним из наиболее авторитетных лидеров этого лагеря, он все же оставался как бы на периферии русской социалистической эмиграции, центральное ядро которой скоро, в 78 г., увеличилось прибытием в Женеву нескольких видных революционеров. Первым появился Димитрий Клеменц, принявший потом очень активное участие в издании «Общины», — он был одним из редакторов этого журнала. Клеменц вернулся из Герцеговины весьма разочарованным в революционности и социалистичности «славянских братьев». Но это отнюдь не повлияло на него в смысле ослабления его «воли» к революционному действию вообще. Вскоре после того, как вышел в свет № 1 «Общины», он отправился — нелегальным, конечно — в Россию, где работал в духе нашего издания и откуда посылал нам корреспонденции и разные документы. Не долго он, однако, прожил на «свободе». Он был арестован и, за неимением — по счастливой случайности — достаточных улик против него, был административно сослан в Сибирь.

Вскоре после от'езда Клеменца в Россию, как бы на смену ему, в начале 1878 г. прибыл к нам из Италии его интимнейший друг, Сергей Крав-

чинский (Степняк). Из Герцеговины он поехал в Италию и здесь принял участие в Беневентской авантюре: предпринятая здесь горстью бакунистов-заговорщиков попытка поднять восстание представляла собою практическое применение «пропаганды действием», то есть пропаганды при помощи бунтов. Эта попытка окончилась тем, что участников ее переловили и затем осудили их на тюремное заключение. Впрочем, им, насколько мне известно, и года не пришлось сидеть, — не помню, по какому поводу, они были амнистированы. Сергей, после восьмимесячного заключения, вернулся в Женеву пешком, за недостатком денег на проезд. Он сейчас же засел за работу для «Общины»[1]). Самые лучшие в литературном отношении статьи в «Общине» принадлежали ему. Он был художественной натурой и мыслил, как мне кажется, больше образами, чем общими рассуждениями. Его статьи по поводу процесса 193 и дела Веры Засулич производили огромное впечатление на революционно настроенных читателей не только из молодежи и доставляли нам большое нравственное удовлетворение. Но когда Кравчинский пытался теоретизировать, это ему плохо удавалось.

Припоминаю его попытку теоретически обосновать преимущество бунтарской тактики над пропагандой. Он предпринял эту попытку, как введение в статью о беневентском путче. В основу своей аргументации он положил мысль, что коллективные стихийные движения масс бесконечно быстрее дви-

---

[1]) Само собой разумеется, что на гонорар он так же мало мог рассчитывать, как и остальные сотрудники и редакторы, — гонораров у нас никаких не полагалось.

гают общественное развитие, чем сознательные индивидуальные акты. При этом, он иллюстрировал свою мысль такого рода примерами, как образование языка путем бессознательного коллективного творчества, раньше, чем наука открыла законы его развития. Кравчинский вообще писал медленно, переправлял и тщательно обрабатывал свои статьи, а на ту статью, о которой я говорю, он потратил около 3-х недель, если не больше. Зная, что обыкновенно его статьи очень мне нравились[1]), он мне первому прочел статью, в которой развивал свою «теорию» бунтарской тактики. Каково же было его удивление, когда вместо ожидаемых похвал, он услышал от меня критический отзыв и увидел на моем лице выражение недоумения и даже огорчения!

Критика моя относилась не к практической тенденции статьи Кравчинского, а к его своеобразной аргументации. Но моя критика была для него недостаточно авторитетна. Продолжал упорствовать он и тогда, когда другие члены редакции присоединились ко мне. Упорствовал он не из мелочного литературного самолюбия, не из тщеславия, — этой болезнью наша компания вообще не страдала, а всеми нами любимый Сергей и подавно не страдал ею. Но он так много поработал над изложением своего взгляда, так сжился со своей любимой идеей или «теорией», что вполне естественно было его упорное желание видеть свою статью в печати. Так как спор шел не о про-

[1]) Одно время мы жили вместе; Кравчинский писал некоторые статьи по ночам и всякий раз, когда я просыпался, он читал мне то, что успел написать.

граммном или тактическом, а, так сказать, о сверхпартийном, нейтральном теоретическом вопросе, то я предложил передать этот спор на решение Драгоманову. Сергей, ни минуты не задумываясь, принял мое предложение и понес свою статью к Драгоманову. А на следующий день он явился ко мне и сказал: «Драгоманов убил меня одним словом: ведь и кристалл образовался, не зная законов своего образования и не подозревая, что есть такая наука, которая занималась и занимается изучением этих законов».

Образное сравнение, в силу свойства его ума, сразу подействовало на Сергея Кравчинского и показало ему всю искусственность и несостоятельность сочиненной им теории. И пришлось ему, бедняге, примириться с тем, чтобы написать и напечатать статью о Беневенто очень хорошую (с бунтарской точки зрения), но уже без особой «философии».

Летом 1878 г. в Женеву приехали Дейч и Стефанович, а вслед за ними и В. И. Засулич.

Стефановича я уже знал в Киеве, как человека, бесповоротно решившегося посвятить себя всецело делу революции. Он тогда недавно еще окончил гимназию, был введен мною и Лурье в кружок чайковцев, о котором я уже говорил, и начал учиться сапожному ремеслу. Но наш кружок был тогда почти накануне своего разложения или распада, и самый младший наш член, Я. Стефанович, очень скоро фактически ушел из него и сблизился, с, так сказать, официальными, чистокровными бакунистами, в особенности с Катей Брешковской.

Позже Стефанович оказался недюжинной личностью. Это был человек действия и выдающийся для того времени организатор. Он хорошо разбирался в практических делах, но вместе с тем обнаруживал поражавший меня недостаток живого интереса к программным и теоретическим вопросам.

С Дейчем также я встретился впервые еще в Киеве, даже раньше, чем со Стефановичем, именно в 1872 г. Он был тогда гимназистом 6-го или 7-го класса. Меня поразило тогда, что несмотря на свою юность, говорил он обо всем как то не по летам трезвенно и казался «юным старичком». Но эта трезвенность, преувеличенная «реалистичность» была не в натуре Дейча, — это был лишь временный налет, результат случайных внешних влияний.

Не помню, точно от кого именно, от сестер Каминер или от С. Лурье, я слышал, что его друг, кажется, студент - первокурсник Шрейдер, находится под влиянием одного или двух окончивших университет медиков или юристов, старавшихся или мечтавших устроить свою жизнь по образцу героев романа Чернышевского «Что делать ?», Кирсанова и Лопухова. Задача жизни, повидимому сводилась у них к тому, чтобы оставаться порядочными людьми, зарабатывать средства существования честным трудом и держаться по отношению к высшим и власть имущим с достоинством, как ни от кого независимые люди. Подражание названным героям Чернышевского сбивалось у этого рода милых поклонников его в более или менее плоскую вульгаризацию, окрашивалось некоторым самодовольством и невыносимым политическим «благоразумием», а нередко просто индифферентизмом.

Вот и показную искусственную трезвенность, мнимый «реализм» юного Дейча я об'яснил себе, если не прямым, то косвенным влиянием «авторитетных» знакомых или приятелей его друга. Но года 3 или около того спустя, я узнал, что этот «юный старичек» бежал с военной гауптвахты. Очевидно, его боевая, предрасположенная к революционному идеализму натура не могла долго оставаться во власти совершенно не свойственных ей настроений. Вскоре после побега Дейча с гауптвахты, до меня заграницу дошли сообщения о дальнейших его революционных актах, свидетельствовавших о том, что он «сжег за собою все корабли» и бесповоротно ушел в революционное движение. Как в покушении на убийство предателя Гориновича, так и в участии, вместе со Стефановичем, в Чигиринском деле, он проявил много смелости и предприимчивости.

Когда Дейч приехал в Женеву, я едва узнал его: так он возмужал и развился за эти несколько лет!

О Вере Ивановне Засулич много говорить я не буду. Кравчинский дал яркую характеристику ее в своей «Подпольной России». А по поводу оправдания ее судом присяжных, он в № 3—4 «Общины», в статье, посвященной оценке героического подвига В. И. Засулич и исторического значения факта ее оправдания, в следующих строках выразил то впечатление, которое производила ее личность не только на революционную среду, но и на всех честных, свободолюбивых и народолюбивых людей: «Это была, писал он, одна из тех истинно великих душ, которые в скромности своей и простоте сами не подозревают того, что таится в них. Ге-

роизм в них естественен, натурален; он не требует никаких усилий, поэтому то он и является у них окруженным такой дивной простотой».

В той же статье Кравчинский дал яркое выражение чувства благоговения, безграничной симпатии, любви, с которыми, мы, эмигранты, ждали В. И. в Женеве. И эти строки я считаю уместным привести здесь: «Мы, русские социалисты, мы, за которых и для которых она понесла на жертву свою молодую жизнь, мы обратились к тем немногим из наших друзей, которые знавали ее, и сказали им: ... «Расскажите (нам), какое у нее лицо, какой голос, какие глаза; ... расскажите все, что только знаете ... Как святыню, в самой глубине нашего сердца, будем хранить ее дивный образ».

От себя отмечу здесь еще некоторые черты В. Засулич — дар наблюдательности по отношению к людям, умение подметить характерные черты каждого, остроумие в беседе. Позже В. И. обнаружила также литературный талант, который, как мне кажется, не получил полного развития.

Плеханов, шутя, говорил, что такую дружбу, какая была между Стефановичем и Дейчем, он «и в книгах не встречал»... Отношение Стефановича к Дейчу напоминало привязанность глубоко любящего, до крайности заботливого старшего брата, чтобы не сказать отца. Но к этому нужно прибавить, что не менее интимная дружба связывала их обоих с Засулич. Их взаимная глубокая, благородная привязанность представляла собою нечто исключительное.

Скажу еще, что Стефанович, благодаря своему солидному виду и своему отношению к Дейчу, как старшего опытного человека к юному, нуждающемуся в его заботах и руководстве, брату, невольно мешал проявлению наружу индивидуальности и инициативности Дейча.

После от'езда Стефановича в Россию (осенью 1881 г.) организаторская инициативность и активность Дейча проявились особенно рельефно при образовании группы «Освобождения Труда»: именно Дейч обезпечил ей в первое время материальную возможность существования.

X. ГЛАВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЖЕНЕВСКОЙ ЭМИГРАЦИИ. „НАБАТ“ И „ОБЩИНА“

(1878 г.)

«Набат». — Теория заговора и захвата власти. — Ткачевизм и большевизм. — «Община». — Редакция и программа журнала. — «Община» и народничество. — «Община» и рабочее движение на Западе.

Течения революционной мысли в женевской эмиграции лучше всего характеризуются двумя литературными органами, «Набатом» и «Общиной»: в них нашли свое выражение взгляды тех двух групп, о которых я уже говорил — якобинцев и бакунистов.

«Набат» существовал с 1875 г. В этом журнале, в целом ряде статей, Ткачев дал развитие тем взглядам, которые в истории русской революционной мысли связаны с его именем («ткачевизм»), а у нас обозначались, как «якобинизм».

Ткачев исходил из того положения, что прогресс — очевидно, он имел в виду прогрессивное развитие буржуазного общества — это рост враждебной

народу силы. «Прогресс, говорил он, укрепляет все более и более рабство, усовершенствуя орудия угнетения, усиливая правящие классы и затрудняя борьбу против них».

Согласно с этим, он считал экономическое развитие в России великим несчастием, гибелью всех революционных надежд.

«Пришло время ударить в набат», восклицал он: «Смотрите, огонь экономического прогресса уже коснулся коренных основ нашей народной жизни. Под его влиянием уже разрушаются старые формы общины... Нарождаются формы буржуазной жизни. Каждый день приносит нам новых врагов... Экономический прогресс даст государственным формам ту силу и крепость, которых пока еще в них нет!»

Перед лицом надвигающейся опасности, Ткачев призывал революционеров спешить. Революция в России или должна быть совершена немедленно, пока капитализм еще не развился у нас, или она станет невозможна.

В чем же должна заключаться ближайшая, практически достижимая цель «русских революционеров»? спрашивает Ткачев.

И он отвечает на этот вопрос:

«Нужно захватить власть и превратить консервативное государство в государство революционное».

Для разрешения этой задачи нельзя ждать того момента, когда весь народ, или хотя бы большая часть его, станет на сторону революции. Такой момент не придет никогда.

Да и способен ли народ в своей массе, на революционное творчество?

13*

Ткачев отвечает решительно: нет!

«Народ, сам себе предоставленный, не может устроить своей судьбы сообразно своим реальным потребностям, не может осуществить в жизни идей социальной революции». И это — «ни в настоящем, ни в будущем»!

«Великую задачу нашей революции», пишет он, «могут осуществить только люди, понимающие ее и искренне стремящиеся к ее разрешению, то есть люди умственно и нравственно развитые, то есть меньшинство».

Это меньшинство и должно завладеть властью во имя революции.

При таком понимании революции, бесцельной становится пропаганда, стремящаяся будить революционную энергию народа, развивать его сознание, — и этим путем подготовлять народные массы к революционному действию. Заниматься такой пропагандой — значит увековечивать господство буржуазии. И это дает Ткачеву повод обрушиться на заграничную революционную прессу, в частности на бакунистов, с обвинениями в антиреволюционности и буржуазности.

Нужно немедленно готовить переворот, опираясь на революционное и сознательное меньшинство, главное же и наиболее целесообразное средство для этого — государственный заговор.

Революционная партия должна именно к этой задаче приспособить свою организацию. С этой точки зрения, никуда не годны основанные на началах федерации организационные формы существующих «буржуазно - революционных, анархи-

ческих» групп. Организовать партию нужно так, чтобы через нее подготовлялась «метаморфоза моральной силы в материальную». Принцип такой организации — «централизация власти и децентрализация функций».

Ткачев не ограничивался тем, что рекомендовал заговорщические методы р у с с к и м революционерам. Он желал, чтоб и в Е в р о п е рабочее движение шло путем заговоров. Легальные рабочие организации вызывали в нем лишь насмешку.

«Легальная почва», пишет Ткачев, «все более уходит из под ног «Международного Союза Рабочих» (то есть, первого Интернационала). Оставаясь на этой почве, он неизбежно должен утратить всякий революционный смысл, всякое революционное значение».

Ткачев во всех своих теориях остается г о с у д а р с т в е н н и к о м и, следовательно, противником анархизма. Он резко нападает на анархистов, мыслящих социальную революцию нераздельно от уничтожения государства. Немедленное уничтожение государственной власти, доказывает он, приведет лишь к хаосу. Не разрушить надо государство, а через государство, при помощи государственной власти, создать равенство.

Такова была, в общих чертах, теория, которую проповедывал «Набат».

Приверженцы «Набата» видели альфу и омегу революционной политики в беспощадном истреблении врагов революции, в мерах устрашения и физического уничтожения. При этом они любили ссылаться на Робеспьера и Сен-Жюста и с гордостью называли себя «якобинцами».

Как-то, в споре с одним из ткачевцев, я спросил его:

— Неужели вы считаете себя в праве, будучи меньшинством, насильно осчастливить народ?

Этот вопрос ни мало не смутил моего собеседника.

— Разумеется! — ответил он: — Раз народные массы не понимают своего блага, то приходится силой навязывать его им.

В истории русского революционного движения принято отмечать связь практики «Народной Воли» с теориями ткачевизма. Но связь эта ограничивается, главным образом, тем, что народовольцы применили на деле ткачевскую теорию заговора, как метода революционной борьбы. Несравненно теснее и глубже связь ткачевизма с двумя наиболее темными страницами истории нашего революционного движения: с нечаевщиной, с одной стороны, и с большевизмом, с другой.

В самом деле! Разве ткачевское «революционное меньшинство», противостоящее неспособному на революционное творчество народу, не напоминает большевистских «носителей революционной сознательности», противополагаемых массам, как носителям «стихийности»?

Разве «централизация власти и децентрализация функций» Ткачева не то же самое, что известный организационный план Ленина, отводящий членам партии роль «колесиков и винтиков» партийного механизма, управляемого центром (формально) или единой волей?

Разве филиппики какой-нибудь «Правды» против современного рабочего движения не напоминают

выпадов «Набата» против первого Интернационала Маркса?

Наконец, разве большевистский террор не является чудовищным применением к жизни той теории истребления врагов, которую выдвинул Ткачев в оправдание и обоснование практики Нечаева?

Нечаев, как известно, признавал врагами народа и революции, подлежащими истреблению, не только активных ответственных вождей господствующих классов и злостных агентов старой власти, но и инакомыслящих социалистов. Революционеры, противники его организационных планов и тактики, являлись в его глазах врагами народа и революции, заслуживающими такой же участи, какую он предназначал действительным врагам и угнетателям народных масс. Но свою «теорию» физического и морального уничтожения врагов в таком распространенном смысле Нечаев мог применять на практике только в микроскопических размерах; большевикам же посчастливилось: они получили возможность тысячами, десятками тысяч истреблять своих противников, принадлежащих к числу испытанных друзей рабочего класса и к самому рабочему классу....

«Набат» не имел сколько нибудь заметного влияния на русскую эмиграцию, вообще, и женевскую, в частности. Кружок набатовцев был изолирован, другие эмигранты держались от него в стороне и не имели с ним никакого контакта. Да и в самой России группа женевских якобинцев не приобрела влияния в революционной среде и не имела мало мальски серьезных связей, если не считать за такие связи наличность нескольких

разрозненных индивидуумов, сочувствовавших «Набату». Я припоминаю только имена Габеля и Южаковой, остававшихся более или менее одинокими со своими якобинскими симпатиями.

Если централистические и террористически-заговорщические тенденции под конец 70-х годов стали господствующими среди тех революционеров, которые потом организовались в партию «Народной Воли», то это произошло постепенно, эмпирическим путем, под стихийным влиянием хода и условий нашего революционного движения, подготовивших благоприятную этим тенденциям психологическую почву. Среди народовольцев одна только Марья Никаноровна Ашанина известна была, как сочувствующая «Набату».

Перейду к «Общине». В известном смысле, этот журнал явился преемником «Работника», бывшего органом группы Ралли в 1875—1876 г. г. Но «Работник» был популярно-пропагандистским журналом для рабочих. А «Община» поставила себе иную задачу, — выяснение теоретических и тактических вопросов, связанных с революционным движением. Этот журнал выходил в течение всего 1878 г. довольно об'емистыми тетрадями большого формата. Всего было выпущено 9 номеров, причем нередко два номера соединялись вместе.

Издание «Общины» предпринято было соединенными силами группы «Работника» и эмигрантов чайковцев, под свежим впечатлением «процесса 50-ти», в то время, когда еще шел «процесс 193», которым, можно сказать, закончилась целая эпоха нашего революционного движения.

Между членами группы «Работника» и эмигрантами-чайковцами уже ранее установилась товарищеская близость. Теперь, под влиянием только что упомянутого крупного события, те и другие об'единились на издании органа, в редакцию которого вошли, с одной стороны, Ралли и Н. И. Жуковский из бывшей группы «Работника», с другой, — Д. М. Клеменц и я — бывшие чайковцы. Очень скоро, чуть ли еще не до выхода в свет 1-го номера, Клеменц уехал в Россию, откуда присылал нам корреспонденции, отчеты о процессе и другие материалы. Как бы на смену Клеменцу, совершенно неожиданно для нас, прибыл в Женеву его ближайший друг, С. Кравчинский.

Первый номер вышел из печати в январе 1878 г., незадолго до покушения В. Засулич на жизнь Трепова, покушения, открывшего собой в России период усиленной боевой активности революционеров, кульминационным пунктом которой явилось убийство Александра II. Но террористические акты, характеризующие этот период, были, в свою очередь, лишь проявлениями и спутниками внутренней эволюции, которую переживало наше революционное движение. Началась эта эволюция через некоторое время после разгрома пропагандистских организаций и кружков в 74 г., программно и тактически оформилась в течении, известном под названием революционного народничества[1]), и завершилась образованием партии «На-

[1]) В настоящее время нередко словами „народничество" или „революционное народничество" обозначают все русское революционное движение 60-ых и 70-ых годов. Я употребляю эти слова в том более узком смысле, который придавался им во второй половине 70-ых годов.

родной Воли», провозгласившей борьбу за политическую свободу главнейшей задачей революционеров в царской России. Организация же «Земля и Воля», возникшая в конце 76 г. и просуществовашая приблизительно до середины 79 г., была продуктом переходного периода, продуктом эволюции, подготовившей психологическую атмосферу и силы для того поворота в программе и непосредственных задачах революционного движения, который совершила партия «Народной Воли».

Характерные для этого периода революционные настроения и тенденции нашли, в большей или меньшей мере, отражение в «Общине». Но программа ее самой в двух существенных пунктах расходилась с господствовавшими в народнической интеллигенции взглядами и тенденциями.

Вот, в немногих словах, содержание этой программы, как она была формулирована в «Об'явлении» об издании «Общины», написанном от имени редакции Клеменцом.

«Удовлетворительное решение (социально-революционной) задачи может быть осуществлено лишь свободным союзом автономных общин, гарантирующим полную свободу лица в группе и группы (общины) в союзе равноправных групп (общин). Мы смотрим на вольную федерацию общин, как на первый шаг, с которого должна начаться новая фаза общественного развития».

Эта концепция соответствовала вполне платформе европейского анархизма, и потому мы прямо писали:

«Мы считаем себя лишь последователями федералистического Интернационала и распространителями его идей на русском языке».

Так же, как федералистический Интернационал, мы об'являли себя в одинаковой степени противниками и проектов «разрешения рабочего вопроса путем реформ в рамках существующего государственного строя», и проектов «преобразования существующего строя в народное государство».

Средства разрешения задачи социальной революции мы определяли словами «Статутов» Интернационала, написанных К. Марксом: «Освобождение рабочих должно быть делом их самих».

Сообразно с этим, главную задачу революционной партии мы видели в «поднятии инициативы самого народа в деле борьбы за свои права», и со всей решительностью высказывались «против всяких опытов захвата власти».

В противоположность якобинцам, которые готовы были вести революцию не только без народа, но даже и против народа, «Община» требовала от революционеров, чтобы они «слились возможно теснее с народом, жили его жизнью, изучили его быт, миросозерцание, характер и потребности».

Видное место в нашей программе было отведено защите крестьянской земельной общины «против покушения буржуазных хищников и либеральных бюрократов», а также идее федеративной организации революционных сил.

«Свободный союз местных и национальных социалистических групп, писали мы, единственный путь для успешной борьбы социалистов в пределах русского государства, населенного различными племенами, отличающимися друг от друга своими обычаями и языком».

В вопросах тактики «Община» признавала значение и пропаганды, и агитации, и местных бунтов.

«Задача партии — приготовить боевые организации и борцов для революции. Борцы же познаются и вырабатываются только в борьбе. В борьбе только может народ познать свою силу и приобрести веру в себя... Организация протестующих сил народа, возбуждение протестов, агитация против злоупотреблений должны идти рука об руку с пропагандой».

Подчеркивая свою полную идейную солидарность с «федералистическим Интернационалом», группа издателей «Общины» об'являла последнюю органом этого Интернационала на русском языке, имеющим своей задачей распространение учений и принципов анархизма в России. Этими учениями и принципами определялись, с нашей точки зрения, практические цели и задачи и нашего революционного движения.

С некоторыми оговорками можно сказать, что таково же было отношение к интернациональному социализму и «кружка кавказцев»[1]), поскольку его взгляды и тенденции отразились в мужественных речах перед судом таких выдающихся его членов, как Бардина и Зданович. Я не помню, солидаризировались ли они и в какой мере специально с анархистской ветвью Интернационала. Но помню хорошо, что и Бардина, и Зданович заявляли себя на суде горячими интернационалистами и такими же сторонниками западного социализма (вообще), как мы были сторонниками специально бакунизма.

---

[1]) Этот кружок приобрел известность по московскому „делу 50-ти“.

Как раз противоположная тенденция в вопросе о значении принципов и задач западного социалистического движения характеризовала народничество. Соответственно этому, с воцарением народнического направления среди революционной интеллигенции, интерес к западному социалистическому движению в ней сильно ослабел, чтобы не сказать совсем исчез. В этом сказалась оборотная сторона той эволюции революционного движения 70-х годов, которая вела его от абстрактного понимания и абстрактной пропаганды революционерами социалистических учений и лозунгов в период «хождения в народ» к более конкретной, национальной постановке вопросов о целях и задачах нашей партии.

В довольно об'емистой статье о революционном движении в России, написанной осенью или зимой 80 г. для немецкого «Ежегодника», издававшегося в Цюрихе Гехбергом, при ближайшем сотрудничестве Э. Бернштейна и К. Каутского, я следующим образом характеризовал новое течение в русской революционной интеллигенции:

«Народничество — это, прежде всего, реакция против слишком абстрактного отношения к окружающей конкретной действительности, против односторонней оценки явлений русской жизни исключительно под углом зрения теорий, развившихся органически, как продукт условий западно-европейской жизни, условий, находящихся в России еще только в зародышевой стадии... Фактически, как сторонники чистой пропаганды, так и приверженцы бунтарской тактики, за немногими, быть

может, исключениями, верили в близость революции, которая покончит с государством и передаст не только землю, но и фабрики и заводы в коллективное владение крестьянских общин и рабочих ассоциаций. Но достаточно было довольно кратковременного соприкосновения пропагандистов и бунтарей с «народом», чтобы перед ними обнаружилась вся утопичность надежд на скорую революцию в духе учений «Международной Ассоциации рабочих». И вот, в результате наблюдений в период «хождения в народ» или бродячей пропаганды и разочарования в своих ожиданиях, революционеры пришли к сознанию необходимости возможно больше приспособить свою деятельность «к реальным условиям народной жизни и выработать программу на основе конкретных фактов».

В конце концов, возникло и развилось народническое направление, считавшее необходимым отказаться от пропаганды социалистических теорий, заимствованных на западе, и всю революционную «деятельность приспособить всецело к мнениям и обычаям нашего народа, глубоко вкоренившимся в нем, в результате долгого исторического процесса». «Единственным критерием для оценки революционного значения» деятельности в народе провозглашено было полное соответствие этой деятельности исторически выработанным в нем «идеалам и взглядам». В тесной связи с этой эволюцией в воззрениях революционной интеллигенции, значительно ослабел в ней интерес к западно-европейскому социалистическому движению, так как, по мнению ее, опыты западно-европейских народов и извлеченные из них учения не могли иметь практи-

ческого значения для социалистического движения в России.

К дефектам первого периода революционного движения 70-х годов критически относилась и редакция «Общины». Она учитывала опыт этого периода. Но в своих положительных выводах она остановилась как бы на пол дороге. В передовой первого же номера нашего журнала, написанной Клеменцом, мы читаем: «Скомпанованный на три четверти по западным образцам, незнакомый с деталями крестьянской жизни и ее ежедневной борьбы, русский социализм поневоле был абстрактен, говорил народу о его бедах и несчастиях слишком общими формулами и часто проходил мимо злобы дня, представлявшей собою превосходнейшую иллюстрацию общих положений». Одним из самых серьезных упреков, какие можно сделать русским пропагандистам и революционерам, является то, что «мы не видим следов их участия в народных волнениях и протестах». В связи с абстрактным характером «русского социализма», причиной этому было «преобладание бродячей пропаганды», дававшей «мало возможности завести опорные пункты для дальнейшей деятельности».

В итоге абстрактной пропаганды получалось то, что «русский пропагандист, отщепенец от своей среды, сходясь с рабочим, делал из него прежде всего не защитника крестьянских интересов, протестакта во имя его нужд, но такого же отщепенца среди крестьян, которому так же душно становилось в своей семье и деревне, как учителю в городе среди буржуазного общества. Русский социалист, дитя нигилизма 60-х годов, сам породил в первую

голову в среде мужиков нигилистов, внушавших родным и близким страх и недоверие своим резким отрицанием традиционных привычек и религии».

Но все же «трудами пропагандистов, ходивших в народ, был проложен путь для социально-революционной пропаганды среди русского рабочего населения, завербованы первые группы лиц из народа для социалистической партии». И «нам, преемникам их, остается, опираясь на существующие уже элементы социально-революционной партии в народе, теснее слиться с протестующими элементами его и внести в программу своей партии элемент активной борьбы и протеста».

В той же статье, из который взяты эти строки, указаны и признаки вступления партии на этот путь. Такими признаками мы считали:

1. «Заметное преобладание в последнее время оседлой пропаганды над бродячей. Орудиями пропаганды становятся при этом не столько книжная и теоретическая проповедь, сколько факты ежедневной крестьянской жизни и практическая борьба».

2. «Стремление партии войти в союз с мирскими людьми, протестующими элементами крестьянства».

Приблизительно такое же симптоматическое значение мы придавали казанской демонстрации, в которой мы видели проявление потребности русских социалистов «выйти из заколдованного круга теоретической проповеди социализма на путь гласного, фактического заявления и живой агитации».

В своем критическом отношении к первой стадии нашего движения и в признании необходимости для русских революционеров перейти от «словесной

книжной, чисто теоретической пропаганды» на путь «активной борьбы и протеста» в рядах народа в тесном единении с ним, во имя его повседневных нужд и волнующих его «злоб дня», группа «Общины» разделяла, следовательно, взгляды и стремления всех народников в России. Но, в противоположность народникам, мы даже и не пытались разрешить вопрос о том, каким же общим знаменем, какими программными лозунгами заменить в русском революционном движении социализм, «скомпанованный на три четверти по западным образцам».

Указание на необходимость знакомиться с деталями крестьянской жизни и исходить из злоб дня этой жизни для возбуждения и организации массовых протестов в народе касались только, так сказать, педагогической стороны вопроса о пропаганде и агитации в массах, но это отнюдь не разрешало коренного вопроса о практических целях и задачах русской революции, на подготовку которой должна была быть направлена эта пропаганда и агитация. Мало того, ведь сама наша программа была чуть не целиком (а не только на три четверти) «скомпанована» по одному из образцов западного социализма, именно анархического. Таким образом, она, в своей принципиальной части, противоречила основному пункту нашей же собственной критики «недостатков предыдущего периода» русского революционного движения и тем самым логически мешала нам дойти до конечных практических выводов из этой критики. Мы считали как бы само собой разумеющимся, что цель и содержание русской революции ничем, по существу, не должны отличаться от цели и содержания со-

циалистической революции на Западе. А в то же время мы заявляли, что коренным дефектом предыдущего периода русского революционного движения было то, что в нем господствовал социализм «западного образца». Из этого заявления логически вытекало не только требование, чтобы русские социалисты сплачивали социально-активные элементы крестьянства на почве его ежедневной борьбы в народно-революционную партию, но и необходимость радикального пересмотра программы или программ, завещанных предыдущим периодом.

На этот именно путь вступили основатели и носители народничества. Сами не сознавая того, они основной очередной задачей движения провозгласили подготовку революции для низвержения сословно-абсолютистского режима. В этом внутренний исторический смысл и историческая заслуга народничества, хотя сами народники не сумели осмыслить и понять историческую сущность своего направления.

Точку зрения народничества на основную цель и задачу революционной партии в России изложил в последнем номере «Общины» Я. Стефанович, в статье «Наши задачи в селе». «На опыте — писал он — нам пришлось убедиться, что крестьянская среда представляет очень мало элементов, годных для выработки т а к и х социалистов, каких бы мы желали... Многие пришли к мысли, что выработка социалистов горстью людей в миллионной массе народа вносит в нее столько же блага, сколько капля в воды океана». У нас «истинно революционные требования должны быть формулированы так: 1.) П е р е х о д в с е х з е м е л ь и з ч а с т н о й

собственности в собственность народных общин, каковы они есть в настоящее время. 2.) Самостоятельность мира или громады в отправлении всех общественных функций, то есть (? П. А.) уничтожение государства. Таковы «желания, идеалы», которые коренятся в самом народе, и осуществление которых приведет к осуществлению социалистических целей. Только эти, созданные самой народной жизнью, идеалы осуществимы теперь, а потому они и должны служить основой и знаменем организации народных сил. Всестороннее проведение в жизнь идей социализма невозможно, ибо оно не имеет почвы в русском народе, каков он есть в настоящее время. Почва эта явится с осуществлением «той части наших собственных идеалов, которая есть уже в сознании народа и ... является в нем в форме ясных желаний».

К чисто народнической постановке вопроса о целях и задачах революционного движения в России вплотную подошел Мышкин в своей знаменитой речи на процессе 193. «Основная задача социально-революционной партии, — заявил он, — установить на развалинах теперешнего государственного буржуазного порядка такой общественный строй, который, удовлетворяя требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных и повсеместно присущи народному сознанию, составляет вместе с тем справедливейшую форму общественной организации».

В настоящее время, после того, как большевики

использовали требования, «присущие народному сознанию» для узурпации власти и удержания ее в своих руках при помощи террористического режима, излишне доказывать, что это «сознание» было бесконечно далеко от «справедливейшей», то есть социалистической формы организации. Идеализация традиционных крестьянских «идеалов и желаний» мешала народникам ясно понять исторический смысл их собственных программных выводов из ими же резко подчеркиваемого факта, что Россия находится еще совсем на другой ступени развития, чем западные страны. Но настаивая на том, что именно глубокая разница между исторической и социальной почвой нашего революционного движения, с одной стороны, и западного, с другой, должна быть положена в основу программы и тактики нашей партии, они этим самым прокладывали дорогу к правильной постановке и решению вопроса о приведении этой программы и тактики в полное соотвествие с конкретными запросами русской действительности.

«Община» не дошла и до того обобщения в этом вопросе, которое характеризует народничество. Она, можно сказать, одной ногой оставалась на почве того русского социализма, который царил в радикальной интеллигенции периода «хождения в народ» и который, по выражению Клеменца, был «на три четверти скомпанован по западным образцам». Это об'ясняется, если не исключительно, то главным образом, тем, что в годы, непосредственно предшествовавшие изданию «Общины», сношения между нами и товарищами в России были очень слабы. Лишь изредка тот или другой то-

варищ на очень короткое время приезжал за границу по какому-нибудь специальному делу (например, для закупки типографских принадлежностей и т. п.). Можно сказать, что русская эмиграция — по крайней мере, в Женеве — в это время потеряла всякую мало мальски **правильную** связь с активными революционными элементами на родине. Вследствие этого мы, женевские «заграничники», в очень слабой мере испытывали на себе влияние психологической атмосферы и переживаний товарищей в России в период зарождения и программно-тактического оформления народнического направления.

Это обстоятельство, вероятно, спасло нас от того охлаждения к интернациональному социалистическому движению, которое проявлялось в среде народников в связи с их резко отрицательным отношением к влиянию западного социализма на наше движение. В противоположность товарищам, жившим и действовавшим в России, мы признавали учения западного социализма обязательными и для русской революционной партии. Это «умонастроение» поддерживалось у нас, конечно, нашим контактом с коммунарами, с видными представителями Юрской федерации и — особенно через Кравчинского — с итальянской партией. Все это в совокупности питало и поддерживало в нас не только приверженность «к общим формулам» анархизма, но и живой горячий интерес к внутренней жизни и судьбе западных рабочих партий. Это наше отношение к «западному социализму» отразилось в «Общине» тем, что мы уделяли в этом журнале много места интернациональному рабочему движению.

Но, как это ни странно на первый взгляд, а германской социал-демократии уделено было нами гораздо больше места, чем всем анархическим рабочим партиям, вместе взятым. Об'ясняется эта странность, с одной стороны, крайней слабостью анархических организаций и вообще рабочего движения в тех странах, где анархические тенденции господствовали в нем, а с другой стороны, громадным перевесом, который имела над этими организациями германская социал-демократия своей силой, своими успехами и международным значением. Анархические группы давали крайне скудный фактический материал для обозрения и оценки их деятельности, между тем как рабочая партия Германии, даже теми сторонами своей деятельности, которые, с анархической точки зрения, казались отрицательными, представляла большой интерес для пропаганды наших взглядов. Она давала нам обильный конкретный материал для критической оценки принципов и политической практики «государственного социализма» и для илюстрации правильности программы и тактических воззрений анархистов.

Я считаю не лишним привести здесь некоторые места из помещенных в «Общине» корреспонденций и статей об итальянском социалистическом движении, дающих представление об его состоянии в стране классического анархизма в конце 70-х годов.

«Там, среди лагун и землянок калабрийского крестьянина — читаем мы в письме из Италии» в № 1 «Общины» —бессильно замирает этот могучий голос (печати) 19-го столетия. Там, в темной сырой

крестьянской хижине не умеют читать. Но каждый из этих крестьян прекрасно владеет ружьем и ножом[1]... И если бы нашим итальянским друзьям удалось в Беневенто, захватив две крестьянские деревни, сжегши архивы муниципалитета, раздавши народу оружие, находившееся в арсенале, и деньги, находившиеся в кассе сборщика податей, реализовать коллективное владение землей, организовать производство и потребление, укрепиться, бороться, защищаться»... За этими словами следует многоточие. А в заключение автор письма восклицает: «Пусть бы они были даже побеждены! Идея была бы брошена в массу не на бумаге, не в журнальной статье, а раскаленным гвоздем засела бы она в мозгу рабочего народа. Эта идея с именем общины Летино, как с именем Коммуны Парижа, живая встала бы перед очами народа, и народ восстал бы за нее».

Еще более горячо и обстоятельно обосновывал С. Кравчинский условиями существования итальянских рабочих необходимость такого рода агитационных воздействий на них, как бунтарские попытки в Болонье и Беневенто. «Бедность рабочего населения в Италии ужасна, невероятна. В этом отношении единственной соперницей ее может быть только Россия... Спрашивается теперь: есть ли какая нибудь возможность собрать с такого населения деньги, необходимые для пропаганды? Очевидно, для этого нужно было бы прибегнуть к мерам еще более решительным, чем те, к которым прибегают русские становые при сборе недоимок». Но, кроме насилия со стороны

[1]) Курсив мой.

правительства и безденежья, «характер самого итальянского народа не допускает мирной легальной пропаганды. Если есть в мире народ, совершенно неспособный по характеру своему к мирной, легальной пропаганде, то это итальянцы. Это народ действия, а не слова».

«С самого начала его истории все неудовольствия его, все протесты против какого бы то ни было порядка вещей всегда выражались восстаниями, бунтами, разбоями, кулачной расправой, разграблением, — одним словом, какими бы то ни было насильственными действиями. Легальная агитация, на манер английской или немецкой, всегда была чужда итальянскому народу. Новейшая же история еще больше развила в нем эту природную, характерную черту... Все нынешнее поколение, можно сказать, убаюкивалось под звуки революционных песен, выросло и воспиталось среди волнений, опасности и энтузиазма народной и революционной борьбы. И вдруг этим самым людям, в памяти которых еще так свежи воспоминания о геройской борьбе, из которых половина сама сражалась с Гарибальди ... людям, наконец, которые видели воочию, каких блистательных результатов может достигнуть смелость и отвага, даже при величайшем неравенстве сил, ... предложить канитель мирной пропаганды, парламентской агитации, или чего нибудь подобного. Иметь последователей в среде живой Италии может только партия, опоясанная мечом!» Пропагандой в ней можно сделать очень немного, между тем, как путем попыток в роде беневентской «можно творить чудеса».

В заключение Кравчинский обещал в следующем

номере (3—4) «говорить о самих попытках этого рода». Но продолжение статьи «Беневентская попытка» не появилось. Зато в последних номерах нашего журнала Сергей поместил статью под названием «Самодеятельность итальянского народа в борьбе с буржуазией и правительством». Но и в этой статье нет обещанного «рассказа» о повстанческих попытках итальянских социалистов, нет вообще никаких фактов, относящихся к рабочему движению, а есть лишь небольшой очерк о бандитизме. Первая глава трактует об «экономическом положении рабочих классов Италии», а вторая (она же и последняя) носит характерный подзаголовок «Бандиты». Автор не идеализирует их, — наоборот. Указав на то, что бандиты «всюду находят себе укрывателей и покровителей в народе, духовенстве, в аристократии, среди судей и присяжных», он ставит вопрос: «Что они такое? Мстители за народное горе, удалые бойцы за народные права, за свободу, за более справедливый общественный строй, нечто в роде шиллеровских Карлов Моров? Увы! за исключением того ореола отваги, который вообще с полным правом принадлежит бандиту, социалист найдет у этого бандита очень мало симпатичных черт и вряд ли отыщет какие нибудь проблески нравственных мотивов и идеалов. Среди вожаков встречаются умные, сильные личности, но главная исключительная цель их — нажива; они в одно и тоже время и бандиты, и кулаки... Что же касается нижних чинов, разбойничьей черни, то она состоит из таких же впроголодь живущих бедняков, каковы вообще рабочие и крестьяне, потому что деньги, получаемые за выкуп пленных,

делятся далеко неравномерно между членами банды — львиная часть идет к вожаком».

О других не разбойничьих, а подлинно пролетарских формах и проявлениях народной «самодеятельности в борьбе» с эксплоататорскими классами автор названной статьи ничего не сообщает. Правда, он намеревался «много говорить и об итальянских социалистах» и, вероятно, исполнил бы свое намерение, если бы «Община» продолжала бы издаваться. Но он не мог бы дать нам что нибудь другое, кроме более детального изложения того, что содержалось уже в его статьях о «беневентской попытке» и «самодеятельности итальянского народа». Как в этих статьях, так и в напечатанных в «Общине» корреспонденциях из Италии, речь идет только о положении народа, его «характере», об «общих условиях социалистической пропаганды», лишающих ее всякого реального значения и делающих (якобы) необходимой бунтарско-заговорщическую тактику и, наконец, о значении двух неудавшихся попыток применения этой тактики. Но нет и намека на то, чтобы предприняты были новые попытки в этом роде, нет никаких фактических указаний на развитие пролетарского движения и на успехи социалистов (бакунистов). Вместо таких фактических сообщений, — прославления маленьких путчей в Болонье и Беневенто, ставших уже достоянием истории, и радужные надежды на успехи бунтарства в будущем. В то время, когда писались упомянутые «письма из Италии» и цитированные статьи Кравчинского, социалистическая партия и рабочее движение в этой стране были, очевидно, так слабы, что в данный момент

нечего было сообщить об их жизненных проявлениях. Этим и об'ясняется то, что в статье, озаглавленной «Самодеятельность итальянского народа в борьбе с буржуазией и правительством», об этой самодеятельности нет ни слова, а вместо того идет описание «разбойничества» и его подвигов.

Едва ли много лучше обстояло дело с социалистическим, то есть бакунистским, движением в Испании. А Юрская федерация, центр федералистического Интернационала, если и проявляла еще кое-какие признаки жизни, то, во всяком случае, очень слабые. В тех же странах, в которых социалистическое движение видимо росло и наиболее ярко проявляло себя, оно развивалось под знаменем «государственного социализма», то есть социал-демократии. В Бельгии, недавно еще бывшей одним из главных очагов прудонизма и анархизма, социал-демократия, по словам де-Пепа, уже ко времени Бернского конгресса приобрела значительное влияние на социалистические круги пролетариата. В том же направлении развивалось социалистическое движение в Голландии и Скандинавских странах. Но и во Франции, где — в то время, когда издавалась «Община» — пролетариат, несколько оправившись от поражения парижской коммуны, начал уже снова выступать на арену классовой борьбы, социал-демократические тенденции начали пускать корни. Центром же и авангардом международного социалистического движения, все больше распространявшего свое влияние и на другие страны, являлась германская социал-демократия, тогда уже самая многочисленная и сильная пролетарская партия во всем мире.

Но внимание бакунистов привлекали особенно не успехи этой партии, а те факты в ее жизни, которые, по их мнению, отрицательным путем наглядно и рельефно подтверждали и оправдывали точку зрения анархистов на «государственный социализм». Именно в Германии этот социализм нашел самое последовательное и наиболее успешное применение. Здесь анархисты могли наблюдать, как проявлялись в жизни те отрицательные черты, которые они теоретически приписывали ему. Кроме того, в самой Германии начали появляться симптомы зарождения анархического течения. Так, по крайней мере, склонны были анархисты истолковывать некоторые явления в жизни Германской социалистической партии. А раздражение и вражда ее ответственных органов против виновников этих явлений, со своей стороны, подтверждали в наших глазах справедливость наших толкований.

Из сказанного видно, какой огромный интерес должно было представлять, с нашей точки зрения, для пропаганды «идей федералистического Интернационала на русском языке», ознакомление русских читателей с внутренним развитием и внутренней жизнью социалистической партии в Германии. Голое прославление бунтарства и голословная идеализация бакунистского Интернационала, не иллюстрируемые и не подкрепляемые реальными фактами из его жизни (за недостатком таковых), были далеко недостаточны для этой пропаганды. Гораздо больший эффект обещал отрицательный способ пропаганды анархизма — выявление его превосходства над социал-демократизмом путем выяснения отрицательных результатов применения учений по-

следнего на практике в стране, где он достиг наибольших успехов и приобрел наибольшую силу. С этой именно целью я и написал для «Общины» обширную статью (точнее, целый ряд статей) под названием «Итоги германской социал-демократии», печатавшуюся во всех номерах журнала (с одним лишь пропуском № 5), с первого до последнего.

В этой статье я дал критический очерк внутреннего развития этой партии, начиная с образования Лассальянского союза до того момента, когда в Германии был принят исключительный закон против социалистов. Нынешние нападки на германскую социал-демократию так называемых «коммунистов», то есть большевиков, отчасти напоминают мои тогдашние обвинения или упреки по ее адресу. Но критикуя эту партию, как сознательный, чистокровный анархист, я, в противоположность большевистским противникам ее, не нуждался в помощи такой бесшабашной демагогии, какой отличается большевистская «критика» социал-демократии, производимая под флагом марксизма[1]). Именно тот факт, что большевистский поход против социал-демократии ведется во имя и под знаменем марксизма, придает ему характер особенно жестокого реванша со стороны воскресшего к новой жизни бакунизма своему старому противнику, ре-

[1]) В начале 900-х годов одна парижская группа русских анархистов обратилась ко мне через социал-демократа Эфрона с просьбой разрешить ей переиздание особой брошюрой моей статьи о германской социал-демократии. Очевидно, несмотря на отсутствие в моей критике демагогического тона и цинизма, она была насквозь пропитана анархическим правоверием, если анархисты 25 лет или больше после ее появления в печати, сочли ее полезной для своей пропаганды. Конечно, я не дал им своего согласия.

ванша за поражения, нанесенные в свое время марксизмом блаженной памяти «федералистическому Интернационалу».

Статья, о которой я говорю, кажется мне своего рода историческим документом, не лишенным интереса современности; а потому я считаю уместным остановиться на ней особо.

XI. ГЕРМАНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В СВЕТЕ АНАРХИЧЕСКОЙ КРИТИКИ.

(1878 г.)

О социал-демократической программе — „народное государство“. — О с.-д. тактике — избирательная борьба и парламентаризм. — Развитие германской с.-д.-тии: Лассаль и лассальянцы, эйзенахцы, об'единенная партия. — Новые тенденции — оппортунизм в тактике, централизм в организации. — Перспективы в связи с исключительным законом против социалистов.

В своей статье «Итоги германской социал-демократии» я выступал, как правоверный анархист. Корень всех прегрешений — мнимых и действительных — этой партии я видел в ее «политическом идеале», в ее конечной политической цели, сводившейся к учреждению свободного «народного государства». В предисловии я считал, однако, нужным отметить и подчеркнуть, что в Германии государственный социализм остается до сих пор знаменем передовой части пролетариата, и что германская социал-демократия является авангардом рабочего движения всех стран, в которых идейной основой ему служит этот социализм. Но, именно, в виду всеобщего преклонения государственных

социалистов всех стран перед этой партией, писал я, «строгая критическая оценка ее программы и деятельности является крайне настоятельной потребностью; и если в лучший период ее существования критик имел право, относясь к ней сочувственно, указывать в то же время на возможные (отрицательные) последствия пропагандируемых ею воззрений, то в настоящее время, когда эти последствия начинают уже осуществляться, он тем более обязан возможно более строго отнестись к ее деятельности».

В итоге моей критики «политического идеала» германской социал-демократии получилась не об'ективная характеристика «народного государства», как его представляли себе социал-демократы, а карикатура на него, предвосхитившая, но в слишком общих и бледных чертах, реальные черты реального большевистского государства.

«Глубокие тактические и организационные разногласия между анархистами и социал-демократами — писал я — не могут быть об'яснены различием в местных условиях их деятельности. Социал-демократы, как известно, видят в избирательной и парламентской борьбе могучий стимул и одно из важнейших и необходимейших средств для развития в пролетариате классового сознания и классовой самодеятельности, а анархисты, наоборот, считают участие в выборах и в парламенте несовместимыми с развитием революционного сознания и самодеятельности в рабочих массах. Немецкие социалисты придерживаются принципа централизации своей партийной организации, а анархисты отвергают этот принцип в пользу самой широкой автономии

секций и видят в максимальном ограничении полномочий административных органов партии необходимейшую гарантию развития индивидуальной и коллективной пролетарской революционной сознательности и активности ее членов. Об'яснить эти расхождения одними особенностями социальной почвы, на которой действуют анархисты и социал-демократы, нельзя, хотя бы уже потому, что те и другие нередко живут на одной и той же или однородной социальной почве. Одинаковые или почти одинаковые условия деятельности не только не устраняют указанных разногласий между ними, но, наоборот, еще обостряют их взаимную борьбу за влияние на пролетарские массы».

Очевидно, источник этих разногласий лежит в различии идеалов или конечной цели, к осуществлению которых стремятся анархисты, с одной стороны, и социал-демократы, с другой. Но, как известно, экономический идеал у анархистов и социал-демократов один и тот же: те и другие стремятся к превращению средств производства в коллективную собственность, как основу хозяйственных отношений нового общества. Нам остается, поэтому, обратиться к их разногласиям в вопросе о политической организации социалистического общества.

Анархисты считают государственные или централистические формы общежития причиной и в то же время опорой неравенства и антагонизма общества.

«Всюду управление из одного центра интересами обширного, весьма разнообразного по своим духовным и материальным потребностям, населения при-

водило к подавлению индивидуальной и местной свободы. Поэтому социалистический строй... не может быть водворен посредством правитеьлственных регламентаций, хотя бы правительство и избрано было всеобщей подачей голосов. Правительства способны создавать и поддерживать только механическую связь между общественными элементами. Но те общественные связи, к установлению которых стремится социализм, могут явиться только, как результат добровольного соглашения между людьми, ясно понимающими общность своих интересов. До этого понимания люди дойдут, вероятно, после целого ряда опытов, быть может, очень тяжелых. Во всяком случае, при подобном ходе вещей», не сковываемом вмешательством власти, «люди приобретут, наконец, понимание и привычки, необходимые для прочного водворения общежития, основанного на равенстве и солидарности. Вот почему отсутствие государственной принудительности... — одна из самых существенных гарантий для торжества социализма. Полное самоуправление народа или свобода местных групп в своих внутренних делах и добровольный союз для удовлетворения своим общим потребностям — таков идеал общественной организации партии анархистов».

Этому идеалу германская социал-демократия противопоставляет «свободное народное государство». Эпитеты «свободное», «народное» поставлены перед существительным «государство», очевидно, для того, чтобы указать на глубокую разницу между социалистическим и современным государством. Не власть и насилие, а полная свобода будут царить в «свободном народном госу-

дарстве» — таков смысл того пункта Эйзенахской программы, в котором формулирован политический идеал германской социал-демократии.

Одно обстоятельство вызывает в нас, однако, уже a priori сомнение «насчет основательности такого толкования этого пункта. Слово «государство» так же древне, как и безобразия, совершаемые под охраной организации, обозначаемой им; оно до такой степени срослось с представлением о прошлых и современных преступлениях того чудовища, которому оно служит названием, что разорвать эту связь так же невозможно, как отделить слово «бог» от представления о господствующей над миром сверхестественной силе, или слова «капиталистическое хозяйство» от идеи об экономическом господстве немногих над миллионами. Немецкие социалисты не употребляют терминов «бог» и «религия» для обозначения своего философского мировоззрения и термина «капиталистическое хозяйство» для обозначения своего экономического идеала. От чего же они так крепко держатся за такое древнее слово, как «государство» для обозначения, по их уверению, совершенно новой общественной организации, ничего общего не имеющей со старым государством?» Невольно закрадывается в голову мысль: не скрывается ли под этой симпатией к слову и симпатия к самому понятию, обозначаемому им?

Главной, основной особенностью всякого государства является сосредоточение в руках одной группы главного управления всеми интересами страны, словом, стремление к централизации, с

15*

одной стороны, и к отсутствию полного местного или общинного самоуправления, с другой. Эта основная черта исторически сложившихся государств[1]) является основной, характерной и для «народного государства», к которому стремится германская социал-демократия. Это видно уже из той фанатической вражды, которую немецкие социал-демократы проявляют в борьбе против идеи свободного договора между отдельными группами.

Тяготение их к централизации управления всей страной в руках одной правящей группы проявляется и в том, что двойственность в употреблении слова «государства» — то отожествляемого со всей совокупностью граждан, то противополагаемого им как организация, стоящая вне их и над ними, — характеризует почти всю литературу немецких социалистов по вопросу о будущей организации общества. «Правящий центр (народного государства), в отличие от современной государственной власти, будет не только законодателем, администратором и судьей, но и хозяином, выдающим всем гражданам, как своим рабочим, плату за их труд. Инициативе и самоуправлению граждан противопоставляется инициатива, верховное управление экономической жизнью и верховный контроль особой организации, стоящей выше всего населения и отдельных его частей». Спрашивается, как же гарантировать свободу граждан «при таком сосредоточении материальных и духовных сил страны в руках одной группы?»

[1]) В своем анархическом ослеплении я ухитрился упустить из виду, что государственный строй Швейцарии и Соединенных Штатов Северной Америки отнюдь не централистический, а, наоборот, федеративный.

Такую гарантию видные социал-демократы, как Ритенгаузен и Грейлих, видят в прямом законодательстве. По мнению Ритенгаузена, прямое законодательство есть демократическое начало, вполне соответствующее требованиям социализма. В том же смысле высказался Грейлих в своей брошюре «Государство с социалистической точки зрения». В государстве с истинно прямым законодательством, говорит он в этой брошюре, «интересы масс не сосредоточены в представительном собрании, они целиком в руках этих масс... Прямое законодательство является главным признаком народного самоуправления — все равно, применять ли его в общине, национальном или интернациональном государстве, или даже во всемирной республике, в которой сотни миллионов будут вотировать права всего человечества».

Но применение прямого законодательства в пределах села или города никоим образом нельзя отожествлять с применением его на территории целого государства. Результаты его применения в одном и другом случае прямо противоположны друг другу. Ведь законы, подчеркивает сам Грейлих, после принятия их большинством населения, становятся обязательными для всех граждан. Стало быть, о неограниченном праве общин и групп регулировать свои внутренние дела и заключать между собою союзы, не может быть и речи в этом случае, ибо их права ограничены верховной волей всего населения (то есть, его большинства) государственной территории. Последовательное применение прямого законодательства, как принципа государственного управления, требует,

чтобы все население повиновалось однообразным законам, и лишает отдельные местности и группы возможности на деле применять его у себя. В противном случае, пострадали бы интересы государственного единства, так как полное самоуправление провинции, городов, сел и т. д. несовместимо с однообразным законодательством для всей страны.

Но нужно представить себе коренную разницу в применении прямого законодательства к государству, с одной стороны, и к небольшим районам, с другой. При громадности территории России, например, при чрезвычайном различии в степенях развития, нравов и потребностей ее населения, легко может случиться, что (в случае голосования) значительное число местностей, быть может, и большинство, выскажется против коллективной собственности. Если каждый город, волость или село, действительно, пользуется прямым законодательством, то противоречивый результат голосования может привести только к тому, что в одних частях нынешней империи будет господствовать коллективная, в других частная собственность. С точки зрения социалистической, результат, несомненно, печальный. Но для постепенного преодоления его нет других средств, кроме усиленной пропаганды и практического примера социалистически-организованных местностей.

Совсем иной оборот приняло бы дело в случае применения принципа прямого законодательства к решению этого самого вопроса в с е й страной, с ее 80-миллионным населением. Каково бы ни было решение большинства, меньшинство обязано было бы подчиниться ему. Это значит: провозглашаемое социал-демократами верховным началом «народ-

ного государства» господство большинства и при прямом законодательстве низводит до нуля или почти до нуля самостоятельность общин и провинций. Другими словами, применение прямого законодательства, как основы для управления целым государством, исключает действительное применение этого принципа у себя отдельными частями государства.

Но и предполагаемое теорией господство большинства всего населения государства сводится, в действительности, даже на основе прямого законодательства, «к простой формальности для прикрытия произвола и деспотизма нескольких ловких личностей». Уже в пределах незначительной местности всеобщая обязательность постановления большинства «открывает широкое поле для разных злоупотреблений против свободы». Но тысяче или даже десяткам тысяч человек, живущим в одном городе, несравненно легче столковаться насчет своих общих интересов, чем десяткам миллионов, рассеянным на огромной территории. Жители одного города или одной волости, даже без особенно высокого умственного развития, легко могут судить о годности или негодности местного законопроекта, предложенного, в большинстве случаев, в силу всем им известных обстоятельств. Интригам партий и злоупотреблениям административных органов здесь мало раздолья. Если введенное администрацией в заблуждение население какой-нибудь местности и сделает ошибку, то она, во первых, «легко поправима, а во вторых, по крайней мере, не отражается вредно на населении других местностей.

Вообще, при полной автономии каждой общины,

глупость и отсталость одной не задерживает или, по крайней мере, весьма мало задерживает свободное развитие других. Наоборот, отсутствие центральной власти, препятствующей быстрому движению вперед наиболее развитой части населения, облегчит этой последней воздействие на отсталые местности, ибо «примеры разумного общежития слишком заразительны, чтобы не возбудить стремления к подражанию в самых глупых людях. При полном применении прямого законодательства в пределах общины.., реакционный характер населения одного края не только не висит, как тяжелый камень, на шее более развитого населения других местностей, не давая ему возможности (свободно) итти вперед, но, наоборот, последнее увлекает постепенно за собою первое; если общие потребности приводят их к мысли о необходимости союза, то основанием ему служит добровольный договор». Их центральные собрания представляют собою не более, «как конгрессы специалистов, которым даны определенные полномочия для выполнения специальной конкретной задачи».

К совершенно противоположным результатам «приводит неизбежно принцип прямого законодательства, положенный в основу организации» целой нации, населяющей обширную территорию. Здесь жителям каждой отдельной местности трудно основательно знать и понимать условия жизни и потребности других мест, а потому местные группы склонны оценивать целесообразность законов исключительно с точки зрения своих местных интересов и потребностей. Чтобы устранить это препятствие к выработке и применению общеобязательных законов

для всей страны, необходим особый центральный законодательный орган, который будет уже не простым собранием специалистов с определенными ограниченными полномочиями, а представителем «воли народа», законодательным и административным центром, охраняющим единство и целость государства, блюстителем законов и порядка. А так как из Петербурга, например (если предположим, что его почтили честью остаться столицей «народного государства»), нельзя следить за поведением граждан в Николаеве и Одессе или Енисейске без помощи огромной армии чиновников, то для выполнения своих функций общегосударственному законодательному и исполнительному органу необходимо будет обзавестись жандармами, полицией и прокурорами. Этому «народному правительству» было бы «гораздо легче душить народную свободу, чем современному».

В принципе, «народное правительство» не более, как выразитель и исполнитель воли большинства. Поэтому неповиновение властям «народного государства» равносильно неповиновению священной воле самодержавного народа. «Произвол нынешних правителей явный и никого не обманывает», между тем как злоупотребления «правительства народного» могут прикрываться всеобщим голосованием. Никакое правительство не может с таким успехом применять тактику «разделяй и властвуй», как, так называемое, «народное». Всевозможными средствами оно может «образовать из разных элементов народа, рассеянных по территории государства, большинство для освящения излюбленного им законопроекта. В случае же упорного отказа

меньшинства в повиновении новому закону, это меньшинство тем самым об'являет себя бунтовщиком против священной воли большинства». Если же недовольное большинство населения какой-нибудь области вздумает грозить отпадением от «народного государства», то центральная власть, как охранительница целости государства, возьмет на себя далеко не народную миссию усмирения «бунтовщиков». Она мобилизует против них вооруженную силу, которой даст название «народной милиции», и так же успешно будет усмирять своих «мятежников», как делает это швейцарское правительство при помощи своей «народной милиции»...

При таком положении, правительство, избранное всеобщим голосованием и оперирующее прямым законодательством, всесильно не только над меньшинством, но и над большинством. Когда последнее заметит, что оно стало жертвой обмана, интриг и демагогической пропаганды правительственных агентов, то ему будет уже слишком поздно исправить свою ошибку. Тысячи мелких групп, рассеянных в разных углах, не связанных между собою, могут протестовать порознь против гражданской войны, вызванной правительством, но на каждый протест власть имеет готовый ответ: «Моя обязанность исполнять волю народную, извольте повиноваться»... Поди, «проверяй эту волю, когда гильотина, быть может, действует на площадях, а часть страны находится под осадным положением».

Итак, положить принцип прямого законодательства одновременно в основу жизни *общины*, вообще местной общественной организации, и в основу *государственного* управления никак

нельзя; предполагать это возможным, значит признать тождественность цепей на ногах и полной свободы движения. Справедливость этого заключения иллюстрируется и подтверждается заявлениями немецких социалистов об организации общества на началах коллективизма.

«Предварительное условие будущего общества, говорит Грейлих в названной брошюре, заключается во всенародном революционном голосовании по вопросу об уничтожении собственности на землю и на все средства производства и обмена. Точно так же и принцип будущего общества — экономическая равноправность в пользовании общей собственностью и продуктами труда — подвергнется предварительному революционному голосованию». Это значит: ни Киев, ни Одесса, ни жители берегов Тихого Океана, принадлежащих Российской империи, не имеют права порознь приступать к решению социального вопроса, а должны ждать того далекого будущего, когда возможно будет организовать общенародное голосование по всей империи. Но вот, настал этот блаженный момент. «Ревоцюционное (?) голосование многомиллионной Руси может, разумеется, дать далеко не революционный результат... Киевляне или одесситы... никак не хотят подчиниться голосованию большинства мордвы, поляков, башкирцев и т. д. Как тут быть?»

На этот вопрос социалисты-государственники, в лице Грейлиха и других своих вождей, отвечают так: «Солидарность есть принудительный принцип всякого общества, не желающего вернуться к точке зрения папуасских негров. И солидарность эта

может разумным образом выразиться только в решениях большинства народа... Меньшинство должно подчиниться, или выселиться».

Принудительную силу принципа солидарности признают и анархисты. Но, в противоположность государственникам, они полагают, что этот принцип вытекает из естественных законов человеческой жизни. Не только отдельные индивидуумы или группы, но и целые местности не могут вполне изолировать себя от своих соседей. Насущные потребности, непременно заставят их искать союза с другими группами и местностями. «Если одной или нескольким из них вздумалось бы отказаться от участия в общеполезном деле, предпринимаемом соседними областями, они лишили бы себя возможности пользоваться выгодами, связанными с осуществлением этого дела, до тех пор, пока не образумились бы. Сила вещей, собственный опыт, пропаганда и пример наиболее развитых элементов народа, вот что, по их (анархистов) мнению, неизбежно приведет, в конце концов, все общины — не только соседние, но всей земли — к установлению солидарности в своих взаимных отношениях». В представлении же немецких социалистов, принудительная сила принципа солидарности отожествляется с государственной властью и страхом перед наказанием. «Сознание необходимости солидарности в обществе приводит их к признанию необходимости организовать легализованное насилие большинства над теми местностями, население которых, вследствие отсталости, а, может быть, и вследствие высокого уровня развития, отказывается подчиняться его решениям». Представители этой

точки зрения не решаются, однако, отстаивать ее применение вне национально-государственных рамок. А между тем, земля то, по крайней мере, должна рассматриваться, как коллективное достояние человечества, а потому ни один народ в отдельности не может решить вопроса о принципах и формах владения ею. Однако, практически они требуют применения «принципа солидарности» только в границах исторически сложившегося государства. «Существует Германская империя; наступил благоприятный момент — буржуазное правительство низвергнуто, жители Мюнхена, Лейпцига, Берлина намереваются приступить к ликвидации (старого) социального строя. Но... Грейлих, Ритенгаузен, Либкнехт заявлют: «Стой! не имеете права самостоятельно сделать это. Вопрос должен предварительно подвергнуться голосованию населения всей страны». Да, на каком основании? отчего? А потому, ответят они, что вся страна представляет нечто целое. Да на чем основана эта неразрывная связь отдельных частей Германии? Исторически — путем завоеваний и кровавых насилий — создана эта большая империя, и этого достаточно, с точки зрения государственников, чтобы навязать всему ее населению принцип насильственной «солидарности» и после низвержения старой власти. Механическая связь, исторически созданная в населении существующих государств, оказывается в их глазах самым лучшим фундаментом для постройки нового здания общественной солидарности путем обязательного подчинения меньшинства (якобы) воле большинства, или подавления коммунальной свободы».

«Окончательная политическая тенденция немецких социалистов» может быть выражена известным лозунгом национал-либералов «через единство — насильственное — к свободе» с присоединением к этому лозунгу слова «солидарность».

Но между современным буржуазным государством и социал-демократическим огромная разница и отнюдь не в пользу последнего: в буржуазном государстве управление только некоторыми интересами страны сосредоточено в руках правящего центра; в народном же — всеми: «Современное правительство — хозяин только некоторой доли материальных средств страны, «народное» же правительство — хозяин всех ее производительных сил.... Теперь граждане дисциплинируются только в казармах и лишь косвенно вне их; рядом с оффициальной наукой и с оффициальными школами мыслимы и неоффициальные; гражданин — не только подданный государства, но и сам по себе человек. В народном же государстве дисциплина (правительственная) была бы водворена на фабрике, в мастерской, словом, всюду. Здесь — все государственно, все оффициально, и наука, и пресса, и воспитание. Индивидуальности, в пределах физической возможности, должны были бы стушеваться: нет личностей, а есть только служители государства; словом, единообразие, этот идеал государственного единства, царило бы там в полном блеске и величии. Единство неслыханное и невиданное не только в монархиях, но и в теократиях. И.. это чудовищно-безобразное здание «народно-государственной» казармы покоилось бы на... демократическом фундаменте прямого законодательства».

* * *

Из идеи «народного государства» логически вытекают тактические и организационные, вообще практические взгляды германской социал-демократии, как они сложились в ходе ее развития, начиная с образования Всеобщего Германского Рабочего Союза. Идея эта заключает в себе тенденцию к сосредоточению верховного управления материальными и духовными силами и интересами страны в руках одного законодательного собрания. Поэтому «стремление к учреждению свободного народного государства» должно на практике проявляться в пропаганде и агитации в пользу расширения функций парламента «и сосредоточения их в руках социалистических вождей». Лозунг Интернационала — «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих» — сводится тут к тому, что рабочие должны добиваться перенесения «административных и законодательных функций из рук нынешних правителей в руки вождей социалистической партии». Таков реальный смысл лозунга немецких социал-демократов: «рабочие должны завоевать для себя политическую власть».

Отсюда вытекает для социал-демократов необходимость участия в избирательной и парламентской борьбе. Это участие является необходимым средством для доставления социалистическим вождям возможно большей популярности в широких массах. У буржуазных политиков и у социалистов оказывается общая цель — завладение властью — и одно поле борьбы из-за власти: избирательная агитация и парламент. С точки зрения государственного социализма, требующего, чтобы ликвидация буржуазного строя совершалась посредством

парламентских декретов, санкционируемых народным голосованием, участие социалистов в избирательной борьбе необходимо еще и потому, что оно дает им масштаб для определения роста сочувствия им в массах и для решения вопроса: велики ли или малы шансы на то, что в результате всенародного голосования получится социалистический парламент и санкция выработанных им законов. Необходимость избирательной агитации до такой степени логически вытекает из мировоззрения государственных социалистов, участие в избирательной борьбе такими крепкими и разнообразными нитями связано с их конечной целью, что оно само из средства необходимо должно превратиться у них как бы в самодовлеющую цель. А признание за избирательной агитацией и парламентской борьбой первостепенной роли в освободительном движении пролетариата с логической необходимостью ведет к централизации партийных сил и средств, так как централизация является наиболее серьезной гарантией против самовольного отвлечения отдельными кружками и секциями своих материальных рессурсов и интеллектуальных сил на местные, второстепенные или третьестепенные потребности — в ущерб общим интересам и нуждам партии, связанным с избирательной борьбой.

Но и помимо непосредственно практических соображений, принципиальная точка зрения социалдемократии на централизацию, как на спасительное начало человеческого общежития, логически требует централистической организации для рабочих партий. Социал-демократия впала бы в прямое противоречие со своими основными политическими воззрениями,

еслибы отказалась от применения этого начала в своей собственной организации — в пользу автономии местных групп...

Так я, со всеми анархистами, понимал и толковал програмные и тактические взгляды германской социал-демократии.

* * *

В своей статье я старался также проследить влияние этих взглядов на внутреннюю эволюцию социалистической партии Германии с начала 60-х годов до того времени, когда стала выходить «Община».

Указав на то, что «в истории германского социализма за последние 14—15 лет нужно различать два периода, пограничным пунктом которых можно считать Эйзенахский конгресс 1869 г., я естественно обратился прежде всего к «Всеобщему Германскому Союзу Рабочих», основанному Лассалем в 1863 г.

«Рабочее сословие должно организоваться в самостоятельную политическую партию и принять лозунгом этой партии всеобщее, равное и прямое избирательное право». Осуществление этого лозунга являлось в программе Лассаля средством создания народного парламента, который должен был декретировать государственный кредит рабочим на устройство производительных ассоциаций. Программа эта повторяла, по существу, то, что говорили французским рабочим лучшие люди 30-х и 40-х годов. Но вера Лассаля в освободительную миссию государства, основанного на всеобщем избирательном праве, была так велика, что он скорее готов был приписать все неудачи французских социа-

листов каким-нибудь второстепенным обстоятельствам, чем их роковому заблуждению, будто правительство, избранное при посредстве всеобщего избирательного права, может быть орудием освобождения рабочих. С представлением о великой исторической миссии государства соединялось тут и представление о тождестве или совпадении воли избирателей и избираемых.

Эти взгляды отразились и на организации Союза. «Отожествляя волю народных избранников с волею избирателей и веря в благодетельную силу власти», раз она избрана народом, Лассаль дал Союзу крайне централистическую организацию, с президентом, облеченным диктаторской властью, во главе. Эта организация, уже сама по себе несовместимая с развитием «привычек самоуправления» в массах, оказалась тем более вредной в этом отношении, благодаря огромному авторитету, приобретенному Лассалем среди передовых рабочих, и тону или характеру его агитации: «Я вызываю движение... Помогите же мне держать это знамя... Если большинство немецкого народа решит против меня, то это докажет... что я, стало быть, преждевременно задумал освободить его». Но этот тон в обращениях Лассаля к рабочим об'ясняется не только его громадным талантом и самомнением, но и самым его направлением. Основное тактическое положение Устава Интернационала — «освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса» — он, повидимому, только предчувствовал, но отнюдь не усвоил. Это видно, между прочим, и из его обещания рабочим, «что люди (при общем избирательном

праве), преданные их делу, поднимут за них светлый меч науки» и сумеют отстоять их интересы. Мысль об освобождении народа волею немногих избранников сидела еще крепко в голове Лассаля.

«Самым осязательным образом все последствия узости программы Союза и его диктаторской организации обнаружились, однако, только после смерти Лассаля, когда президентство и орган Союза попали в руки людей, не отличающихся ни талантами, ни честностью его основателя». Швейцер, бывший сначала редактором «Социал-демократа», органа Союза, а потом президентом, и его приверженцы, опираясь на авторитет Лассаля, использовали односторонности и дефекты его программы и агитации для того, «чтобы постепенно толкать Союз на компромисс с прусским правительством... Игнорирование Лассалем международного характера социал-демократического движения дало редактору союзного органа... возможность будить прусско-патриотические чувства в рабочих Германии, воспевать двойную миссию прусской монархии, как об'единительницы Германии и как освободительницы рабочих от ига капитала». Выдвигание на первый план всеобщего избирательного права, как единственного средства освобождения рабочих, суживая содержание пропаганды и круг идей массы членов союза, в свою очередь облегчало Швейцеру и его ад'ютантам проводить их двусмысленную политику. А диктаторская власть президента дала ему в руки необходимые средства для устранения из Союза всех наиболее «честных и умственно самостоятельных людей, выступавших против этой политики. Систематически развивая

16*

в массах безусловное поклонение Лассалю, Швейцер сам затем опирался на этот авторитет, чтобы об'являть изменником или шпионом всякого, кто осмеливался критиковать односторонность программыСоюза или антисоциалистический характер его диктаториальной организации.» Таков был результат применения на практике воззрений «государственного социализма», об «особождительной миссии правительства, избранного всеобщей подачей голосов, и принципов диктатуры и авторитета в рабочих организациях». Лассальянцы характеризовали свою организацию словами: «святая централизация».

Но наиболее передовые, наиболее сознательные и самостоятельные элементы социалистической партии, изгоняемые или сами добровольно удалявшиеся из лассальянского союза, направлялись в рабочие общества самообразования, покрывавшие тогда Германию и находившиеся под влиянием разного калибра либералов... Начала, внесенные ими в свою пропаганду, были гораздо шире и революционнее... чем пропаганда самого Лассаля».

Социалистическая оппозиция против лассальянцев, с Бебелем и Либкнехтом во главе, боролась внутри рабочих обществ самообразования против влияния и гегемонии либеральной демократии в их среде. Итог этой борьбе был подведен Нюрнбергским конгрессом этих обществ (в сентябре 1868 г.), высказавшимся за полный разрыв с буржуазной демократией и принявшим двумя третями голосов принципальные резолюции вождей новой социалистической фракции. Треть делегатов оставила после этого конгресс и заявила о своем выходе из образовательных обществ. Дух и тенденции конгресса

отчетливо проявились в признании того, что, во-первых, «рабочие Германии могут добиться успеха только в союзе с рабочими остальных стран»,что «разрешение социального вопроса возможно только при солидарном действии рабочих всех стран», а во вторых, что «интересы рабочих требуют окончательного разрыва их со своими социальными противниками и в политических вопросах». Наконец, принята была резолюция по вопросу об инвалидных кассах, исходившая из положения, что «современное государство — наш враг, и у нас, кроме борьбы на жизнь и смерть, никаких точек соприкосновения с ним быть не может».

На Эйзенахском конгрессе, состоявшемся через год после Нюрнбергского, антилассальянская оппозиция окончательно организовалась в новую социалистическую партию с программой, существенно отличной от лассалевской. Общее избирательное право, являвшееся как бы самодовлеющим требованием Союза лассальянцев, определявшим агитацию и тактику Союза, в программе эйзенахцев фигурирует, как одно из «ближайших требований», направленных против всего социально-политического режима в Германии и рассчитанных на то, чтобы гарантировать применение избирательного права в интересах пролетариата против злоупотребления им со стороны правительства и буржуазии для их целей. Доминирующее же место в программе занял пункт, требующий от членов партии руководиться в борьбе за ближайшие требования стремлением к водворению социалистического государства на развалинах современного.

«Vorbote» («Предвестник»), орган немецких сек-

ций Интернационала, издававшийся в Швейцарии Филиппом Бекером, в следующих словах формулировал лозунги Эйзенахского конгресса: «Долой классовое государство, долой веру в авторитет, долой обоготворение личностей и диктатуру! Полная самодеятельность всех и никаких уступок непримиримым противоречиям!» Эйзенахцы провозглашали также: «Долой парламентаризм, долой обоготворение всеобщего избирательного права, долой централизм!» Некоторые из них настаивали даже на полном воздержании от участия в выборах, а Либкнехт полагал, что социалистическим депутатам следует только один раз явиться в рейхстаг с протестом против всей господствующей системы и затем удалиться из этой «кунсткамеры».

Не долго, однако, эти принципы и лозунги сохранили в практике эйзенахцев свою первоначальную силу; а позже, в об'единенной социал-демократии, противоположные тенденции приобрели еще большую силу. Еще в 1872 г. эйзенахцы на своем конгрессе отвергли предложение обратиться в законодательные палаты с петицией, требующей учреждения особой комиссии для исследования условий труда, питания и, вообще, условий существования рабочих. «Такая петиция несовместима с достоинством рабочего класса», говорили некоторые делегаты. Да и на следующем конгрессе брауншвейгская партийная группа, через посредство Браке, выражала еще опасение, как бы «ближайшие требования» программы не ввели рабочих в заблуждение, будто социалисты обращаются с этими требованиями к современному государству, и будто это государство способно осуществить их.

Но уже год спустя, сам Либкнехт высказался на конгрессе в совершенно противоположном духе: «Принципоедствовать, заявил он, мы не станем; когда рабочие депутаты могут добиться чего-нибудь законодательным порядком, они обязаны это сделать». Это уже было явным отступлением от той позиции по отношению к рейхстагу, стоя на которой, Либкнехт третировал его, как «кунсткамеру», в которой представителям пролетариата нечего делать и непристойно заседать. И дальше эйзенахцы, сначала сами, а потом в единении с лассальянцами, пошли неуклонно по пути к парламентаризму и мирному реформаторству.

На этот путь толкали их избиратели, голосовавшие за социалистических кандидатов в надежде добиться при их помощи желательных реформ. На первых порах, когда число социалистических избирателей было незначительно, и шли они к избирательной урне больше из идеологических мотивов, чем из непосредственных материальных расчетов, социал-демократические агитаторы и депутаты могли еще, сравнительно, легко пользоваться выборами и парламентской трибуной, главным образом, или даже исключительно, для протестов против всего современного строя. Но по мере того, как число избирателей росло, воздерживаться от активного участия в законодательных работах рейхстага и ограничиваться на поле избирательной борьбы одной критикой этого строя и обещаниями всевозможных благ в «народном государстве» становилось все труднее и труднее.

«Этот кандидат так хорошо понимает наше положение, он так красноречиво описывает средства

для выхода из него! Несомненно он употребит все усилия, чтобы сделать что нибудь для нас в рейхстаге» — такова, приблизительно, логика рядовых избирателей. А буржуазная пресса и буржуазные политики и агитаторы своими обвинениями социалистических депутатов в индифферентизме к законодательной деятельности рейхстага, в воздержании от «положительной работы», со своей стороны, вызывают и питают в массах критическое отношение к принципиально отрицательной позиции социалистических депутатов. Приходится, поэтому, итти на компромисс и хоть частично отступать от этой позиции. Затем, избирательные победы порождают жажду к новым победам. А под влиянием этой жажды, еще более возбуждаемой пылом борьбы с конкурирующими кандидатами буржуазных партий, социалистический агитатор начинает сулить всевозможные блага, если кандидат его партии одержит победу. Это, действительно, ведет, если не всегда к полной победе, то, по меньшей мере, к увеличению числа социалистических избирателей. Возрастающие успехи опьяняют многих вожаков партии, и, сначала у некоторых из них, а потом у многих, зарождается надежда на возможность постепенно довести численность социалистических депутатов до цифры, достаточной для приобретения влияния на законодательство. Эта надежда еще более усиливает склонность агитаторов давать разные обещания во время избирательной борьбы. И в результате, масса избирателей все настойчивее пред'являет социалистическим депутатам требование вносить в парламент законопроекты в пользу рабочих, отстаивать там эти проекты и бороться за

улучшение законопроектов буржуазных партий. Я сам был в одном рабочем собрании, в конце 1874 г., где сильно порицали социалистических депутатов за то, что они отсутствовали в рейхстаге при обсуждении какого то закона или правительственного мероприятия. На конгрессе 1876 г. Либкнехта и Бебеля упрекали за воздержание от голосования по вопросу о жаловании депутатам. В ответ на их попытку оправдать свою позицию тем, что они считали ниже своего достоинства голосовать за проект, много раз отвергнутый правительством, им заявили: «Вас посылает в рейхстаг народ, вы и обязаны поступать сообразно его желаниям».

Против двойного напора — рабочих масс, с одной стороны, и буржуазных партий, с другой — и самые твердые характеры не могут устоять: им остается совсем отказаться от участия в парламенте и в избирательной агитации, или же — вступить на путь чистого парламентаризма. Но в виду того, что для социалистов-государственников участие это является жизненным нервом их партии, отказ от избирательной и парламентской борьбы был бы для них своего род самоубийством. И потому им пришлось, волей неволей, итти на избранном пути до его логического конца.

По поводу выборов 1877 г. (в январе) рабочие депутаты обратились к избирателям через центральный орган партии «Vorwärts» («Вперед») с таким заявлением: «Если вы хотите, чтобы мы для вас сделали что-нибудь законодательным порядком, то пошлите в рейхстаг возможно большее число социалистических депутатов». Затем, в ряде статей

в том же органе доказывается великое значение общего избирательного права, как орудия мирного и постепенного решения социального вопроса. И это писали и говорили те же люди, которые прежде провозглашали: «долой обоготворение всеобщего избирательного права!» В новоизбранный рейхстаг социалистическая фракция внесла два законопроекта: один в пользу избирательной реформы, другой в защиту труда. До сих пор основатели эйзенахского направления колебались еще между парламентаризмом и революцией. Отныне они уже стали парламентарными-постепеновцами. Первоначальные лозунги и тенденции эйзенахцев окончательно стушевались и улетучились. Они уступают место стремлению к мирному и спокойному развитию, к концентрации всех сил на постепенном и медленном реформировании законодательства. Ради этого чуть ли не большинство агитаторов старается убедить все классы общества, в особенности, мелкую буржуазию и мелкое чиновничество, в благонамеренности социал-демократии, в ее отвращении к революции. С лихорадочным рвением изыскивают они мостики для мирного и законного перехода от существующего общественного строя к социалистическому.

Параллельно с отступлением от своей первоначальной, относительно, революционной тактики, эйзенахцы, уже до об'единения с лассальянцами, начали отступать от своей первоначальной позиции и в организационных вопросах. Государственная точка зрения немецких социалистов неуклонно влекла и бывших эйзенахцев к концентрации всего

управления делами партии в руках одной, облеченной огромными полномочиями, руководящей группки. А в каком направлении и смысле должна была действовать централистическая организация партии на ее внутреннее развитие, это не трудно понять и представить себе.

Всякая передовая партия состоит, в начале, из небольшого числа лиц, горячо преданных своим убеждениям, со всей страстью и энергией борющихся за них. Как пионеры новых идей и, как обыкновенно бывает, мученики за них, они постепенно становятся авторитетами не только для своих активных сторонников, но и в глазах людей, только сочувствующих им. Но история не стоит на одном месте. Под влиянием новых событий и новых потребностей зарождаются новые идеи и стремления. К сожалению, мало людей, способных всю жизнь сохранить в себе чуткость ума и сердца, необходимую для понимания новых идей. Вчерашняя группа энергичных и даровитых борцов за счастье человечества может сегодня оказаться противницей новой группы людей, понимающих это счастье шире и стремящихся к нему иными путями, чем их предшественники. Представителям нового революционного направления приходится в этом случае вести борьбу на два фронта: против привилегированного общества, опирающегося на грубую материальную силу, и против почтенных, но отсталых друзей народа, опирающихся на свой нравственный и умственный авторитет.

В организации, основанной на автономии групп, внутреннее развитие партии может более или менее замедляться только под давлением нравственного

авторитета старых вождей. Здесь каждая группа имеет самостоятельную жизнь, а потому даже принципиальная программа не принимает характера церковного догмата с его атрибутами — закаменелостью и святой неприкосновенностью. Так как пропаганда и вообще духовная жизнь партии, построенной на принципе автономии, не направляется облеченным властью оффициальным центром, и члены ее не воспитаны в привычке обязательно думать и действовать по одному, оффициально предписанному шаблону, то весьма возможно, что в то время, когда одни группы еле-еле дошли до понимания только идей ее основателя или старых вождей, другие уже опередили эти идеи и прокладывают дорогу программе, гораздо более радикальной — и в принципиальном, и в практическом отношении. Инициаторам нового течения не приходится в этом случае опасаться ослабить или разрушить партийную организацию, потому что жизненность ее обусловливается не столько единообразием теоретических и практических воззрений всех ее секций, сколько широкой самодеятельностью и инициативой каждой из них. С другой стороны, ветераны партии не могут парализовать новое движение, потому что, хотя они и пользуются в ней уважением и личным доверием, но они не обладают властью, которая давала бы им возможность требовать послушания от отдельных групп и лиц. Поэтому, в федеративно-организованной партии, воззрениям ее основателей или старых авторитетных представителей трудно превратиться в неприкосновенный догмат для всех ее частей, ибо прежде чем это случится, в некоторых партийных

секциях может возникнуть и с успехом распространиться более широкое и более революционное направление.

В противоположность федеративной организации, централистическая организация дает в руки старых вождей не только духовные, но и материальные средства для борьбы с оппозиционными течениями. Никакое литературное предприятие не может рассчитывать на успех, если оно не одобрено центральным комитетом и центральным органом. От правящей группы зависит, дать или нет ход тому или другому агитатору. Никакой талантливый рабочий не сможет выдвинуться в роли агитатора, если он почему либо вызвал против себя подозрительность или неудовольствие партийного правительства. Зато лица, заслужившие доверие партийных властей, послушные их велениям, всегда могут рассчитывать на их моральную и материальную поддержку. Таким образом, постепенно создается материальная и нравственная связь между верховными правителями партии и целой массой средних и низших чиновников-агитаторов, редакторов, администраторов и т. д.

Партия принимает характер иерархической организации, напоминающей отчасти церковную иерархию в том отношении, что и в ней во главе стоит своего рода корпорация, обладающая не только моральным авторитетом, но и организационным аппаратом и финансовыми средствами, необходимыми для сохранения и упрочения ее привилегированного положения и для успешной борьбы против всяких «лжеучений». И так же, как главы церкви, эта корпорация отстаивает свою власть

против всяких покушений на нее во имя высших интересов. Правда, враждебное отношение партийных властей ко всякой оппозиции и в данном случае диктуется отчасти чувством самосохранения людей, материально и психологически связанных между собою и с организацией, управляемой ими. Но эта примесь личного интереса не мешает им видеть совершенно искренне в своих внутрипартийных противниках-новаторах — врагов, опасных для существования самой партии, воплощающей в себе высшие интересы и стремления передового человечества. Проникнутые верой в свое великое призвание хранителей и распространителей истины, они считают себя не только в праве, но и обязанными не останавливаться и перед репрессивными мерами против оппозиции, опасной, по их мнению, для целости партийного организма. Мало того, даже члены партии с независимым характером, в головах которых зарождаются новаторские тенденции, долгое время не решаются пропагандировать их, из опасения подорвать целость организации, на которую они привыкли смотреть, как на святыню, исторически предназначенную спасти человечество от всех бед и неправд, тяготеющих над ним. В такой психологической атмосфере широкий простор для индивидуальной и местной инициативы и самостоятельности считается опасным для самой жизни партии, а обязательное повиновение заправляющему центру — высшей добродетелью и необходимым условием для роста партии и для ее успеха в борьбе.

В первые годы существования Эйзенахской партии в ней заметны еще колебания борьбы между тенденциями федеративной и централистической.

Конгресс 1870 г. нашел нужным еще раз подтвердить право местных групп или секций самим назначать свою администрацию, независимо от центрального комитета. Пример лассальянской организации, в которой диктатура центра подавляла революционную оппозицию и самодеятельность местных групп, был налицо и отталкивал эйзенахцев от централизации управления партией. Но, очевидно, центральный комитет партии очень скоро начал претендовать на роль верховной власти в ней, если первый же конгресс после основания партии нашел нужным специально оградить административную автономию ее секций против покушений на нее со стороны центра. Но ни эта, ни другие предохранительные меры против централизма и бюрократизма не спасли партию от развития в ней этих злокачественных болезней.

Уже в 1872 г., на Майнцском конгрессе, раздаются жалобы на централистические и диктаторские претензии центрального комитета. Но на этот раз уже центр одерживает победу над оппозицией. Конгресс расширил его полномочия, предоставил ему право вмешиваться во внутренние дела местных групп и постановил, чтобы деньги, собираемые ими в пользу преследуемых товарищей и их семейств, отсылались в центральный комитет в полное его распоряжение. Кроме того, запрещено было существование двух групп в одном месте, и с того времени центральный комитет мог по своему усмотрению распускать ту или другую из местных секций. Упреки центральному комитету в том, что он чересчур усердствует своим стеснительным вмешательством во внутренние дела отдельных ветвей

партии не прекращают раздаваться и на следующих конгрессах.

Но в конце концов, восторжествовала организационная линия центра. Местные группы и в выборе своих должностных лиц лишились всякой самостоятельности. Центральному комитету предоставлено было право утверждать или кассировать их выборы. Мало того, он получил право и смещать местных выборных администраторов с их должности.

Такую же борьбу и с таким же успехом центральный комитет вел и против свободы партийной периодической печати. Сначала он встречает резкий отпор; требования его квалифицируются, как попытки «ввести цензуру в партии, написавшей на своем знамени свободу печати», как стремление организовать в партии «правительственную прессу», «усилить власть администрации» и «ввести в партии казарменное единство».

Но фанатики «правительственной цензуры в партии» все же, в конце концов, восторжествовали над оппозицией, когда эйзенахцы об'единились с лассальянцами. На об'единительном конгрессе 75 г. правление получило право смещать редакторов и экспедиторов главных органов партии и назначать им помощников; постановлено было, что для издания местных органов необходимо разрешение высших властей партии, и что в тактических вопросах они обязаны следовать указаниям или предписаниям правления.

На следующем конгрессе мы уже не слышим протестов против диктаторских или централистских тенденций партийных властей. Все повидимому

примирились с централизацией, как с формой организации, наиболее соответствующей жизненным интересам партии; послушание и дисциплина становятся общепризнанными высшими добродетелями граждан партийного государства.

Другим спутником и результатом победы централизма над федеративным началом было образование довольно многочисленной бюрократии, проникнутой рутиной и консерватизмом, подозрительностью и даже враждебностью ко всяким новшествам или тенденциям, кажущимся ей опасными для «священных основ» партийного здания. Большинство этой бюрократии — агитаторы, депутаты, литераторы, разного рода администраторы — живет на средства партии, без чего они не имели бы возможности всецело посвятить ей свои силы и свое время. Отсюда необходимость для них дорожить своим местом уже просто в силу материальных соображений. Но эти места в большинстве случаев — или, по крайней мере, во многих случаях — прямо или косвенно зависят от партийных властей. Поэтому, между высшими и нисшими должностными лицами должно было установиться нечто в роде корпоративной связи, основанной на материальных интересах. Но эта материальная связь освящается высшими интересами и покоится на моральной основе не только в глазах партийных низов, но и в глазах самой партийной бюрократии. Ведь вся она — или, по крайней мере, подавляющее большинство ее членов — составляет передовую фалангу борцов за интересы пролетариата, всех их сажают в тюрьмы и на разные лады преследуют. И все они — или, во всяком случае, лучшие из них — искренно,

горячо верят в свою высокую миссию и в благотворность своей деятельности для трудящихся и эксплоатируемых масс.

Третьим последствием все большего усиления централизма в партийной организации были рутинность и шаблонность в пропаганде и вражда против новых, более радикальных тенденций. Не только принципы, но и тактические взгляды и приемы признаны были как бы неприкосновенными догматами. Давно уже перестали раздаваться голоса против «обожествления» всеобщего избирательного права и парламентаризма. Все как бы твердо уверовали, что других путей для освободительного движения пролетариата нет и быть не может. Все прониклись убеждением, что критика или отрицание этих путей тождественны с покушением на самое существование партии. И, конечно, наиболее фанатичными и непреклонными в этом отношении явились чиновники, «слуги партии». Инстинкты личного и корпоративного характера заставляют их быть настороже против новых идей и возбуждают в них ненависть против представителей этих идей, как против опасных политических соперников.

Но новые, более революционные идеи все таки начали проникать в социалистический пролетариат Германии. И тотчас же чиновный мир германской социал-демократии об'являет их носителям войну на жизнь или на смерть. «Наша партия растет не по годам, а по месяцам, заявляет бюрократия: Если дело ее пойдет так и дальше, она постепенно приобретет большинство в рейхстаге и сможет мирным путем реформировать государство. Мы должны поэтому вести себя смирно, чтобы не давать Бис-

марку предлога к уничтожению нашей организации». А тут вдруг появились анархисты, выступающие против парламентаризма и мирных, законных средств и доказывающие рабочим необходимость готовиться к кровопролитным сражениям с буржуазией. «Эти люди, с ужасом восклицают высшие и нисшие власти партии, стараются сбить нас с легального пути и тем самым работают на пользу наших врагов. Они только о том и мечтают, чтобы получить возможность уничтожить партию. Эти люди, следовательно, или подкуплены правительством, или просто идиоты. В обоих случаях их нужно изгонять из нашей партии и из наших собраний».

Таков же психологический источник открещивания вождей социал-демократической партии и ее руководящей прессы от всякой моральной солидарности с организаторами и участниками таких революционных выступлений, как наша казанская демонстрация и беневентская попытка. Того и гляди, как бы эти выступления не послужили заразительными примерами для германских рабочих и не вызвали бы с их стороны сочувственных откликов, которые могли бы дать правительству повод к обвинению рабочей партии в тайной подготовке насильственной революции.

В итоге, германская социал-демократическая партия, в очень существенных отношениях, вернулась к тому пункту, на котором стоял Общегерманский Рабочий Союз после смерти Лассаля.

Но организация Союза не успела достаточно окрепнуть и поглотить в себе лучшие и наиболее сознательные элементы рабочего класса Германии

17*

к тому времени, когда оппозиция начала идейно и организационно оформляться. Благодаря этому, оппозиционные элементы могли в несколько лет сложиться в особую партию, победоносно конкурировавшую с лассальянским Союзом, и постепенно настолько повлиять на его дух и направление, что стало возможным партийно-организационное слияние эйзенахцев с лассальянцами. Далеко не в таком положении находится недавно зародившаяся оппозиция внутри об'единенной германской социал-демократии. Ей, с первых же шагов, приходится вступить в борьбу с могущественной организацией, вооруженной широко распространенной прессой и сильным административным аппаратом, обладающей многочисленным персоналом должностных лиц, связавших с ней свою судьбу, и богатыми финансовыми рессурсами, насчитывающей в своих рядах десятки тысяч рядовых и унтер-офицеров.

* * *

Факты, однако, говорят за то, что в Германии все таки развивается федералистическое направление. Дюринг, бывший приват-доцент в Берлинском Университете, лишившийся права преподавать в его стенах за свой радикализм, уже несколько лет тому назад выступил на теоретическую защиту организации общества снизу вверх, то есть путем свободного договора между собою общественных групп и коммун. Затем, несмотря на противодействие руководящих органов партии проникновению федералистических тенденций в ее среду, они все таки пробивают себе путь в социал-демо-

кратической прессе. Ряд статей разных авторов о передаче средств производства и обмена в руки общин, о необходимости создать в «народном государстве», рядом с политическим центром, особые экономические центры, чтобы гарантировать общество против концентрации чрезмерной власти в руках центра, наконец, обилие статей, трактующих вообще о гарантиях свободы в «социалистическом государстве», — все это указывает на наличность в среде немецких социалистов умственного брожения и потребности критически отнестись к традиционным политическим воззрениям партии. Но рядом с литературными симптомами нарождения и распространения новых тенденций в социал-демократии, в некоторых центрах Германии возникли уже и прямо анархические группы.

Два факта дают основание надеяться на дальнейший рост анархического течения.

Принятие рейхстагом исключительного закона против социалистов заставит более свежих и энергичных социалистических рабочих распроститься с тактикой, основанной на участии в выборах, и с мечтаниями о мирных парламентских победах; придется вступить на путь тайной пропаганды и тайной организации своих сил. Другой факт имеет особенно большое значение специально для распространения в Германии симпатий к федерализму. Благодаря многовековой политической децентрализации Германии, в ней не создалось такого общегосударственного или национального центра, который, как, например, Париж, поглотил бы в себе всю интеллигенцию и все живые силы страны. Интеллектуальные и политически активные силы

распределены более или менее равномерно по Германии, между многими провинциальными и областными центрами. Поэтому социалистическая агитация велась равномерно в разных частях Германии, и Берлин отнюдь не является самодовлеющим, всепоглощающим центром ее рабочего движения. В такой же, или приблизительно в такой же мере, центрами его являются Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт на Майне, Гамбург и даже такой провинциальный город, как Хемниц. Уже одно это обстоятельство очень неблагоприятно для тайного (нелегального) централизованного управления такой большой партией, как германская социал-демократия. А к этому присоединяются еще исторически образовавшиеся привычки местной обособленности. Патриотическое увлечение «объединением» Германии под скипетром императора могло временно ослабить партикуляристские тенденции. Но императорское правительство успело уже воочию показать сомнительные прелести государственной централизации. И это, конечно, должно также пойти на пользу федералистического начала в партийной организации, вынужденной существовать и действовать нелегально.

* * *

На этом я закончу изложение содержания своей статьи «Итоги германской социал-демократии». Отмечу еще только, что мои предсказания относительно влияния исключительного закона на дальнейшее развитие партии в сторону анархизма отнюдь не сбылись: в действительности, социалистическое движение и тех стран, где в нем многие годы господ-

ствовал анархизм, через несколько лет начало подвергаться влиянию социал-демократии. А что касается до меня лично, то, я, повидимому, уже в ходе своей работы над этой статьей незаметно для самого себя, бессознательно заражался социал-демократическими ересями.

Крапоткин, должно быть, инстинктивно почувствовал это в некоторых местах статьи и, особенно, в тоне и общем характере моей критики. Уже одно то, что я в предисловии отметил относительную социалистическую революционность социал-демократии в Германии, должно было его шокировать. Для меня же, несмотря на мое анархическое правоверие, было ясно, как день, что в Германии, где «более революционная (т. е. анархическая) фракция еще не выступила на историческую сцену», социал-демократия являлась революционной партией политически наиболее сознательных слоев рабочего класса.

Конечно, решающее влияние на мою оценку ее исторического значения имели впечатления, вынесенные мною из прошлого эйзенахской фракции. Эти впечатления далеко еще не улетучились, когда я начал писать свою статью. Энергичная агитация центрального комитета этой фракции против насильственного присоединения Эльзаса и Лотарингии к Германии, энергичные и настойчивые требования эйзенахцев, с Либкнехтом и Бебелем во главе, заключить с Французской Республикой «справедливый мир», повсеместные заявления массы членов и прессы эйзенахской фракции об их полной солидарности с французским пролетариатом и о горячем сочувствии водворению республиканского

режима во Франции на развалинах бонапартовской монархии, наконец, смелые речи Бебеля в парламенте в защиту Парижской Коммуны и мужественное, гордое поведение того же Бебеля и Либкнехта на процессе по обвинению их в «государственной измене» — все это были несомненно революционные акты. Не даром центральный комитет эйзенахской фракции был арестован, и члены его в цепях отвезены в крепость Плецензе. И отнюдь не без серьезного основания прусское правительство отомстило Бебелю и Либкнехту, добившись осуждения их на довольно продолжительное тюремное заключение.

Перечитывая во время писания моей статьи речи Бебеля и Либкнехта в конце 60-х и начале 70-х годов, я также не мог не ощущать в них сильнейшим образом влияние революционного духа. Вот, несколько образцов их тогдашних выступлений в парламенте и собраниях.

Когда в рейхстаге в 71 г. обсуждался вопрос об основных законах империи, Бебель вызвал немалое негодование депутатов таким заявлением: «В рейхстаге бесполезно рассуждать об основных правах до тех пор, пока у тех, кто о них рассуждает, не будет непреклонной решимости овладеть ими во что бы то ни стало, хотя бы и силой... Что же до нас касается, то мы надеемся еще раньше конца 19 века не только завоевать, так называемые, основные права, но и осуществить всю нашу программу». И в той же сессии рейхстага он по поводу поражения Парижской Коммуны сказал: «Пусть на этот раз Париж побежден, но, говорю вам: парижская битва — не более, как форпостное сражение;

настоящая битва еще впереди, и не пройдет нескольких десятилетий, как боевой клич парижского пролетариата: «война дворцам и мир хижинам, смерть тунеядцам и конец бедствиям народа!» превратится в боевой клич всего европейского пролетариата»...

Не помню, в этой ли речи, или в другой, Бебель, к ужасу и возмущению всего парламента, заявил, что совершенно напрасно возмущаются мнимыми жестокостями и ужасами Парижской Коммуны. Наоборот, «она грешила противоположной крайностью; когда мы (то есть, немецкие социалисты) окажемся в подобном положении, то мы не будем так снисходительны к нашим врагам».

Либкнехт по поводу новой германской (имперской) конституции сказал, между прочим, следующее: «Мы — решительные противники парламентской деятельности; центр тяжести нашей работы — вне парламента; вопросы, волнующие теперь Германию, могут быть решены только силой, следовательно,не в парламенте, а в другом месте... Наша партия стоит вне рейхстага, она ему враждебна». Но не только в рейхстаге, но и вне его, в народных собраниях, Либкнехт так же резко, даже еще резче высказывался против активного участия социалистов в работах рейхстага и доказывал необходимость для пролетариата готовиться к решительной битве на улицах и площадях, с оружием в руках. И только под углом зрения подготовки к этой битве, именно с целью подготовлять ее, он признавал относительное значение избирательной агитации и допускал выступление

представителей социал-демократии на парламентской трибуне.

Впечатления от этих и других революционных выступлений вождей эйзенахской партии, воспоминания обо всем ее славном прошлом остались во мне живы в то время, когда я писал свои «Итоги». Этому, вероятно, главным образом, я обязан тем, что анархические взгляды и анархическая среда не могли вытравить из моего сознания представления о том, что германская социал-демократия еще не совсем утратила свою революционную миссию, даже в годы, предшествовавшие времени господства исключительного закона, когда в партии начали преобладать оппортунистические тенденции, заслуживавшие строгой критики не с одной только анархической точки зрения. И я думаю, что те из видных анархистов, которые всецело игнорировали исторические заслуги германской социал-демократии, как истинно классовой пролетарской партии, и в своем доктринерском ослеплении относились к ней высокомерно и почти презрительно, как к безусловно антиреволюционной силе, проявили в этом случае недостаток широкого исторического и политического кругозора.

XII. ПЕРЕХОДНЫЙ МОМЕНТ.

Кризис народничества. — Моя статья в последнем № „Общины“. — Несколько замечаний о моей статье.

Последний номер «Общины» вышел в свет в конце 1878 г., в то время, когда в России среди народников уже назревали те разногласия, которые привели к расколу самой сильной тогда революционной организации — Общества «Земля и Воля» — на две партии: «Народную Волю» и «Черный Передел». Как известно, разногласия эти вращались вокруг вопроса о политической борьбе и политическом терроре. Часть народников, в состав которой входило большинство наиболее революционно активных и влиятельных землевольцев, организовавших потом партию «Народной Воли», настаивала на том, чтобы революционные силы концентрировались на борьбе с абсолютизмом террористическими средствами. Другая часть землевольцев — будущие «чернопередельцы» — отстаивала старую, принципиально отрицательную позицию русских социалистов по отношению к политической борьбе. Промежуток времени с конца 78 г. до раскола Общества «Земля и Воля» в следующем

году был переходным моментом в развитии революционного движения 70-х годов, переходным от периода господства народнического «экономизма» к периоду народнической политической борьбы, под лозунгом — «Народная Воля».

Момент этот тяжело, можно сказать, трагически переживался многими революционерами. Партия переживала, в самом деле, серьезный кризис, вызывавший в ее рядах тем большие опасения и тревоги, что она, в целом, очутилась в тупике, из которого нельзя было найти выход.

В конечном счете, кризис этот обусловлен был чрезвычайным несоответствием между *задачами* партии и наличными *общественными силами*, способными и готовыми прямо и косвенно поддерживать ее в осуществлении этих задач. Но *непосредственным* источником кризиса было противоречие между идеологией, определявшей суб'ективные цели и стремления революционеров, и той основной, исторической задачей, которую ставила перед ними русская действительность.

Задача эта заключалась в борьбе за радикальную ликвидацию социального и политического режима, унаследованного «пореформенной» Россией от эпохи государственного и помещичьего крепостничества. Идеология же, которой руководились революционеры и которая их вдохновляла на самоотверженную и героическую борьбу, предписывала им преследовать совершенно другую, утопическую задачу: подготовлять «экономическую революцию снизу», с *непосредственной целью* воспрепятствовать торжеству капитализма в России

и заложить прочную основу для развития ее на социалистических началах — раньше, чем капиталистическое развитие пустит глубокие корни в ней.

Морально обязывая революционеров концентрировать все свои помыслы, силы и энергию на преследовании именно этой утопической цели, эта идеология не только отодвигала на задний план самую мысль об очередной исторической задаче революционного движения в императорской России, но и прямо дискредитировала эту задачу в сознании русских социалистов-семидесятников. Ведь победоносная социалистическая революция, рассуждали они, не может не уничтожить попутно царского самодержавия и сословных привилегий. Раз великая народная революция водворит общественный строй на основе экономического равенства и свободы, она этим самым положит радикальный конец также и режиму всеобщего политического бесправия и экономических и сословных привилегий дворянства. Устранение же только этого режима, само по себе, не только не может привести к полному экономическому и политическому освобождению народных масс, но, наоборот, даст только могучий толчок развитию новой, капиталистической формы эксплоатации их и доставит социально-политическое господство над ними новому классу — буржуазии. С этой точки зрения, борьба специально «за права человека и гражданина» представлялась делом одних только имущих классов; для социалистов же ставить себе целью завоевание одних только этих прав означало совершить предательство по отношению к «народу» и своим собственным социалистическим идеалам.

Действительность оказалась, однако, сильнее революционной идеологии и заставляла социалистов на каждом шагу совершать это «предательство». Революционное движение эволюционировало в сторону борьбы с устарелым политическим и социальным режимом. Но эволюция эта носила характер стихийного процесса, участники которого воображали, что подвигаются вперед в намеченном ими самими направлении, в то время, как благодаря об'ективной логике их собственного движения, они, фактически, шли в противоположном направлении. И по мере того, как подымалась волна революционного движения, усиливалась активность революционеров и расширялись их сношения и связи с разными общественными кругами, развивалось и противоречие между практикой и идеологией революционной партии.

Ведь програмный боевой лозунг народников, — «Земля и Воля!» — который они считали социалистическим, по своему реальному, об'ективному смыслу, обнимал обе части задачи борьбы со старым режимом — и социально-экономическую, и политическую: бороться за «землю», т. е. за экспроприацию помещичьих земель в пользу крестьян, значило добиваться уничтожения социального базиса царского самовластья, а борьба за «волю» не могла не быть фактически борьбой против самого абсолютистского режима, охранявшего сословный строй и, со своей стороны, опиравшегося на этот строй. И само собою ясно, что без нанесения смертельного удара старой самодержавной власти, т. е. независимо от борьбы за политическую свободу или «волю», невозможно было завоевать и «землю» для крестьян.

Но необходимой теоретической предпосылкой для такого понимания основного пункта народнической программы являлось понимание исторической неизбежности торжества капитализма в России и необходимости его торжества в интересах масс и их социалистического развития. А русские революционеры, включая и тех, которые уже в 78 г. начали сознавать необходимость вступить в борьбу с правительством специально для завоевания политической свободы, оставались верны противоположной, утопически - социалистической точке зрения на историческую роль капитализма, вообще, и на шансы его развития в России, в частности. Не только противники, но и сторонники поворота на путь политической борьбы теоретически оставались еще на почве старой идеологии революционного движения. Сторонники этого поворота обосновывали и мотивировали его необходимость эмпирическими соображениями, эклектически сочетая свои новые политические взгляды со старыми теоретическими воззрениями партии. Это не облегчало, а затрудняло борющимся сторонам придти хотя бы только к компромиссному соглашению. Стихийный характер эволюции движения в сторону политической борьбы сказался и тогда, когда практическая необходимость этой борьбы уже сознавалась или начала сознаваться в партии. В том, что последняя очутилась в этот момент в критическом положении он сыграл, если не единственную, то первостепенную роль.

Обстоятельнее я намерен остановиться на генезисе и внутреннем смысле партийного кризиса 78—79 гг. во второй части моих воспоминаний,

в связи с более глубоким и гораздо более длительным кризисом 80-х годов и с оценкой исторической миссии Плеханова, как пионера марксистского течения в русской общественной мысли и основателя российской социал-демократии. Дело в том, что исторические корни и реальный смысл обоих кризисов, по существу, одни и те же. Но в то время, как первый кризис как бы подводил итог только землевольческому периоду народнического движения, второй был результатом и проявлением ликвидации всего этого движения в целом и сопутствовал процессу зарождения совершенно нового революционного направления на русской почве — социал-демократического.

* * *

Приступая к составлению последнего номера «Общины», редакция ее уже имела, хотя и не совсем конкретное, но все же довольно определенное общее представление о том, что в партии происходит какое-то брожение и готовится какой-то перелом. Из рассказов и сообщений товарищей, приезжавших в Женеву из России, мы заключали, что партия переживает критический момент, сопровождаемый идейным разбродом и появлением в ней противоречивых тенденций, опасных для ее дальнейшего развития.

Из симптоматических явлений тревожного характера особенные опасения вызывала во мне тенденция ликвидировать влияние «западного социализма» на наше движение и совсем забросить социалистическую пропаганду. Нужно «сбросить

с социализма его немецкое платье» — писал Кравчинский (Степняк) в програмной статье первого номера появившейся в октябре 78 г. газеты «Земля и Воля» — и «одеть его в сермягу»[1]). В. Н. Фигнер специально подчеркивает в своем «Запечатленном Труде», что уже в 1876 г. народничество освободило русское революционное движение от влияния на него «постановки социального вопроса на Западе». Это именно то самое, что Степняк образно выразил в только что цитированных словах, с той только разницей, что он, очевидно, не считал влияние «западного» (т. е. утопического) социализма на русских революционеров так радикально ликвидированным, как думает Фигнер. В самом существенном пункте русские революционеры, включая Степняка и Фигнер, в действительности, все же оставались во власти утопического социализма. Хотя они выступали под отнюдь не социалистическим флагом «Земли и Воли», землевольцы еще в 78 г. считали недопустимым для русских революционеров стремиться непосредственно к иной цели, кроме социалистической революции, и воображали, что в самом деле подготовляют такую революцию.

Как бы то ни было, я и мои товарищи по редакции безусловно отрицательно относились к стремлению народников отгородиться от западного социалистического движения и в этом, как в некоторых других, тревожных, с нашей точки зрения, явлениях, усматривали симптомы уклона от социа-

[1]) Эту же мысль развивал Стефанович в статье „Наши задачи в селе“, напечатанной в последнем номере „Общины“.

листического пути и наличность опасного кризиса в партии. По поручению редакции я написал для последнего номера «Общины» большую статью, под заглавием «Переходный момент нашей партии», в которой пытался выяснить причины этого кризиса и указать путь или пути к его преодолению.

Так как я в то время собирался вскоре отправиться в Россию, то особенно охотно принял предложение своих товарищей. Мне улыбалась перспектива заранее, до встречи с товарищами в самой России, познакомить их таким путем с моим взглядом на внутреннее состояние партии. С моей теперешней точки зрения, эти взгляды не выдерживают никакой критики. Но ими я руководился в своей деятельности в России и в своих отношениях к боровшимся там тогда революционным течениям и группам. В виду этого мне кажется уместным возможно полнее и возможно ближе к подлиннику передать здесь содержание своей статьи. Это меня избавит от необходимости, для об'яснения своего образа действия в России, прерывать часто в следующих главах нить рассказа о своих личных впечатлениях и наблюдениях там.

Отметив, что партия находится в состоянии «неопределенности и брожения», и что это состояние «долго продолжаться не может, я писал: «Неминуемо настанет момент, когда элементы, составляющие теперь ее, должны будут вполне определиться, как относительно целей и средств, так и взаимных отношений. Остается только спросить себя, в каком направлении совершится это самоопределение русских революционеров. Их теперешние социалистические тенденции могут, при

благоприятных обстоятельствах, развиться до полной, последовательной и широкой программы социалистического федерализма, приспособленного в его практическом применении к специфическим условиям русской жизни; и эти же тенденции могут улетучиться и превратиться отчасти в якобинизм, отчасти в конституционализм».

Для того, чтобы найти благоприятный выход из этого критического положения, необходимо прежде всего оглянуться назад, на пройденный нами путь, и отдать себе добросовестный отчет в нашей деятельности и ее результатах. «Постараемся безбоязненно указать друг другу на наши ошибки и недостатки».

Исходным пунктом нашего движения (73—74 г.) было стремление осуществить свободную федерацию общин, на основе коллективного пользования землей и всеми орудиями труда. Единственным путем, ведущим к этой цели, признано было возбуждение народной инициативы и самодеятельности, как в борьбе с нынешним строем, так и в деле создания нового порядка на развалинах старого. «Для якобинцев, предлагающих народу счастье и благоденствие под опекой мудрой власти, сознательность народных масс — вещь, если и не совершенно излишняя, то по крайней мере второстепенная; лишь бы они шли на вооруженный бой с нынешними правителями; дальше — это уже не их ума дело, а кучки авторитетных вождей, предназначающих себя на места старого правительства. Анархисты же смотрят на народ не как на пушечное мясо, а как на силу, призванную на великое дело сознательного разрушения существующего строя

и столь же сознательного созидания нового порядка на совершенно новых основаниях».

И вот, не смотря на то, что прошло уже несколько лет со времени возникновения нашего движения, у нас не только еще нет «правильно организованной народной партии», но и мы сами не сумели еще организоваться в партию, в которой цели и средства не противоречили бы друг другу. Наоборот, мы раздробились на массу кружков под разными наименованиями: «бунтари», «народники», «пропагандисты», «общинники» ... все это клички разных групп, провозглашающих обрывки разных идей, подчас столь же противоположных, как вода и огонь, программой, вполне обнимающей задачи и интересы всей социалистической партии... Нашлись и такие, которые об'явили себя «анархическими якобинцами». А сколько среди нас таких, которые склоняются к якобинству, даже не подозревая этого. Вообще, у нас очень мало сознательных и последовательных якобинцев; но ведь бессознательность и есть злейший враг человечества.

«Спрашивается: какими же причинами обусловлен этот крайне печальный результат нашего революционного движения?»

Главнейшая (об'ективная) из них коренится в условиях русской жизни, с одной стороны, заставивших теоретически и практически неподготовленную молодежь бросить школьную скамью, чтобы взять «исключительно на свои плечи столь грандиозную задачу, как подготовление рабочих масс к сознательной и организованной борьбе» с насилием и эксплуатацией, а с другой, препят-

ствовавших ей пополнять свои знания и быстро исправлять свои ошибки сообразно указаниям опыта. Из этих ошибок первая и основная «заключалась в том, что мы отправились на дело, требующее всюду, а тем более в России, громадных усилий целых поколений, с надеждой на получение быстрых и блестящих результатов». Затем мы, благодаря детскому пониманию сущности социального переворота и условий его осуществления, впали в другую, столь же роковую ошибку. «Социально революционное дело представилось нам не как совокупность разнообразных, взаимно связанных функций или родов деятельности, изменяющихся соответственно среде и разнообразию местных особенностей нашей уродливо громадной империи, а как однородная деятельность, состоящая исключительно в непосредственной пропаганде и агитации среди крестьян». Действительным революционером мы признавали только того, кто наряжался в крестьянскую сермягу, и считалось преступлением против народного дела сдерживать наплыв почти мальчиков и девочек на пропаганду среди рабочих (т. е., среди крестьян), изменником считался тот, кто советовал наблюдать некоторую постепенность при переходе с гимназической скамьи на практическую деятельность. Отсюда — «непростительно безалаберный характер нашего «хождения в народ», походившего скорее на пилигримство верующих, но легкомысленных толп из мужчин, женщин и детей к святым местам, чем на серьезно обдуманное дело сознательной организованной революционной партии».

Благодаря «летучему» характеру пропаганды этого периода, она не могла дать сколько-нибудь серьезных результатов. Перелетая из села в село, из одной местности в другую и ... выкладывая повсюду на один и тот же лад весь принесенный с собой запас революционных идей, нельзя было ничего путного сделать, ни в интересах пропаганды, ни в интересах изучения условий жизни и взглядов крестьян разных местностей. Поэтому, когда затем яснее определилась необходимость осесть на местах для революционной деятельности в народе, то оказалось, что предыдущее «хождение в народ» не оставило по себе никаких опорных пунктов для этого. И общая черта «начала периода локализации, насколько мне известно, состоит или, по крайней мере, состояла опять таки в шаблонности приемов, в отсутствии определенных практических целей и ясного понятия о способах их осуществления». Нечего, поэтому, удивляться незначительным результатам нашей деятельности в селах.

Незначительны эти результаты и в городах. Так как общественное мнение революционной молодежи признавало действительным революционером только того, кто непосредственно занимается пропагандой в селах, «то пропаганда в городах отступила более, чем на задний план, и велась спустя рукава, как случайное и временное занятие... Не вопрос о наибольшей пользе, которую данное лицо может принести, определял выбор среды и рода деятельности, а мотив нравственного самоуслаждения. Городская среда не удовлетворяла этому чувству, а потому

мы среди городских рабочих очень, очень мало сделали».

Мы пренебрегли также организацией возможно более обширной и разносторонней социалистической прессы, являющейся одним из самых основных элементов социально-революционного дела. Даже «секты, по своему, пользуются печатным словом. Только мы в своем рвении онародиться нашли его для себя излишней роскошью». Вследствие этого, в нашей среде царит теперь «еще больше неопределенности и смутности в понятиях и идеях, чем даже при начале нашего движения». Неудачи и разочарования породили разногласия и споры, потому что отдельные товарищи и кружки, в зависимости от своих индивидуальных свойств района и характера своих наблюдений, приходили к разным выводам. При существовании серьезной революционной прессы, «спорящие стороны должны были бы по необходимости серьезно взвешивать свои и чужие выводы», вдуматься в факты и положения, на которые они опираются; домашние,кружковые столкновения приняли бы характер открытой принципиальной борьбы. Пренебрежение же печатным словом остановило все эти столкновения и разногласия на уровне подпольных взаимных ссор и недоразумений.

В итоге, одни провозгласили причиной наших неудач то, что мы признали своим знаменем идеал чисто европейский, идеал отдаленного будущего. Нужно бросить этот бесплотный идеал и стать на почву действительности, говорят они, а это на нашем своеобразном, неевропейском революционном жаргоне означает ничто иное, как прими-

риться с народными предрассудками, с верой в земного и небесного царя и признать общим и единственным лозунгом движения социалистической партии всей России требование земли и смутное понятие народа о воле. Другие увидели причину наших неудач в распространении народных книжек и, к стыду нашему, мы распространение их, действительно, забросили. Некоторые же свели причину этих неудач к отсутствию централизации в партии. «Александру II трудно управиться с своей империей, а мы, социалисты-революционеры, спасем, видите ли, народное дело», централизуя наши силы на всем пространстве этой империи. «Эти, третьи, должно быть, и составляют у нас разряд анархических якобинцев».

Отвергая все эти и подобные утверждения, я особенно настойчиво полемизировал против приписывания незначительности результатов нашего движения «европейскому характеру наших идеалов и средств». Ошибается Стефанович, писал я, когда считает наш образ действия европейским, не нашим. «Если бы мы, действительно, знакомы были с методами борьбы европейского пролетариата, то мы не наделали бы столько ошибок, не смотря на все различие условий жизни на Западе и в России. Мы бы тогда, наверное, не вообразили себе, что можно поднять и организовать целый народ во имя абстрактных идей, и сумели бы провести на практике границу, отделяющую теоретическую пропаганду от агитации и организации масс. К чему сваливать на бедную Европу наше собственное незнание? Наши средства действия, действительно, «наши» — родное дитя нашей неопытности и на-

шего неведения относительно действительного положения вещей, как у нас, так и на Западе». Именно в этом, а не в наших идеалах и не в невосприимчивости к ним народа, заключается причина наших неудач...

«Типы в роде Малиновского, Петра Алексеева, Егорова, Крылова и многих других (рабочих), еще не попавших на скамью подсудимых, составляют повсюду, даже во Франции, явление очень редкое. Тем более говорит появление их у нас в пользу обаятельной силы наших идей и восприимчивости к ним наиболее светлых представителей рабочих масс в России».

Отвечая на вопрос: «Что же дальше?», я выставил следующие общие положения, обязательные, как руководящая основа деятельности для всякой социалистически-федералистической группы, в какой бы местности России она ни работала:

1. Необходимо проникнуться сознанием, что осуществление наших идеалов не может быть достигнуто одним кратковременным революционным актом, но, наоборот, кроме «внешних благоприятных условий, предполагает, с нашей стороны, длинный ряд весьма тяжелых и разнообразных усилий, начиная теоретической пропагандой и кончая активной борьбой в рядах народа». «Необходимо, далее, усвоить более широкий взгляд на социально-революционное дело, бросить шаблонность и стадность при выборе рода деятельности, влекущие за собой периодически повторяющееся у нас повальное устремление всех сил — годных и негодных — на одно дело», что неизбежно приводит, с одной стороны, к скверному ведению этого

дела, а с другой, к пренебрежению остальными отраслями революционной деятельности. Целесообразное распределение наших сил между разными функциями и об'единение этих сил в одно связное целое «приведет к тому, что работа в городах и деревнях, среди привилегированных классов и рабочих масс, в литературной и практической сфере — примет характер движения по общему плану, направленного к одному определенному пункту».

II. Необходимо локализировать свою деятельность, чтобы стать оседлыми людьми и создать в селах и городах «местные народно-социалистические партии».

Помимо интересов ближайшей, непосредственной практики, в вопросе о локализации есть и принципиальный момент. Как федералисты, мы стремимся к созданию общественной организации «снизу вверх — в противоположность государству, механически и насильственно связывающему население сверху вниз». Такая организация может возникнуть только в результате свободной федерации местных групп на основании сознанной ими солидарности своих интересов. Да и народное восстание только в том случае оставит по себе серьезные последствия, если хотя бы только часть народа сумеет организоваться в федеративную организацию. Тогда, если реакции даже удастся, в конце концов, восторжествовать и уничтожить эту организацию, она никоим образом не сможет уничтожить в населении реальное представление о более свободной форме общежития. Не в наших силах гарантировать

народному восстанию прочную победу, но от нас зависит, в значительной мере, обеспечение ему «нравственного и умственного результата, благоприятного для дальнейшего развития народных масс». С этой точки зрения, очень важно теперь же, на практике, начать процесс отделения России государственной от России народной, выдвигая перед народом на первый план возможность и необходимость свободного союза между общинами на почве их общих интересов. Очевидно, такое направление наша деятельность может принять только при условии оседлости.

III. Теоретическая пропаганда и организация масс составляют две, одинаково важные стороны одного и того же революционного дела, но их непосредственные цели или задачи существенно различны. Теоретическая пропаганда стремится создать в народе возможно больше элементов с социалистическим миросозерцанием, а организация масс имеет в виду развить в них инициативу и активность для солидарной борьбы за их права... Очевидно, что чем многочисленнее часть народа, способная на организованную борьбу, тем более шансов, что даже местное восстание может разростись в крупное, по размерам и продолжительности, движение. С другой стороны, так же ясно, что характер *целей* подобного восстания вполне обусловливается численностью участвующих в нем *сознательных и убежденных* социалистов. Их участие может придать восстанию характер социалистически-революционного движения, способного составить эпоху, «как, например, Парижское восстание 71 г., благодаря участию в нем интернационалистов-

революционеров». Теоретическая пропаганда должна ставить себе целью «внести новое содержание в народные движения и обеспечить за ними великое историческое значение по их нравственным и умственным результатам для дальнейшего направления мысли и чувств народа». Организационная же (и агитационная) работа в массах должна быть направлена на то, чтобы эти движения приняли большие размеры и стали продолжительными и интенсивными.

Организации массовые создаются, главным образом, или, вернее, исключительно, агитационными средствами: «злоба дня ... агитация против наиболее ярких проявлений государственного гнета и экономической эксплуатации» — вот их жизненное начало; идти впереди местного населения во всяком протесте — такова их основная задача... Интеллигентность, определенность убеждений играют здесь второстепенную роль по сравнению с подвижностью, смелостью и численностью членов массовых организаций.

«Другое дело выработка сознательных социалистов в народе. От них зависит постепенное поднятие уровня сознательности народа вообще. От них же может зависеть содержание или характер требований массовых организаций. Они должны обладать цельным миросозерцанием и способностью воодушевляться на борьбу из за идеи; и никакая отвага не может здесь заменить этих качеств. Но одна теоретическая пропаганда, вне тесной связи с агитационной и организационной работой в массах, может привести к возникновению теоретически резонерствующих кружков в народе, подобных тем, которые суще-

ствовали в интеллигенции («среди привилегированных классов»)... Необходимым условием успешного хода социально-революционного движения мы считаем установление тесной, органической связи между социалистически убежденными единицами и группами в народе и массовыми организацией и агитацией во имя злобы дня».

«Как видно из одной статьи в «Земле и Воле» и из статьи Стефановича, многие товарищи в России считают идеалы рабочих (т. е., крестьянских) масс настолько согласными ... с современным социализмом, что находят наиболее целесообразным сосредоточить все наши силы на организации и агитации во имя этих идеалов, оставляя в стороне пропаганду социализма».

«К сожалению, недостаток места не позволяет нам на этот раз остановиться на этом вопросе. Обратим только пока внимание товарищей на то обстоятельство, что самый принцип общинного землевладения может весьма легко выродиться во взаимную конкурренцию общин и в новый вид монопольной собственности, придав в то же время государственному строю такую устойчивость (в смысле консервативном), о какой современные государства и мечтать не смеют. Последнее соображение и служит главным мотивом приверженности Гакстгаузена, Васильчикова и т. д. к общинному землевладению. В нем они видят якорь спасения от всяких революций и вообще от чересчур быстрого распространения радикальных идей о свободе и равенстве. Что касается до понятия народа о «воле», то смутность его достаточно проявляется в обоготворении царской власти. Наивно мечтать

о разрушении государства, не подрывая в народе веры не только в самый его принцип, но даже и в одно из его проявлений — в царскую власть. Бюрократию ненавидели все народы испокон веков, однако никакие революции не мешали ей вновь возрождаться. Ветви всегда отрастают, когда не только корень, но даже и ствол остается нетронутым.

«Но допустив возможность радикального по последствиям крестьянского восстания, исключительно во имя их «идеалов», никто, я полагаю, не станет утверждать того же самого относительно городов. Ведь тут уже ровно никаких революционных идеалов не имеется. Очевидно, так называемые «народники» вполне игнорируют городских рабочих, не замечая, что численность их со дня на день возрастает и будет еще быстрее возрастать, что отстуствие в их среде социалистических идеалов может чрезвычайно гибельно отразиться на всякой крестьянской революции. А что одна агитация в городах исключительно во имя ближайших интересов легко может создать консервативные организации, в этом слишком наглядно убеждает нас множество рабочих союзов в Англии, Германии (Дункера), в Италии и даже во Франции.

«Неужели же нам повторять ошибки наших соседей?

«Резюмируем наш взгляд на дело теоретической пропаганды и организации масс. Исходя из той точки зрения, что социалисты-революционеры обязаны стараться, чтобы всякое народное движение оставляло по себе в умах народа более ясное — понимание условий всеобщей свободы и благо-

состояния и таким образом постепенно приближало бы его к полному освобождению, мы считаем абсолютно необходимым одновременно вести и дело организации масс, и выработку убежденных социалистов из народа. Этим мы отнюдь не хотим сказать, чтобы везде и всегда непременно одновременно велось и то и другое дело. Среди «Сысоек» придется по необходимости отложить в сторону интересы теоретической пропаганды, зато среди более развитого населения придется обратить на нее очень серьезное внимание. Нужно ли еще прибавлять, что может наступить момент, когда интересы агитации станут на первый план? Но ведь такие моменты не долго продолжаются, а мы имеем в виду постоянные условия хода социально-революционного дела».

IV. Необходимо, наконец, обратить серьезное внимание на организацию социалистической прессы. «Нет теперь ни одной общественной силы в цивилизованном мире, которая не прибегала бы к помощи литературы и науки. Таков уже этот XIX век, что ни одно правительство, не исключая и нашего баши-бузукского, ни одна партия, начиная от иезуитов и поборников феодализма вплоть до самых крайних представителей рабочих масс, не может обойтись без санкции науки и литературной пропаганды своих идей. Неужели же только мы одни, поднявшие знамя социалистического федерализма, ... составим печальное исключение?

«Об'являть себя приверженцами самых передовых идей и в то же время относиться с пренебрежением к практическому значению для нашей деятельности прессы и науки, — этих мо-

гучих рычагов XIX века — не значит ли это одной ногой стоять на почве нового мира, а другой — на почве средневековых феодалов?

«Широкое распространение социально-революционной прессы имеет для нас еще особое, специальное значение, как средство против (возможного) дезорганизующего влияния борьбы с абсолютизмом на наше социалистическое движение. Русские социалисты, благодаря политической апатии и холопству нашего общества,... обречены на служение интересам привилегированного меньшинства, жаждущего политической свободы. Это факт, созданный помимо нас историей, и против него мы поделать ничего не можем». Но если мы волей-неволей должны бороться против абсолютизма и, следовательно, косвенно завоевывать буржуазии политические права, то мы тем не менее «обязаны употребить все усилия, чтобы политическая борьба не сбила нас с социалистического пути... Мы должны, поэтому, обратить серьезное внимание на такие пути, которые одновременно ведут и к уничтожению абсолютизма, и к усилению социалистических тенденций, как в нашей собственной среде, так и вне ее. Листки, газеты, брошюры и книги для народа и для привилегированных классов, распространяемые в десятках тысяч экземпляров — это мухи и комары, беспрерывно жужжащие у правительственных ушей и ... не дающие ему ни на минуту покоя. Широкое распространение их, это — прямая насмешка над абсолютизмом и превращение свободы прессы в факт... И не смотря на эту свою чисто политическую роль, революционная (социалистическая) пресса упрочила бы в наших

умах идеи социализма, освещая все явления России и Запада с социалистической точки зрения и знакомя читателей с социалистическими учениями и состоянием рабочих партий.

«Само собой разумеется, что мы отнюдь не видим в одной революционной прессе достаточно сильного противовеса против увлечений конституционализмом. Пресса, особенно периодическая, может быть только выражением стремлений и целей социальной среды. Поэтому, если мы теперь же не примемся серьезно за дело пропаганды и агитации в народе, сама наша пресса, особенно периодическая, волей - неволей станет постепенно выразительницей вообще оппозиционных элементов нашего общества против абсолютизма, а социализм превратится в абстрактное учение без всякого практического влияния на наши действия».

* * *

Читатели, в особенности социал-демократические, сами, конечно, видят, как бесконечно далек я был и в критической, и в положительной части своей статьи от удовлетворительного ответа на вопрос о причинах критического состояния партии в конце 78 года и о пути к выходу из него. Прежде всего, это об'ясняется, конечно, моим тогдашним социально-политическим мировоззрением, по существу, в основе совпадавшим с общим мировоззрением русских революционеров, не смотря на мое критическое отношение к некоторым из господствовавших в их среде практических тенденций и лозунгов. Это, общее всем нам, по крайней мере,

подавляющему большинству товарищей, мировоззрение всецело отразилось в моей статье и теоретически помешало мне, как и народникам в России, разобраться в «злобах дня» и очередных вопросах «переходного момента». Революционная интеллигенция, точно птица в клетке, теоретически бессмощно билась в кругу противоречий, приведших ее в безвыходный тупик, пока Плеханов, опираясь на учение Маркса и Энгельса, путем анализа русской экономической жизни и радикальной переоценки воззрений и программ наших главнейших социалистических фракций, не указал выхода из этого тупика. Об этом я специально буду говорить во второй части настоящего труда.

В главе о течениях в русской женевской эмиграции я отметил, что группа «Общины» идейно одной ногой оставалась еще в том фазисе революционного движения России, в котором русские революционеры смотрели на свои цели и задачи сквозь призму западного социалистического движения. Это сказалось и в моей статье, между прочим, и в моем крайне одностороннем освещении народнического направления и совершенном игнорировании его положительного значения.

Абстрактно-космополитические тенденции пропагандистов «первого призыва» (выражение Р. Попова) находились в тесной логической связи с тем, что они игнорировали или слишком мало учитывали значение для постановки и решения программных и тактических вопросов революционного движения в самодержавной России того факта, что по своему социально-политическому строю, она являлась исторической современницей не совре-

менного Запада, а того, который давно уже отошел в вечность. В противоположность своим предшественникам, народники выдвинули на первый план мысль о необходимости, если можно так выразиться, национализировать программу и тактику нашего движения, т. е., привести их в соответствие с национальными особенностями социальной почвы, на которой оно развивается, и той социальной среды, в которой русским революционерам приходится действовать. К этому заключению они пришли чисто эмпирическим путем, под прямым и непосредственным влиянием того, что видели и слышали в деревне первые пропагандисты.

Один из наиболее образованных и вдумчивых землевольцев, О. В. Аптекман, резюмируя свои впечатления и наблюдения в деревне в течение 1875 года, дает конкретное представление о пути, которым русские социалисты пришли к народничеству.

«Я познакомился с народом, с народной средой, — читаем мы в его воспоминаниях. Это, несомненно, большой плюс в моей работе. Это — первый шаг, без которого дальнейшая моя работа была бы невозможна. Но что я успел в смысле распространения социалистических идей в народе? Я стал перебирать в моей памяти впечатления последнего года моей пропагандистской работы в народе. Я увидел, как мало-по-малу, почти незаметно для меня самого, *пропаганда социализма в массе стала отодвигаться на задний план и как, наоборот, насущные злободневные вопросы крестьянства выдвигались все более и более на авансцену*. Я стал припоминать, как холодно

относится народ к социализму и, наоборот, с какой горячностью и страстностью дебатировались те вопросы, которые касались его неотложных нужд и потребностей, которые не выходили из обычного круга его представлений и понятий о лучшей крестьянской жизни, о лучшей доле. Завеса стала спадать с моих глаз.

«Для меня стало ясно, что на пропаганде социализма в народе мы далеко не уедем, что буду ли я один работать, или нас будет работать десятки, сотни, тысячи пропагандистов, — все равно, — мы сим не победим, народа с места не сдвинем...»

И вот, в результате этих наблюдений и размышлений, Аптекман пришел к тому выводу, что необходимо считаться, как с имеющимися уже в народе живыми стремлениями его, так и с завещанными ему его прошедшей историей взглядами и понятиями; что, далее, «соответственно с этим надо изменить и нашу теорию (?П. А.) и нашу практику» («Отрывок из воспоминаний землевольца», «Современная Жизнь», ноябрь 1906 г.).

К тому же заключению пришли и другие пропагандисты, образовавшие народническую партию.

Этим эмпирическим разрывом с абстрактно-социалистическим космополитизмом своих предшественников, народники устраняли первое, самое общее идейное препятствие на пути к сознательной постановке на очередь основной задачи революционной партии в тогдашней России — «борьбы со старым режимом». А провозгласив своим боевым програмным лозунгом требование «земли и воли», они сделали первый важный шаг на этом пути. И вот, для меня первостепенное значение этого

шага осталось, так сказать, скрытым за семью печатями.

Но, как это ни странно на первый взгляд, не понял я его значения, главным образом, по той же причине, по которой сами народники не поняли внутреннего, исторического, смысла основного пункта своей собственной программы и не сделали, логически вытекавшего из него практического вывода. Так же, как они, я и другие члены редакции «Общины» считали единственной социалистически законной целью для русских революционеров—непосредственную подготовку социалистического переворота. Народники, под влиянием этого взгляда на цели и задачи нашего движения, создали себе фикцию, отождествляя завоевание «земли и воли» с водворением общественного строя на социалистической основе. Я же, живя за тридевять земель от арены практической работы товарищей в России, в непосредственном контакте с социалистическим движением на Западе, не подпал влиянию этой иллюзии. Поэтому я мог, с грехом пополам, критически отнестись к ней, не замечая при этом, какой важный шаг вперед знаменовало собою народничество, об'явившее войну «русскому социализму» первой половины 70-х годов, «скомпанованному на три четверти по западным образцам» (утопически-социалистическим), и выдвинувшее боевой девиз: «Земля и Воля».

Но кроме теоретических дефектов, в статье имеются и довольно существенные, фактические неточности.

Прежде всего, только со значительными оговорками и ограничениями можно было утверждать,

что партия дезорганизована, что она разбилась на массу, взаимно враждующих кружков «под разными наименованиями». Ведь именно в течение 77—78 гг., она, в лице Общества «Земля и Воля», в значительной мере, програмно и организационно консолидировалась. Конечно, до полного организационного сплочения революционных сил было еще далеко. Существовали еще разрозненные кружки под разными наименованиями и с разными программами и тенденциями. Но это было не столько новым явлением, сколько пережитком прошлого, — первой половины 70-х годов, когда движение действительно отличалось кружковщиной и раздробленностью революционных элементов.

Еще меньше соответствовали действительности мои замечания о «шаблонности», «стадности» при выборе революционной работы и об отсутствии определенного плана и конкретной цели для деятельности в деревне. В воспоминаниях Аптекмана и в «Запечатленном Труде» Фигнер имеются документальные данные, показывающие, что Общество «Земля и Воля», с самого начала, выработало практическую программу, отнюдь не ограничивавшую свою деятельность организацией, пропагандой и агитацией исключительно среди крестьян и совершенно не обязывавшую деревенских пропагандистов жить физическим трудом и даже внешним образом «омужичиться». По уставу, одной из главных задач Общества являлось «об'единение и сплочение разрозненных революционных сил молодежи (главным образом, высших и средних учебных заведений) в прочное, во всех своих частях еди-

н о е ц е л о е». А четвертый пункт «тактической» землевольческой программы гласит:

«Пропаганда народнически-революционных идей в среде общества, молодежи и городских рабочих, с целью увеличить число критически-мыслящих, сознательно-действующих поборников народа».

Для выполнения этих задач Общество выделило специальную группу, «интеллигентскую», на которую возложены были «пропаганда, агитация и организация в среде интеллигенции, особенно молодой». Если принять еще во внимание усилия Общества завязывать и поддерживать сношения с различными общественными кругами в городских центрах, пользоваться для агитации всякими проявлениями в этих центрах неудовольствия, существующим режимом то мы должны будем признать, что Аптекман не очень далек от истины, когда утверждает, что организация Общества «Земля и Воля» реализовала на практике «п р и н ц и п е д и н с т в а в м н о г о о б р а з и и».

Весь этот организационный аппарат, со своими разнообразными функциями, предназначен был служить делу подготовки «экономической революции снизу при посредстве самого народа», т. е. созданию общественной атмосферы, благоприятной агитационной и организационной работе среди крестьянских масс. Правда, в итоге, получилось то, что «боевая дружина» создалась не в народе, а в интеллигенции, и не для экономической революции снизу, а для политической революции сверху. Но этот результат получился не вследствие отсутствия конкретных целей и определенной программы деятельности у землевольцев, а н е с м о т р я на наличность

у них и организации, и общего плана действия — благодаря об'ективным условиям их деятельности. Но здесь мне хочется только подчеркнуть, что и к деятельности в деревне землевольцы приступили, наметив себе очень определенный ясный путь для революционизирования сельских масс.

И я не могу отказать себе в удовольствии процитировать здесь следующие строки В. Н. Фигнер, в которых она рисует этот путь:

«Живя среди народа в форме, не насилующей резко привычек и слабостей культурного человека, но тем не менее близкой к народу (в форме волостного писаря, бухгалтера ссудо-сберегательной кассы, фельдшера, мелкого торговца и т. д.), революционеры должны пользоваться всеми случаями и сторонами крестьянской жизни, которые дают повод оказать поддержку идее справедливости или возможность помочь личности и обществу в защите ими своих интересов или достоинства.

«Становясь в положение, близко соприкасающееся с повседневными интересами народа, каково напр. положение волостного писаря, революционер должен влиять на волостной суд, изгоняя из него водку и подкуп, и делая его настоящим судом народной совести; он должен поднять значение мирской сходки и волостного суда, делая их действительным выражением общественного мнения, а не игрушкой разных сельских проходимцев; он должен оттирать от общественных дел кулаков и мироедов и поднимать значение деревенской голытьбы; возбуждать и поддерживать тяжбы с помещиками, кулаками, казенными учреждениями; везде, где возможно, настаивать на защите кресть-

янами их прав и домогательств; словом, развивать в крестьянстве дух самоуважения и протеста; вместе с тем, высматривать энергичных людей, вожаков, которые особенно горячо относятся к интересам мира; сплачивать и соединять их в группы, чтобы на них опереться в борьбе, которая, начинаясь с легального протеста, должна вступить, наконец, на путь чисто революционный» («Запечатленный Труд», 87—88 стр.).

В интересах исторической справедливости я считаю своим долгом этими ссылками на свидетельства непосредственных участников народнического движения исправить некоторые ошибки, допущенные в моей статье в характеристике положения дел в партии.

Запоздал я отчасти и своим замечанием об отношении ее к делу организации социалистической прессы. Ведь месяца за три до выхода последнего номера «Общины» появился в Петербурге номер первый газеты «Земля и Воля»!

Но все эти недочеты в моей статье остались как то незамеченными даже теми товарищами в Женеве, которые летом и осенью 78 года приехали туда прямо из Петербурга. Так например, я читал свою статью еще в рукописи Степняку, и он ни одного возражения мне не сделал. А Стефанович в своей статье «Наши задачи в селе» писал о дезорганизованности партии и идейном разброде в ней почти то же, что и я. Очевидно, глубокий кризис партии так остро и живо ощущался всеми товарищами, что такие односторонности и преувеличения в суждениях о ней, какие имеются в моей статье, не производили впечатления и казались не

заслуживающими особого внимания. Этим, главным образом, я об'ясняю и тот факт, что по приезде в Россию мне не пришлось выслушивать от товарищей каких-нибудь возражений или упреков в том, что я неверно обрисовал положение дел в партии[1]).

Н. И. Жуковский, шутя говорил: «Ну и будут же тебя колотить — с одной стороны, Стасюлевич (либералы), а с другой, наши». А Драгоманов, в ответ на нападки женевцев (Дейча, Стефановича, Засулич) на него за его резкие критические замечания по адресу революционеров, говорил впоследствии: «Вот Аксельрод критикует, и никто его за это не упрекает, а на меня вы сердитесь».

Товарищи справедливо ему возражали: «Аксельрод критикует любя, как друг, а Вы, как противник» или враг, точно не помню).

---

[1]) Впоследствии только, встретившись со мною в Одессе, Зунделевич сделал мне упрек в том, что я совершенно игнорировал такой факт, как существование Общества „Земли и Воли".

XIII. ВТОРАЯ ПОЕЗДКА В РОССИЮ
(1879 г.)

Обнорский. — Через границу. — В Петербурге. — Без паспорта. — На румынской границе. — В. Ивановский. — Я становлюсь „профессором“.

Летом или осенью 1878 г. приехал в Женеву рабочий Обнорский. Я уже в 1875 г. встречался с ним в Женеве, где он жил тогда эмигрантом и работал в качестве слесаря на заводе.

На этот раз он приехал к нам, как представитель петербургского кружка, который в конце 1878 г. принял название «Северного Союза русских рабочих». Главной задачей этого кружка была революционная пропаганда в рабочей среде. По инициативе Халтурина и Обнорского, кружок решил организовать тайную типографию и приступить к изданию собственной газеты. Обнорский, который должен был закупить заграницей шрифт и другие принадлежности для печатанья, предложил мне переехать в Россию, чтобы принять участие в редактировании этой газеты.

Не помню точно, почему Обнорский именно ко мне обратился с этим приглашением. Вероятно,

потому, что петербургские товарищи, уцелевшие от арестов, были сильно поглощены боевыми делами и не проявляли большого энтузиазма к идее рабочей пропагандистской газеты, а может быть, и потому, что в их среде проявлялось отрицательное отношение к политическим тенденциям рабочего кружка. Возможно и то, что руководители кружка хотели привлечь меня к работе, так как по моим статьям в «Слове» и «Общине» знали о моем живом интересе к европейскому рабочему движению.

Как бы то ни было, я очень охотно принял приглашение, тем более, что и сам мечтал вернуться в Россию при первой возможности.

Мы условились с Обнорским, что кружок пришлет мне денег на дорогу.

Закупив необходимые материалы для типографии, Обнорский уехал в Россию.

Не помню точно, когда именно я получил из России обещанные деньги. Но только в феврале 1879 г. я смог вместе с женой и нашей девочкой двинуться в путь.

* * *

Из Швейцарии мы выехали без всяких документов, рассчитывая, что польские товарищи в Вене достанут нам паспорта или дадут связи для перехода границы. Но в виду происшедших незадолго до того в Польше массовых арестов, у венских товарищей не оказалось ни паспортов, ни связей. Побившись здесь бесплодно несколько дней, мы переехали в Краков, поближе к границе. Но и здесь не скоро удалось что-нибудь устроить. Наконец, еврей, который уже на вокзале забрал нас под свою

опеку, достал нам — конечно, за приличное вознаграждение — семейный пропуск для переезда через границу и проезда до четвертой станции железной дороги. Этот пропуск не разрешал для меня вопроса о паспорте, так как срок его истекал через 24 часа, и с ним нигде нельзя было прописаться в России. Но я все же решил им воспользоваться: я предполагал переехать через границу вместе с женой и ребенком, проводить их до четвертой станции, а оттуда отправить семью через Варшаву в Черниговскую губ., к родителям жены, самому же вернуться в Краков, где еврей обещал, через некоторое время, достать мне более или менее надежный документ.

Через границу мы переехали благополучно, хотя и не без приключений. Нашими соседями в вагоне оказались два жандарма, которые принялись заговаривать с девочкой. На мою 3-хлетнюю Верочку, которая обычно дичилась чужих, как на зло вдруг нашло разговорчивое настроение, и она принялась рассказывать нашим соседям про жизнь в Женеве, про «дядю Д'агоманова», и про «дядю К'апоткина». Но на наше счастье, Верочка неясно произносила имена, а жандармы не были на столько знакомы с географией и с революционной эмигрантской средой, чтобы догадаться, о каком городе и о каких «дядях» Д'агоманове и К'апоткине идет речь. Это и спасло нас.

Переехав через границу, я отказался от первоначального плана возвращаться в Краков, — слишком велик был соблазн продолжать путь прямо на место назначения. Отправив семью на Юг, сам я поехал в Москву, где должен был разыскать

(через адресный стол) инженера Тверитинова и от него получить дальнейшие связи.

* * *

В Москве я, прямо с вокзала, отправился в адресный стол. В присутствии, кроме дежурного, никого не было. В ответ на мой вопрос, где живет инженер Тверитинов, он усмехнулся и тихо сказал мне:

— Они этой ночью арестованы.

У меня оставался еще один, последний рессурс, — письмо Эльсница (члена группы «Работник») к жене управляющего Либаво-Роменской железной дорогой. Пошел по этому адресу. Здесь меня приняли хорошо, пригласили переночевать. Но в этом доме я не мог узнать ничего ни о положении работы, ни об оставшихся на воле товарищах.

На другой же день я поехал в Петербург. Здесь я даже не пытался использовать старые явки, а прямо пошел в редакцию «Слова», где в 1878 г. была помещена моя статья об английском рабочем движении. В редакции я назвал свое имя, сказал, что разыскиваю товарищей, и просил, чтобы мне указали какой-нибудь адрес. Меня направили к адвокату Коршу, которого до тех пор я не знал лично.

Когда я об'яснил Коршу цель моего посещения, адвокат, видимо, смутился. Он просил меня обождать и оставил меня одного. Спустя несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел Николай Морозов. Оказалось, что как раз в это время на квартире Корша происходило совещание некоторых членов Центрального Комитета общества «Земля и Воля».

Здесь, кроме Морозова, я застал Зунделевича, Михайлова (который носил у нас кличку «Дворник»), Льва Тихомирова (о котором еще в 1873 г., в Киеве, слышал от Чарушина) и некоторых других. Эта группа революционных деятелей несколько позже сыграла инициативную роль в организации партии «Народной Воли» и сознательной борьбы за политическую свободу.

Настроение собравшихся на квартире Корша было, как мне казалось, не то подавленное, не то людей, очень озабоченных.

Зунделевич, указывая на товарищей, сказал мне:

— Вот всего сколько осталось нас... А вы еще требуете усилить пропаганду![1]

Помнится, у меня было впечатление, что эти слова выражали общее настроение кружка. Я ответил:

— Потому то и мало вас, что вы пропаганду оставляли в тени. Вы расходовали наличный капитал, не заботясь достаточно о восстановлении его.

Завязалась общая беседа. Товарищи, между прочим, спросили меня, как смотрю я на цареубийство.

— Раз началась террористическая борьба против агентов власти, ответил я, логика требует идти до конца. Нельзя оставлять безнаказанным главного виновника всего того, что происходит...

Узнав, что я приехал без всякого документа, товарищи предупредили меня, что оставаться в

---

[1]) Этим Зунделевич намекал на мою статью в „Общине“.

Петербурге для меня опасно, особенно в настоящий момент, когда вскоре может произойти событие, которое поставит всю полицию на ноги и вызовет новые повальные обыски (это был намек на предстоявшее покушение против Александра II). Вместе с тем, товарищи об'яснили мне, что раздобыть в Петербурге подходящий документ для меня теперь не удастся: по внешности, во мне сразу можно было узнать еврея, так что русский паспорт для меня не годился; значит, мне необходимо было достать еврейский паспорт, но при том такой, который давал бы мне право жительства в столицах, напр., документ купца 1-й гильдии, а это была сложная история.

Пока что я все же задержался в Петербурге на некоторое время.

Сразу встал вопрос о квартире для ночевок. Но вопрос этот разрешился довольно легко, так как Тихомиров свел меня с представителями революционной молодежи, составлявшими как бы периферию революционной организации, — и здесь я находил приют за все время пребывания в Петербурге.

Совершенно неожиданно для меня, так долго остававшегося заграницей и совершенно нового человека в петербургской революционной среде, молодежь, с которой меня познакомил Тихомиров, встретила меня не только радушно, но, можно сказать, сердечно. Не знаю точно, чему это приписать. Но мне помнится, что мои статьи в «Слове» и «Общине» предрасположили ее ко мне. Припоминаю также, что из слов некоторых из моих молодых знакомых я вынес впечатление, что от-

зывы Клеменца обо мне сыграли некоторую, а быть может, и значительную роль в приеме, оказанном мне представителями молодой революционной интеллигенции в Петербурге. Как бы то ни было, я встретил в них сочувственное отношение и к моим взглядам на усиление пропагандистской деятельности, вообще, и в рабочей среде, в частности. Благодаря этому, я со дня на день откладывал свой от'езд из Петербурга,—и событие, на которое намекали мне Зунделевич и другие товарищи, застало меня еще там.

2-го апреля Соловьев стрелял в царя. Полиция все перевернула вверх дном. Но я как то не попался ей на глаза и продолжал скрываться сначала в Петербурге, а потом в окрестностях.

Из членов революционного центра чаще других я встречался в Петербурге с Л. Тихомировым.

Он уже отбыл тюрьму по делу 193-х, бежал из ссылки и жил теперь нелегально, работая в редакции «Земли и Воли». Еще Чарушин рекомендовал мне его, как серьезного и преданного революции человека. Личное впечатление подтвердило эту характеристику.

Но одно поразило меня в Л. Тихомирове: полное отсутствие интереса к западно-европейскому рабочему движению. Он смотрел на это движение даже свысока.

Как-то я заметил ему, что на Западе даже простые рабочие (социалисты) уже освободились от влияния религии и церкви.

— Это не имеет значения, возразил Л. Тихомиров.

У нас завязался спор по этому поводу, но каждый из нас остался при своем мнении.

«Северный Союз» уже был разгромлен полицией, при чем была взята и его типография. Выдал все проникший в организацию агент провокатор Рейнштейн. Предательство Рейнштейна обнаружилось, и в феврале 1879 г. он был убит, — но было поздно: жандармы уже держали в руках все нити организации.

К середине апреля выяснилось, что дольше оставаться в Петербурге мне невозможно. Ночуя без паспорта то в одной, то в другой квартире, в разгар обысков, я не только сам мог попасться в любой день без всякой пользы для дела, но и рисковал подвести людей, которые давали мне приют.

* * *

При таких обстоятельствах я выехал из Петербурга. Товарищи дали мне на дорогу какой-то паспорт английского гражданина, совершенно не подходящий для меня, — но лучшего не было.

С этим паспортом я доехал до Ковно, где рассчитывал раздобыть более подходящий документ, но здесь мне пришлось оставить его, даже не пытаясь достать другой паспорт. Приехав в город в 12 часов ночи, я взял комнату в гостинице. Тотчас же явился ко мне дворник и потребовал мой документ. Я отдал ему английский паспорт и заснул спокойно, а утром я узнал, что дворник уже побежал с ним в полицию. Ясно было, что я попал под подозрение. Я не стал дожидаться приглашения в участок и, собрав наскоро вещи, отправился к одному старому знакомому еврею, но оказалось, что он не мог ничем помочь мне.

Я поехал в Киев. Там я не нашел никого из революционеров, даже ночевать негде было, и я поспешил с первым же поездом отправиться в Одессу.

Здесь, наконец, я нашел кое какие обломки революционных кружков. Но паника, вызванная арестами после покушения Соловьева, в Одессе еще не улеглась. Подходящий паспорт и здесь достать было невозможно. Между тем, без этого немыслимо было приниматься за революционную работу. По совету местных товарищей я решил ехать в Румынию, а именно в Тульчу, где у нас были связи, с тем, чтобы оттуда вернуться с надежным документом.

Единственная бумажка, которую смогли достать мне для этого путешествия одесские товарищи, был паспорт на имя Лейбовича, выписанный на старом, престаром бланке и помеченный январем 1879 г.: выходило, что паспорт только что выдан, а вид у него такой, будто ему, по крайней мере, 10 лет.

Сговорились, что я поеду в Бендеры, а там мне поможет перебраться через границу местный военный врач — из «сочувствующих». Оказалось, что бендерский врач знает меня по фамилии еще с 1874 года, по Киеву, и он с большой готовностью принялся за дело.

* * *

Так как от Бендер к румынской границе шла военная ветка, по которой могли ездить только военнослужащие или с билетами по рекомендации военных чинов, то врач выписал мне железнодорожный билет на имя «фельдшера Лейбовича»

до станции Рени, где должен был встретить меня другой военный врач, чтобы свести меня с людьми, которые могли устроить мне самый переезд через границу.

Но в Рени, на станции, военного врача не оказалось. Между тем таможенный чиновник потребовал паспорта у пассажиров. Думая, что здесь происходит простая проверка документов, я подал ему и мой паспорт. Разбирая документы, чиновник остановился на моей бумажке.

— Как это вы без «губернаторского» паспорта едете?

— Да я в Галац еду.

— Галац заграницей.

— А я думал, что он уже принадлежит России.

— Нет, это румынский город.

— Я думал, после войны он к нам отошел.

Несмотря на эти об'яснения, чиновник задержал мой паспорт и сказал, чтобы я пришел за ним через час. Когда я пришел, он сказал мне, что передал его жандарму. Оставить паспорт у жандарма и не явиться за ним, значило вызвать сильное подозрение и даже репрессии против бендерского врача, который выдал мне железнодорожный билет на имя, означенное в паспорте. На это я не мог решиться. Инцидент, однако, закончился благополучно. После некоторых расспросов и колебаний жандарм вернул мне паспорт обратно.

Но как все-таки попасть в Румынию? Контрабандистов, если они даже и завелись уже там, я не мог бы разыскать, так как никаких знакомых или зацепок для этого у меня в Рени не было. А потому

ничего другого мне не оставалось делать, как вернуться в Бендеры, чтобы посоветоваться с моим знакомым врачем, как быть дальше.

В вагоне моими соседями оказались какой-то инженер, молодой офицер подозрительного вида и исправник. Разговор их вертелся вокруг «политических вопросов». Офицер выдавал себя за бывшего ад'ютанта Трепова и рассказывал небылицы о покушении Веры Засулич на жизнь генерала Трепова.

— Я был ад'ютантом у градоначальника, говорил он, когда стреляла эта... этот... скотина... мерзавец...

Очевидно, офицер врал, никогда ад'ютантом Трепова он не состоял. Но хотя он явно путался в своем рассказе, исправник и инженер сочувственно слушали его болтовню. Настроение всей компании было самое определенное, воинственно-черносотенное.

Инженер не отрывал от меня злых, подозрительных глаз. Исправник тоже поглядывал на меня искоса и вдруг обратился ко мне с вопросом:

— Ну-с, а вы куда едете?

— В Бендеры.

— А откуда вы, позвольте узнать?

Называю местечко под Одессой. Исправник оживился:

— Как же, знаю, я там служил.

Я почувствовал, что сейчас начнутся расспросы об этом местечке и об его жителях, и поспешил об'яснить исправнику, что я только там приписан, и что родители мои уже давно переселились в Одессу, а в местечке я никого не знаю. Исправник этим

удовлетворился, но инженер, казалось, хотел с'есть меня глазами.

К счастью, до Бендер было недалеко, и я, наконец, избавился от неприятных спутников.

В Бендерах я узнал, что врач, который должен был встретить меня в Рени, по какой-то странной случайности разминулся со мной, и что теперь он вновь ждет меня на той же станции. Снова поехал я в Рени, и опять неудача.

Остановился в корчме и жду, стараясь не попадаться на глаза полиции. Врача все нет как нет. Так прошло несколько дней. Вдруг встречаю я на улице одного своего старого знакомого, могилевского еврея-учителя. Он был, вероятно, подрядчиком на войне и теперь возвращался из Румынии. Первые его слова ко мне были:

— Послушайте, тут на станции ищут кого-то. Уж не вас ли?

Положение мое становилось все хуже и хуже. Я решил идти напролом, живо представляя себе, что подвергаю себя большому риску.

Когда стемнело, я прямо пошел на вокзал, чтобы разыскать во что бы то ни стало служившего там фельдшера, с которым я — не помню уж как — по рекомендации врача, познакомился, и который должен был меня легально переправить в Галац. Первым попался мне на дороге учитель-могилевец. Увидя меня, он перепугался, побледнел. Я сказал ему, кого ищу, и просил его помочь мне в поисках. Отчасти из-за расположения ко мне, а отчасти из страха, чтобы не попасть в «историю», учитель принялся за поиски с таким рвением, что очень быстро все уладилось.

Фельдшер свел меня с каким-то машинистом, — тоже революционно-настроенным, — который водил с русской стороны на румынскую поезда с балластом, кажется, для какой-то постройки, где-то около Галаца. Он условился со мной, чтоб на следующее утро, чуть свет, я ждал его у полотна железной дороги, в пустынном месте, довольно далеко от станции. В назначенный час показался на пути поезд. Приближаясь ко мне, он замедлил ход, с паровоза высунулся мой машинист, и через минуту я был уже подле него в кочегарне.

— Не показывайтесь наружу, предупредил меня машинист, когда мы стали приближаться к пограничному посту.

Поезд, будто случайно, прибавил хода и с молниеносной быстротой промчался мимо таможенных. Машинист, высунувшись с паровоза, кричал им:

— Не хотите ли подняться в вагоны?

Но, само собой разумеется, никто приглашению его не последовал.

И вот мы на румынской территории! За несколько верст от Галаца поезд остановился. Я сошел с паровоза и пешком добрался до города. А машинист мой — я не помню, к сожалению, его имени — впоследствии еще раз оказал мне большую услугу: он доставил мне в Одессу из Румынии транспорт нелегальной литературы.

* * *

Из Галаца я поехал в Тульчу, небольшой городок на берегу Дуная. Там жил знакомый мне еще по Женеве эмигрант — В. Ивановский (впоследствии шурин В. Г. Короленко). Я рассчитывал, что он поможет

мне добыть паспорт. Врач по профессии, народник по убеждению, Ивановский еще в 1876 г. бежал из московской тюрьмы и с тех пор оставался заграницей. Вернуться в Россию нелегально ему было очень рискованно, так как его сразу узнали бы по его необычайно высокому росту, — товарищи недаром звали его «каланчой». Но заграницей Ивановский не мог сидеть без дела. И вот он принимается за пропаганду среди молокан и русских рыбаков. Под Тульчой он жил некоторое время среди своих новых друзей, в качестве «атамана». И такова была сила его доброго сердца, что он приобрел неограниченное влияние среди этих первобытных, грубых людей, которых 20 лет спустя живо напомнили мне босяцкие рассказы Горького.

Я прожил здесь, кажется, около двух или трех недель, у Ивановского, в рыбачьей лачуге, и видел, как мирил он ссорившихся рыбаков, как лечил больных, как вел хозяйственные дела артели.

Впоследствии Ивановский вернулся к врачебной практике и с таким успехом, что местные врачи обратились к властям придержащим с просьбой о воспрещении практики чужеземцу, не имеющему свидетельства об окончании р у м ы н с к о г о университета. Ходатайство это было уважено, и тульчинские аптеки получили от прокурора предписание не принимать рецептов Ивановского. Но тут, на счастье Ивановского, сам прокурор заболел и, по совету знакомых, пригласил к себе доктора-эмигранта. Тот сразу определил, что болезнь чиновника — результат грехов его молодости, и написал рецепт. А сам поспешил обойти аптеки и предупредил аптекарей:

— Вот принесут рецепт для прокурора, подписанный мною. Помните же, что рецептов от меня вы принимать не имеете права. Иначе будете отвечать по закону.

Бедному прокурору пришлось потратить немало усилий, чтоб, вопреки «закону», получить лекарство. Впрочем, впоследствии Ивановский получил докторский диплом от Бухарестского университета, при чем ему помог в этом деле все тот же прокурор.

Встреча с Ивановским и время, проведенное с этим прекрасным человеком и истинным народолюбцем, оставили у меня наилучшее воспоминание[1]).

* * *

Так как паспорта в Тульче я не достал, то мне пришлось поехать в Плоешты, куда незадолго до того переселился Ралли с своей семьей.

Будучи родом из Бессарабии, Ралли прекрасно владел румынским языком и чувствовал себя в Румынии, как в родной стране. Он был в хороших отношениях с главой румынского правительства Братиано и, оставаясь в душе или воображении «анархистом», с большой снисходительностью относился к политике Румынии, об'ясняя ее опасностью, угрожающей румынам со стороны русского самодержавия. Позже Ралли занял пост редактора румынского оффициоза, но как то ухитрялся все еще считать себя анархистом, и при том совершенно искренне.

[1]) Ивановский в Тульче же и умер, — если память меня не обманывает, лет десять тому назад.

С Ралли мы встретились, как старые приятели, и он дал мне рекомендательное письмо к одному учителю гимназии в Яссы, тоже анархисту. Недежде — такова была его фамилия — был разносторонне образованным человеком, сочувствовал русским революционерам и впоследствии, вместе с обрумынившимся русским эмигрантом Гереа Добраджану, основал социал-демократическую партию в Румынии. Закончил же он свою политическую карьеру настоящим ренегатом. Сначала он перешел в лагерь либералов, а потом стал, как мне сообщил покойный Добраджану, очень злобным, чистокровным реакционером-черносотенцем. Как бы то ни было, в то время, когда я с ним познакомился, он был радикально настроен; принял меня он очень радушно и выхлопотал мне в префектуре паспорт, как якобы гражданину, недавно присоединенного к Румынии города Тульчи. Из Ясс я вернулся в Одессу уже в качестве румынского гражданина, «профессора» Либиха.

XIV. Раскол Общества „Земля и Воля“.
(1879 г.)

Революционеры в Одессе. — Связи с рабочими. — Встреча с Желябовым. — Раскол в Обществе „Земля и Воля“. — „Южно-Русский рабочий союз“. — 1-ый № „Народной Воли“ и мое вступление в фракцию „Черного Передела“. — Поездка в Харьков. — Мой от’езд в Петербург.

Я вернулся в Одессу в начале или в середине июля 79 года и застал здесь сравнительно довольно значительную группу активных революционеров, точнее, террористов. Здесь были Колодкевич, Фроленко, два брата Златопольские, две или три барышни, имен которых не помню. С Фроленко я встретился впервые осенью 75 года в Николаеве, где он вел пропаганду среди штундистов, а Колодкевича я знал уже с весны 74 г. С остальными я познакомился в Одессе по возвращении из Румынии. Через некоторое время — в августе или сентябре — я встретился с Верой Николаевной Фигнер, с которой виделся, впрочем, всего один или два раза. Почти одновременно я познакомился с Кибальчичем, готовившим на квартире Фигнер динамит.

Почти четыре года я, с двумя кратковременными перерывами, пробыл заграницей, и вернулся в

Россию после того, как революционное движение приняло совершенно другой, чисто боевой характер и направлялось строго конспиративной, централизованной организацией, состоявшей из испытанных, закаленных в революционной деятельности, отважных борцов. Само собою понятно, поэтому, что одесские террористы не сообщали и не могли прямо сообщить мне, что они делают и какими планами они заняты. Если бы тогда в революционной среде царили современные нравы или правила, то я не мог бы даже считаться членом партии. Но в то время «партия» и «организация» отнюдь не совпадали, а потому подвергать сомнению мое право на партийное гражданство ни мне, ни моим товарищам не приходило в голову. Я находился в близком, непосредственном контакте с местными товарищами и участвовал в их собраниях (конечно, только не в чисто деловых совещаниях), даже и в таких, где обсуждался такой вопрос, как покушение на убийство генерал-губернатора Тотлебена, виновного в казни Лизогуба, Давиденко и Чубарова и в целом ряде других бесчеловечных жестокостей по отношению к революционерам. Словом, в общепартийном смысле — но не организационном — я себя чувствовал, и меня признавали полноправным товарищем. Над вопросом же о приобретении, так сказать, формального партийного гражданства вступлением в определенную организацию, я, в первое время по возвращении в Одессу, едва ли даже задумывался. Объясняю я себе это тем, что очень скоро мои мысли и внимание оказались направлены на дело, которое в глазах одесских активных революционеров являлось далеко

не революционным. Это дело, как бы помимо моей воли и сознания, поставило меня в необходимость действовать — до поры, до времени — индивидуально, на свой личный «страх и риск».

* * *

Очень скоро после своего приезда, я, в присутствии Златопольского, Фроленко и некоторых других товарищей, сказал, что хочу раздать одесским рабочим полученные мною из за границы революционные брошюры. Златопольский заметил на это иронически:

— Какой рабочий станет брать у вас брошюры, когда за одно чтение грозит несколько лет каторги?

Но вскоре я убедился, как далеко от действительности это представление о настроении рабочих. Благодаря содействию некоторых товарищей, стоявших в стороне от террористической группы, мне удалось встретиться в саду, на окраине города, с группой передовых рабочих, уцелевших от разгрома 1878 г. Я принес с собой столько брошюр, сколько мог спрятать в карманах и под одеждой. Рабочие — их было, насколько помню, человек 10 — набросились на эти брошюры, как ребятишки на пряники, и буквально расхватали весь мой запас.

Три человека особенно помогли мне потом установить связи с рабочими — Рублев, В. Сухомлин (отец члена партии социалистов-революционеров В. В. Сухомлина) и Мейер (или Яни).

Самым старшим из них был Рублев, производивший на меня впечатление серьезного, толкового, уже вполне сложившегося человека. Он был

лаврист и относился очень отрицательно не только специально к террору, но вообще к боевой, агитационной тактике. В моей памяти сохранилось впечатление, что он стоял исключительно за «мирную», «словесную» пропаганду, как тогда выражались бакунисты. Я, однако, питал надежду сойтись с ним ближе; но, к сожалению, он был скоро арестован и затем сослан в Сибирь. Меня во время его ареста в Одессе не было: по просьбе товарищей, я уезжал на русско-румынскую границу[1]) для получения там револьверов и, кажется, патронов, которые должны были быть доставлены из Тульчи; а когда я, по возвращении, отправился к Рублеву, то только благодаря случайности, не попал в руки жандармов.

Если память меня не обманывает, то Рублеву же я обязан своим знакомством с Сухомлиным и Мейером. Первый был еще совсем юношей, очень симпатичным; он готов был всячески мне помогать в установлении связей с рабочими. Впоследствии он примкнул к народовольцам и попал в ссылку. Мейер (или Яни) был, сравнительно с ним, уже зрелым человеком и также очень предан делу пропаганды среди рабочих. Весной 81 г., в бытность мою в Яссах, он приезжал ко мне, забрал у меня нелегальную литературу и был арестован с ней при переезде через границу, вследствие, как мне передавали, предательства местного поляка, взявшегося перевезти его в Россию. Мерзкой памяти

---

[1]) В пограничном городке (кажется в Белгороде), где я должен был оставаться несколько дней, служил тот самый исправник, с которым я — с паспортом фельдшера — ехал в одном вагоне из Рени в Бендеры. Я чуть было не попался ему в лапы в гостинице, в которой я остановился.

прокурор Стрельников добился осуждения его на двадцать лет каторги. Что с ним потом сталось, и жив ли он еще, я, к сожалению, не знаю.

Встречался я с рабочими чаще всего в чайных, иногда в каком нибудь саду, реже на частных квартирах. Приходилось соблюдать строгую конспирацию. О массовых собраниях нечего было и думать. Если сходилось десять-двенадцать человек, уже казалось, что это очень много.

Как бы то ни было, у меня явилась надежда на возможность плодотворной работы в Одессе, как раз в той сфере, которая в тот момент была заброшена наиболее боевыми элементами партии, и которой я придавал первостепенное значение. Не связанный никакими организационными обязательствами, не имея еще, ни по традиции, ни по своим партийным функциям, определенного района или сферы деятельности, я решил остаться в Одессе и здесь начать работу по об'единению сознательно революционных рабочих Юга в руководящий организационный центр для дальнейшей пропаганды и агитации среди рабочих.

* * *

Но я решил прежде с'ездить в Киев. Не помню точно, по каким именно соображениям и для какой именно цели предпринял я эту поездку. Вероятнее всего, что я хотел позондировать там почву среди передовых рабочих. Совершенно неожиданно я встретился в Киеве с Желябовым. Мы остановились с ним в одной и той же гостинице и даже ночевали вместе в одной комнате. Наша беседа затянулась до глубокой ночи. Говорили мы, между

прочим, о западной Европе, и меня приятно поразило то, с каким живым интересом относился Желябов ко всем явлениям революционного движения на Западе. Я знал, что этот человек поглощен боевыми планами, что жизнь его полна опасностей, что он готов в любой день встретить смерть. А он расспрашивал меня о рабочих собраниях в Европе, о французах-коммунарах, об анархистах, которых я встречал заграницей, в частности, о знаменитом ученом и коммунаре Элизе Реклю, жившем тогда эмигрантом в Швейцарии.

Рассказывая об Европе, я увлекался, забывал, что мы не в Женеве, начинал говорить громче, чем это допускалось условиями места и времени. Желябов возвращал меня к действительности предостерегающим: ш... ш...

Желябов, со своей стороны, рассказал мне о происшедшем только что в Обществе «Земля и Воля» расколе из за разногласий по вопросу о политической борьбе и о политическом терроре. Я ему высказал свое недоумение по этому поводу и развил свой взгляд на возможность и необходимость сочетать борьбу за политическую свободу с социалистической пропагандой, вообще, и среди рабочих, в особенности. Может показаться странным — да и мне самому это кажется странным, — но Желябов заявил мне, что он и его единомышленники предлагали на с’езде чуть ли не то самое, что я ему предлагаю, но что другая сторона была непримирима и категорически была против политической борьбы и террора.

На следующий день я уехал обратно в Одессу. Перед расставанием Желябов уговаривал меня сотрудничать в газете «Народная Воля», которую

новая партия собирается издавать. Я ему ответил, что, хотя я из нашей беседы выношу впечатление, что это для меня возможно, но, прежде чем дать категорическое обещание, я желаю услышать другую сторону и вообще несколько больше ориентироваться во взаимоотношениях расколовшихся частей партии.

* * *

Несколько позже я передал Стефановичу содержание моей беседы с Желябовым, и он мне чуть не теми же словами, как Желябов, ответил: «Да ведь этого мы и хотели! Но другая сторона, мол, ни на какие компромиссы не шла».

Согласие Желябова, с одной стороны, и Стефановича, с другой, с моей формулировкой взаимоотношения между политической борьбой и социалистической деятельностью было чисто словесное: оно было плодом недоразумения, вытекавшим из того, что мы в одни и те же слова вкладывали различное содержание. Лишь недавно вернувшись из заграницы в Россию и не пережив непосредственно событий и этапов революционного движения за довольно продолжительное время моего пребывания заграницей, я должен был еще специально ориентироваться в партийных разногласиях и взаимоотношениях представителей обеих фракций, чтобы получить вполне отчетливое, конкретное представление о содержании и степени этих разногласий.

Вот что рассказывает Фигнер о настроении и взаимоотношениях двух частей партии накануне раскола:

«По мере того, как часть программы, гласившая об обуздании произвола правительственных агентов, все более и более сосредоточивала на себе внимание петербургских землевольцев, сами они все менее и менее заботились о своих провинциальных товарищах: все средства и силы шли на освобождения, на террористические акты; приток тех и других в провинции все сокращался и они пришли, наконец, в совсем захудалое состояние.

«Мало того, началось и нравственное раз'единение. Петербургские землевольцы, упоенные успехами, раздраженные неудачами, в пылу борьбы, которая требовала постоянного напряжения сил, но, вместе с тем, давала неслыханное по своей силе средство для агитации, с удивлением и презрением стали смотреть на тишину саратовских сел и тамбовских деревень. Отсутствие там всяких признаков активной борьбы, видимая безрезультатность пребывания в деревне целых десятков лиц возмущали их до глубины души.

«Если десятки революционеров, посвятившие деревенской деятельности более двух лет, оказывались не в состоянии не только поднять народ, но даже представить какие - либо фактические данныя относительно возможности подготовления народного восстания в ближайшем будущем, то к чему дальнейшее пребывание их в деревне? Каждый член, остающийся среди крестьян, казался им отнятым от той кипучей борьбы, которой они отдавались с увлечением. Народникам же, в тесном смысле слова, казалось, что городские землевольцы занимаются фейерверками, блеск которых отвлекает молодежь от настоящего дела, от народной

среды, столь нуждающейся в ее силах. Убийства генералов и шефов жандармов были в их глазах работой менее производительной и нужной, чем аграрный террор в деревнях; террористические акты проходили в деревне бесследно, не над кем было наблюдать производимое ими впечатление; без пролога и эпилога, они не потрясали и самих деревенских землевольцев; они не переживали тревог, опасений и радостей борьбы; среди однообразия необозримых степей и моря крестьянских голов, они не оплакивали товарищей, которые шли на казнь».

Позволю себе процитировать еще несколько строк и из «Воспоминаний» землевольца другого течения, Аптекмана.

«Непосредственная активная борьба с правительством в той или другой форме фактически становится стимулом революционных действий людей 1878 года. И революционер становится все более и более агрессивным. Даже внешность его преобразовывается: вместо прежнего чумазого пропагандиста в косоворотке и больших сапогах, — пред нами джентельмен, весьма прилично одетый. У него за поясом кинжал, а в кармане револьвер; он не только будет защищаться, но и нападать; он даром не отдаст своей свободы... Революционные силы все более и более оттягиваются в город, борьба все более и более непосредственно направляется на правительство, — она становится политической борьбой. Мы на словах открещиваемся, как от «нечистого», от политической борьбы, мы негодуем, когда либеральная пресса ехидно упрекает нас в том, что мы свернули с на-

21*

меченного нами пути, но фактически — увы! — мы, помимо нашей воли, ведем политическую борьбу».

О том, что в самых центрах Общества «Земли и Воли» — административном и литературном — нравственное раз'единение так велико, и разногласия достигли такой остроты, я не знал и не мог еще знать в тот момент, когда встретился с Желябовым в Киеве. Да и сами землевольцы, жившие в деревнях, узнали об этом только весной и в течение лета 79 года, когда некоторые из них, по тем или иным причинам, побывали в Петербурге.

Аптекман, например, приехавший в Петербург весной 79 года, рассказывает, что он был, как громом поражен, когда «деревенщики» — Плеханов, Попов и другие — «с пеной у рта» говорили ему о новых стремлениях нашей администрации, большинства членов редакторской группы и других товарищей. Таким же совершенно неожиданным сюрпризом были эти стремления и этот разлад в руководящем персонале и для других «деревенщиков», очутившихся в то время в Петербурге. Между ними и сторонниками террора и политической борьбы принципиальные разногласия обострялись с каждым днем и стали принимать характер личных раздоров.

А между тем, первоначально террористические акты встречали восторженное сочувствие в среде всех землевольцев. Мало того, применение террористических методов признано было ими уже при основании своей организации. На сходках революционеров в Петербурге в 76 году, обсуждавших программу и тактику новой революционной ор-

ганизации, единогласно признано было необходимым, на случай крестьянского восстания, заранее подготовиться к нанесению удара в центре, с тем, чтобы привести «государственный механизм в замешательство и расстройство». Одобрена была и мысль «посредством динамита взорвать Зимний Дворец и похоронить под его развалинами всю царскую фамилию». Решено было также «защищать оружием честь и достоинство товарищей и обуздывать ударом кинжала произвол слишком рьяных правительственных агентов». И, наконец, в самый устав Общества внесен был пункт об образовании особой «дезорганизаторской», т. е. террористической группы с «широкими полномочиями»[1]).

Но в течение 78 и 79 гг. террор все более и более поглощал силы и средства партии — в ущерб пропаганде и агитации в народе, а дезорганизаторская группа приобрела в партии фактически преобладающее значение. Чисто эмпирическим путем террористы пришли к решению вместо того, чтобы тратить революционные силы на подготовку «удара снизу», направить их на подготовку террористическими средствами революции «сверху», то есть произвести политический переворот «сверху», путем «удара в центре», не дожидаясь народного восстания. Террористическая борьба оказалась, таким образом, несовместимой с основным тактическим лозунгом бакунистов, т. е. и землевольцев: «Освобождение народа должно быть делом самого народа»[2]).

---

[1]) См. воспоминания Аптекмана и В. Фигнер.
[2]) Перефразировка пункта устава Интернационала: „освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса".

В императорской России лозунг этот имел специальный исторический смысл. Он указывал наиболее надежный путь к радикальной победе демократии над старым режимом, потому что только революция «снизу», революция народная могла бы радикально покончить и с политическим бесправием народных масс и с экономическим и социальным порабощением их дворянством. Революция, подготовленная хотя бы и революционным авангардом демократической интеллигенции, без активного участия в ней крестьянства, не заключала бы в себе надежных гарантий для такой полной одновременной ликвидации и политического и социального режима царско-дворянской России. Но сами противники террора и политической борьбы не понимали об'ективного, реального смысла своей позиции в борьбе с новым революционным течением. Они отстаивали старую народническую программу действия не под радикально-демократическим, а под социалистическим углом зрения. Это было результатом теоретического недоразумения. Но все равно: раз оппозиция суб'ективно, в своем представлении, отстаивала интересы социалистической революции, она тем менее могла согласиться на отодвигание работы по подготовке народного восстания на задний план, а тем паче на совершенный отказ от нее — ради подготовления революции «сверху».

Мои соображения относительно, так сказать, гармонического сочетания террористической борьбы с пропагандистской, агитационной и организационной деятельностью в народе оказывались, таким образом, утопическими, основанными на недоста-

точном знакомстве с об'ективными и психологическими результатами террористического движения. Довольно скоро после свидания с Желябовым я, однако, настолько ориентировался в разногласиях между расколовшимися частями народнической партии, что мог без колебаний решить для себя вопрос, к какой из них присоединиться.

Но об этом ниже.

* * *

Вернувшись в Одессу после встречи с Желябовым, я принялся за подготовку организации среди рабочих, которую решил назвать «Южно-Русским Рабочим Союзом».

Организация с таким названием уже существовала в Одессе в 1875 г. Я решил восстановить это областное название, во первых, в силу принципиальных соображений, вытекавших из моих федералистических воззрений, а во вторых, потому, что не надеялся, чтобы в ближайшее время могла быть создана организация, которая могла бы охватить всю Россию. Впоследствии, думал я, подобные областные союзы (южно-русский, северно-русский и, может быть, еще другие), должны будут федерироваться, об'единиться между собой.

Я начал составлять программу предполагаемого рабочего союза и одновременно писал об'яснительную записку к этой программе. Еще прежде, чем я кончил эту работу — приблизительно, в сентябре или октябре — приехали в Одессу из Петербурга недавно вернувшиеся туда из Женевы Стефанович и Дейч.

Они сообщили мне о партийном расколе и об

отношениях, установившихся в Петербурге между обеими группами, которые сложились в результате этого раскола, — между партией «Народной Воли» и той группой, которая позже приняла название партии «Черного Передела». Отношения эти были вполне товарищеские. Практические вопросы, выдвинутые на очередь расколом, были разрешены полюбовно, путем соглашения. Обе группы обязались не пользоваться названием «Земля и Воля», ни как заголовком для своего литературного органа, ни как именем для организации. Материальные средства и имущество были товарищески поделены между обеими группами.

Вот яркий пример тогдашних взаимоотношений между представителями обеих фракций, на которые распалась народническая партия, и которым предстояла взаимная борьба за влияние в революционной среде.

Типография «Земли и Воли» при разделе досталась народовольцам. Чернопередельцам же типографию в начале наладить не удавалось. И вот, вместо того, чтобы использовать во всю это преимущество против конкурирующей группы, лишенной возможности выступить с литературной пропагандой, члены Исполнительного Комитета партии «Народной Воли» поспешили сообщить уезжавшим в Одессу Дейчу и Стефановичу, что в скором времени может произойти событие, которое народникам желательно будет использовать в целях агитации, и что на этот случай «Народная Воля» предоставляет к их услугам свою типографию для отпечатания прокламации или манифеста по поводу этого события.

Речь шла здесь о новом покушении на царя, о грандиозном плане, в который входили три подкопа под железнодорожное полотно (под Одессой, у ст. Александровской и под Москвой). Народники написали манифест, предназначенный для распространения после известия об успехе покушения, и Исполнительный Комитет отпечатал его — впоследствии в Одессе мы получили этот листок в 3.000 экземплярах.

Когда Дейч и Стефанович передали мне предупреждение Исполнительного Комитета о возможном в близком будущем «событий», я решил ускорить образование «Южно-Русского Рабочего Союза».

Я очень хорошо сознавал недостаточность наличных сил и предварительной подготовки для создания сколько-нибудь серьезной, прочной рабочей организации. Но уже нельзя было медлить, и я примирился с мыслью основать хоть зародышевую организацию специально в виду ожидаемого события. Я придавал большое значение существованию хотя бы и такой организации, лишь бы она могла, в случае удачи подготовлявшегося террористического акта, обратиться к рабочим и крестьянам с воззваниями и дать импульс брожению среди них.

Рабочим, с которыми я вел беседы об организации проектируемого Союза, я не мог, конечно, сообщить конкретный мотив, побуждавший меня спешить с этим делом. Я им только напоминал о покушении Соловьева и указывал на то, что попытка убить царя может повториться. Если она удастся, говорил я, то во всех классах насе-

ления начнется сильное брожение, на сцену выступят разные партии со своими требованиями. Необходимо, чтобы в этот момент раздался и голос рабочего класса. А для этого, наиболее сознательно-революционным элементам среди рабочих необходимо заранее организоваться и подготовиться к самостоятельному выступлению, в момент всеобщего движения, с определенными требованиями.

Когда программа с об'яснительной запиской и уставом (его написал Стефанович) была готова, я созвал моих знакомых рабочих, и на этом же собрании был учрежден «Южно-Русский Рабочий Союз».

Внешним образом программа делилась на три части. Сперва излагалась (по-бакунински) конечная цель союза — преобразование общества на анархических началах. Затем шло обоснование требования конфискации помещичьих земель и наделения землею крестьянства, при чем отмечалось, что интересы рабочих и крестьян в России неразрывно связаны между собою, и что рабочие столь же, как и крестьяне, заинтересованы в аграрной революции. В заключение перечислялись ближайшие требования, за которые союз должен будет агитировать: тут было всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право, свобода собраний, свобода слова, сокращение рабочего дня и т. д.

Таким образом, фактически у нас была программа внешне сходная с программой германской социал-демократии. С точки зрения бакунизма, это было, разумеется, большой ересью. И я думаю, что заразился я этой ересью в то время, когда в Женеве критиковал германскую социал-демократию. Но

приняв социал-демократическое деление программы на конечные и ближайшие требования, я обосновывал или, точнее, мотивировал это деление эклектически — по-бакунистски, хотя и с примесью изрядной дозы социал-демократизма.

Подробно я комментировал программу в «об'яснительной записке». При этом исходил я из того положения статутов Интернационала, которое гласит: «освобождение рабочего класса должно быть делом самих рабочих».

Руководящий практический лозунг Интернационала, писал я, требует неустанного развития сознательности и организованной активности эксплуатируемых и порабощенных масс в борьбе за их насущные интересы и права. Только в результате больших усилий на этой почве они смогут добиться полного своего освобождения. Отсюда необходимость агитации и организации масс для борьбы за такие требования, которые диктуются их повседневными нуждами и потребностями. Обобщая эти последние, мы получаем ряд «ближайших требований». Для успокоения же своей бакунистской совести, я соответствующую рубрику назвал «поводы к агитации».

Это был своего рода эклектический мостик между моими анархическими взглядами и, как зараза, сидевшими уже в моем мозгу социал-демократическими тенденциями.

* * *

Осенью мы получили в Одессе первый номер «Народной Воли».

Редакция журнала заявляла о своей полной солидарности с принципами, которые пропагандировала газета «Земля и Воля», и сообщала о том, что этот орган прекратил свое существование из за расхождения, происшедшего среди руководившей им группы по вопросу о значении борьбы с правительством. Передовая статья начиналась и заканчивалась словами: «Delenda est Carthago» («Карфаген должен быть разрушен»). Главной очередной задачей революционеров эта статья выдвигала политический переворот. «Правительство об'являет нам войну... Наш прямой расчет — перейти в наступление и сбросить с своего пути это докучливое препятствие... Мы не говорим, чтобы в народе была абсолютно невозможна пропаганда, агитация, даже чисто бунтарская деятельность, но, при настоящих условиях, она слишком затруднена... Возьмем ли мы на себя инициативу противоправительственного похода и политического переворота, — или будем по старому игнорировать политическую деятельность, тратя все силы на то, чтобы биться около народа, как рыба об лед?[1]) Вот в чем вопрос».

В первом же номере «Народной Воли» мы прочли об'явление об издании газеты «Черный Передел». Эта газета должна была служить органом другой «Социально-Революционной Партии», находившейся в оппозиции ко взглядам «Народной Воли» и отстаивавшей старую народническую программу и тактику. Редакция газеты, подчеркнув свою полную солидарность со взглядами, выраженными в пе-

---

[1]) Курсив мой.

редовых статьях «Земли и Воли», заявляла: «Дальнейшее развитие этих взглядов, определение задач партии в народе и предостережение ее от излишнего увлечения задачами чисто политического характера, могущими отвлечь партию от единственно возможного для нее пути, — агитации на почве требований народа, выраженных лозунгом «Земля и Воля», — будет составлять нашу задачу».

Дальше об'явление сообщало: «Мы считаем в числе ближайших сотрудников Плеханова, Аксельрода, Стефановича, Дейча и надеемся, что Крапоткин и некоторые из коммунаров тоже не откажут нам в своем литературном содействии».

Сопоставляя взгляды, выраженные в первом номере «Народной Воли», с той задачей, которую поставила себе редакция «Черного Передела», я не мог не видеть, что, с некоторыми оговорками, второе направление гораздо ближе мне. Не помню точно, но, весьма вероятно, что и личные связи и приятельские отношения с Дейчем и Стефановичем также отчасти повлияли на мое решение вступить в партию «ортодоксальных» народников.

Название нового народнического органа претило мне, и я откровенно говорил товарищам, что от этого названия отдает запахом средневековья. Но чернопередельцы отстаивали старую позицию радикальной интеллигенции, в вопросе об основной задаче нашего движения — сосредоточение всех его сил и средств на развитии революционной самодеятельности в народных массах для подготовки их к социальному перевороту. Народовольческий же орган провозглашал эту деятельность бесплодной, приравнивая ее к сизифовой

работе. Это и решило мой выбор. Кроме того, так как чернопередельцы читали мою статью в «Общине», да и от Дейча и Стефановича знали о моих «ересях», то я мог быть уверен, что зачисливши меня (без спроса) в ближайшие сотрудники своего органа, они решили не стеснять меня в пропаганде моих «западнических» тенденций, как на столбцах «Черного Передела», так и устно.

* * *

Мое вступление в чернопередельческую фракцию не мешало мне в экстренных случаях оказывать услуги другой фракции. Такой случай представился чуть не через несколько дней после моего присоединения к партии «Ч. П.».

Вскоре после того, как я наладил организацию рабочего кружка в Одессе, я решил с'ездить в Харьков, чтобы и там устроить подобный кружок и связать его с одесским.

Когда Златопольский и другие народовольцы в Одессе узнали, что я собираюсь в Харьков, то они попросили меня взять с собой шесть револьверов и 50 или 100 патронов для Желябова. Само собой разумеется, я принял это поручение.

Мой чемоданчик, когда я положил на дно его револьверы и патроны, оказался настолько увесистым, что мне трудно было нести его. Но всего за две или три недели до того, между Одессой и Харьковым (в Елисаветграде), был арестован Гольденберг с транспортом приготовленного Кибальчичем динамита. Арестован он был потому, что

носильщику, которому он поручил перенести свой багаж, показался подозрительно тяжелым наполненный динамитом чемодан. После этого урока я уже не решался прибегать к помощи носильщиков, но повсюду носил свой чемоданчик сам, стараясь, чтобы со стороны не было заметно, что это не совсем легко.

В Харькове меня ждал Желябов. Передавая ему оружие, я сказал ему шутливо:

— Видите, я приехал с самыми мирными намерениями.

Я имел в виду, что в мои планы не входит бороться с народовольцами. Желябов ответил:

— Ну, по вашему багажу не видно, чтобы намерения у вас были очень мирные.

На этот раз Желябов был совершенно поглощен своей специальной работой по подготовке взрыва и казался более, чем обычно, озабоченным. Он спросил меня, решил ли я окончательно, к какой революционной партии я примкну. Я ответил, что после первого номера «Народной Воли» положение для меня определилось, и что я присоединяюсь к партии «Черного Передела».

В Харькове революционные элементы настроены были народовольчески. По крайней мере, те представители местной радикальной интеллигенции, с которыми меня познакомил Желябов, и к которым я имел рекомендации от одесских товарищей, сочувствовали новой партии, а некоторые из них, видимо, входили в состав местной партийной группы. Во главе ее стоял Телалов, переселившийся потом в Москву, где играл видную роль, в качестве представителя или агента И. К. Я его, поэтому, в шутку,

называл московским генерал-губернатором народовольческой партии.

Те же полу- и настоящие народовольцы устроили мне свидание с одним или двумя-тремя рабочими. Помнится, из беседы с этими рабочими и с интеллигентами, познакомившими меня с ними, я вынес впечатление, что рабочих, сколько-нибудь серьезно затронутых пропагандой, в Харькове очень-очень мало, и что и они довольно пассивны. Весьма вероятно, именно поэтому мои собеседники, поскольку у них были какие-нибудь партийные симпатии, сочувствовали террористам больше, чем чернопередельцам. Активных сторонников фракции «Черного Передела» в Харькове, кажется, вообще не было. Во всяком случае, влияние этой фракции было здесь ничтожно, если вообще можно было говорить о каком бы то ни было ее влиянии. Радикальная интеллигенция симпатизировала террору, и это отражалось на настроении и тех немногих единиц среди рабочих, с которыми представители этой интеллигенции поддерживали сношения.

Чтобы приобрести некоторое влияние среди передовых харьковских рабочих и привлечь их на свою сторону, мне нужно было остаться в Харькове на более или менее продолжительное время, а этого я тогда не мог сделать. Отложив, поэтому, на после мысль об организации там отделения Союза, я поспешил вернуться в Одессу.

* * *

Вскоре после этого произошел под Москвой взрыв подкопа, который вела под полотно Мос-

ковско-Курской железной дороги группа народовольцев с Перовской во главе, по поручению Исполнительного Комитета их партии. Царь и на этот раз остался жив и невредим. И, как всегда бывало в таких случаях, начались повсюду обыски, аресты, преследования. Это, конечно, должно было на некоторое время очень затруднить, замедлить или даже затормозить. работу, начатую мною в Одессе. Все же я не думал бросать ее и уезжать из Одессы.

Но вот Дейч и Стефанович получили из Петербурга письмо, в котором наш партийный центр требовал, чтобы я немедленно приехал туда для замены Плеханова в редакции «Черного Передела»[1]). Товарищи сообщали, что ему грозит неминуемый арест, и что необходимо, чтобы он хоть на некоторое время уехал заграницу. Очень не хотелось мне бросить дело в Одессе, но, кроме требования товарищей, еще другие веские соображения говорили в пользу переезда в Петербург. Главнейшее из них диктовалось тем обстоятельством, что там находился руководящий центр партии, и я надеялся, что смогу через него и при помощи органа, в редактировании которого я должен был участвовать, повлиять на общее направление партийной работы в желательном для меня духе. Как ни приятен был мне сочувственный отклик нескольких затронутых пропагандой одесских рабочих на мое предложение образовать самостоятельный союз, я все же не мог не заметить, что и наиболее развитые из них далеко не проявляют воодушевления и

[1]) Кроме Плеханова в редактировании газеты участвовал О. Аптекман.

активности, которые необходимы были бы для обеспечения прочности и жизнеспособности только что созданной организации.

Кроме того, ведь и я разделял общий всем русским бакунистам взгляд, по которому центр тяжести нашего революционного движения — в деревне, а не в городе. Я только придавал пропаганде среди рабочих относительно больше значения, чем господствовавшее в партии общественное мнение, видя в такой пропаганде одно из наиболее надежных средств против «омужичения русского социализма», с одной стороны, и полного совращения революционных элементов на путь «либерализма» или «якобинизма», с другой. Другим же предохранительным средством против этих опасностей, наряду с усиленной устной социалистической пропагандой в городе, я считал организацию широкой литературной пропаганды. А эти вопросы могли быть решены, в общепартийном масштабе, только в Петербурге. Считая себя обязанным исполнить желание товарищей, я рассчитывал в то же время отстаивать в Петербурге необходимые, по моему мнению, реформы в нашей партийной практике.

В декабре, условившись со Стефановичем, что он будет поддерживать сношения с «Южно-Русским Рабочим Союзом», я выехал в Петербург. Отмечу тут же, что вскоре Стефанович и Дейч тоже уехали в Петербург, а оттуда через некоторое время заграницу. Созданный же нами рабочий «Союз» перешел потом в руки народовольцев. Как мне впоследствии передавали, руководил им или «работал» в нем, главным образом, Тригони.

XV. Среди чернопередельцев и народовольцев.
(1880—1881 гг.).

Чернопередельцы в Петербурге. — „Орган социалистов-федералистов“. — От'езд заграницу основателей фракции „Черного Передела“. — Мои планы „реформ“. — Проект программы. — Отношение к этому проекту нашей женевской группы. — Наши отношения с народовольцами. — Беседа с Желябовым. — Переговоры с Л. Тихомировым и Дворником. — Недоразумение с заграничными товарищами улаживается. — Среди румынских социалистов. — В румынской тюрьме. — Высылка из Румынии.

Приехав в Петербург в середине декабря или несколько позже, я еще застал там Плеханова, являвшегося идейным главой и душой чернопередельческой группы. На воронежском с'езде землевольцев он самым страстным и решительным образом отстаивал старую народническую программу и тактику, вдохновлял сторонников сохранения той и другой в неприкосновенности и фактически руководил ими. Его моральному и идейному влиянию, главным образом — чтобы не сказать больше — приверженцы старого народничества были обязаны тем, что они сорганизовались в самостоятельную группу «Черный Передел».

Кроме Плеханова среди петербургских чернопередельцев выделялся своим образованием и ли-

22*

тературными способностями О. В. Аптекман, с которым я впервые познакомился при своем последнем приезде в Петербург. Из других чернопередельцев я лично знаком был с Н. Короткевичем, М. Крыловой и Е. Н. Ковальской. С Короткевичем я встречался в Киеве в конце 73 и в начале 74 года. Насколько помню, он, если не формально, то фактически примыкал к кружку «Чайковцев». М. Крылова в 76 или 77 г. училась наборщическому делу в Женеве и теперь заведывала типографией «Черного Передела». Она была до крайнего фанатизма предана старому народничеству и вообще принадлежала к типу наиболее самоотверженных людей революционного поколения 70-х годов. С Е. Н. Ковальской я познакомился осенью 1875 года в Петербурге. Муж ее был учителем в какой-то гимназии или другом среднем учебном заведении и так же, как она, сочувствовал революционному движению. Но она впоследствии целиком отдалась делу революции и попала, насколько мне известно, на каторгу.

Кроме названных членов чернопередельческой группы, в моей памяти сохранились имена только двух, с которыми я впервые познакомился: Преображенский («Юрист») и Щедрин. Но только первый из этих двух принадлежал к руководящему, центральному кружку чернопередельческой фракции.

Всего в центре числилось максимум десять человек, но из них часть отсутствовала из Петербурга. А те, которые были на лицо, очень скоро после моего приезда очутились — одни в тюрьмах, а другие заграницей. Поэтому, с большинством

из моих новых товарищей я даже не успел ближе познакомиться.

* * *

Когда я приехал, статьи для № 1 нашего органа были уже написаны и сданы в набор. Тем не менее, на первом же собрании наличных членов центра (Аптекмана, кажется, не было, — не помню, почему) я внес предложение назвать нашу организацию «партией социалистов-федералистов» и изменить соответствующим образом и название ее органа. От первоначального ее названия — «Черный Передел» — на меня веяло чем то архаическим, средневековым. Оно как бы закрепляло отчуждение или даже разрыв русского революционного движения с западным социализмом и возводило «омуживание» социализма в верховный руководящий принцип партии. В программной статье первого номера «Земли и Воли» особенно ясно и рельефно указаны были смысл и применение этого принципа.

«Мы не верим, говорилось там, в возможность путем предварительной работы создать в народе идеалы, отличные от развитых в нем всей предшествующей его историей. На попытки подобного рода мы смотрим, как на совершенно нерасчетливую трату сил. Революционеры могут быть лишь выразителями народных стремлений... Поэтому основанием всякой истинно революционной программы должны быть народные идеалы, как их создала история в данной местности... Революционеры-народники должны принять программу народных

революционеров-социалистов Пугачева, Разина и их сподвижников. Она должна состоять в отнятии земель у помещиков, а иногда в поголовном истреблении всего начальства, всех представителей господ и в учреждении «казачьих кругов», т. е. вольных автономных общин»[1]).

Теоретически и принципиально я — по меньшей мере, одной ногой — стоял на той же позиции, которую занимали и отстаивали сторонники старого народничества. Меня отталкивала в нем только тенденция отгораживаться от западного рабочего движения и игнорировать или, во всяком случае, недооценивать значение социалистической пропаганды, как необходимого корректива к неизбежно односторонней агитации во имя одних только крестьянских лозунгов, и как связующего звена между нашей партией и Интернационалом. Мои новаторские стремления не шли дальше «реформ», частичных изменений в программе и тактике партии, и отнюдь не были принципиально «революционными». Поэтому, я мог для начала удовлетвориться изменением названия нашей партии и ее органа. Предложенное мною название подчеркивало ее идейную связь с «федералистическим Интернационалом».

Мое предложение вызвало очень характерные возражения.

— Название, предлагаемое вами, говорили некоторые товарищи, предполагает федеративное устройство Российского государства после револю-

---

[1]) Курсив везде в этой цитате мой.

ционного переворота, или даже разделение его на части. Но может быть, народ будет против этого.

— А что если народ захочет бить жидов? отвечал я: Что если народ захочет силой воспротивиться отделению Польши от России? Мы и тогда должны идти за народом? Нет! Как социалисты, мы не можем ограничить свои цели исключительно желаниями народа в данный момент, какими бы предрассудками эти его желания ни были продиктованы!

Плеханов всецело поддерживал меня в этом пункте.

— Мы с народом, лишь поскольку его стремления прогрессивны, а отнюдь не можем поддерживать реакционные стремления народа, заметил он.

И тут же он привел новый довод в пользу моего предложения:

— «Народная Воля» отстаивает принцип централизма. Принимая название «партии социалистов-федералистов», мы в этом отношении отмежевываемся от народовольцев.

И в первом же номере нашего органа поставлен был подзаголовок: «Орган социалистов-федералистов». Название же журнала уже поздно было менять — с ним мне пришлось примириться, удовлетворясь, пока, только «западническим» подзаголовком. Этим подзаголовком нейтрализовалась, в большей или меньшей мере, та средневековая, об'ективно реакционная тенденция, которая, по моему имению, сквозила в названии «Черный Передел».

Но Плеханов пошел еще дальше: он написал редакционную заметку для еще не отпечатанного номера, в которой, об'ясняя, почему наше издание названо «органом социалистов-федералистов», подчеркивал, что это название должно указывать на тесную связь русского революционного движения с западным социализмом и рабочим движением.

Эта заметка заслуживает того, чтобы здесь воспроизвести ее существенные места.

«В статье о «черном переделе» подробно говорится об отношении повсеместного ожидания народом передела земли к этой исторической революционной формуле. Что касается названия нашего издания органом социалистов-федералистов, то оно об'ясняется нашим убеждением, что лишь федеративный принцип в политической организации освободившегося народа, только полное устранение принудительного начала, на котором основаны современные государства, и свободная организация снизу вверх — может гарантировать нормальный ход развития народной жизни. Насколько торжество федеративного принципа может быть достигнуто одним ударом, одним победоносным революционным движением, — невозможно, конечно, сказать в настоящее время. Но партия должна направить все усилия к обеспечению его торжества, и социально-революционные издания не могут обходить молчанием этого важного вопроса.

«Этнографический состав населения русского государства постоянно заставляет считаться с ним даже в современной нам практике. Малороссия, Белоруссия, Польша, Кавказ, Финляндия, Бессара-

бия — каждая из этих составных частей Российской Империи имеет свои народные особенности, требует самобытного, автономного развития.

«В виду этого, было бы весьма полезно развитие местной революционной литературы; но пока оно составляет задачу будущего, «Черный Передел» по необходимости является органом всех русских социалистов, разделяющих основные положения его программы. Тем не менее, каждое указание на местные отличия в постановке социального вопроса и практических приемах партии всегда найдет самый радушный прием на страницах нашего издания.

«Наконец, исходя из условий русских общественных отношений в постановке своей практической программы, русская социально-революционная партия не может упускать из виду положений научного социализма, которые должны служить для нее критерием при оценке различных сторон и форм народной жизни. Издание, имеющее в виду, главным образом, интеллигентных читателей — к которым мы относим также и часть городских рабочих — даже обязано указывать на тесную связь русского революционного движения с общими выводами западно-европейской жизни и мысли, оттенять их тождество — в последнем счете — с стремлениями и задачами русской социально-революционной партии.

«Сказанного, полагаем, достаточно, чтобы отклонить могущие возникнуть по поводу названия нашего органа недоразумения».

Отмеченное и подчеркнутое в этих строках принципиальное отношение редакции к «федера-

тивному принципу» и к идейному влиянию «западно-европейской жизни и мысли» на русское революционное движение совпадало с моими взглядами. Не знаю, прочитали ли редакционную заметку Дейч и Стефанович, вскоре прибывшие из Одессы. Но думаю, что они согласились бы с выраженной в ней точкой зрения, ибо после годичного пребывания заграницей и они в известной степени поддались «тлетворному влиянию Запада». А они, вместе с В. Ив. Засулич и Плехановым были самыми авторитетными членами фракции «Черного Передела». К сожалению, Плеханов, очень скоро должен был уехать заграницу (я всего раза два виделся с ним), а вслед за ним уехали и все трое названных товарищей.

* * *

Я могу с уверенностью сказать, что отнюдь не опасения ареста и неминуемой каторги побудили товарищей в такой критический момент оставить Россию. Конечно, сама организация стояла за их от'езд на некоторое время заграницу, опасаясь их ареста со всеми его последствиями. Но сами уезжавшие решились на это из за других мотивов. Плеханов чувствовал настоятельную потребность теоретически разобраться в идейном хаосе и противоречиях задач и тенденций русского революционного движения. Весьма вероятно, что эта потребность не так остро и непреодолимо давала бы ему себя чувствовать, если бы чернопередельческая организация представляла собою очень активную, боевую революционную силу. Но он не мог не видеть и не чувствовать, что в данное

время, по крайней мере, организация эта влачит довольно жалкое существование. Как бы то ни было, Плеханов отправился заграницу, чтобы, как он полушутя говорил, «учиться и достичь там до ученой степени магистра или доктора». Под этими шутливыми словами скрывалось серьезное намерение углубиться в теорию и основательно подготовиться к руководящей роли в революционном движении России.

Не знаю, руководились ли также и Дейч, Стефанович и В. Засулич соображениями теоретического характера, решаясь уехать в Швейцарию. У меня сохранилось только впечатление, что в них заметно было нечто в роде психической усталости и некоторого скептицизма или пессимизма по отношению к нашим планам. Но они старались не обнаруживать передо мной этого настроения, не желая, очевидно, подрывать во мне, недавно вернувшемся из заграницы и не испытавшем еще больших неудач и разочарований, веру в силу и жизнеспособность нашей фракции.

* * *

После от'езда Плеханова и других товарищей, я рассчитывал, главным образом, на поддержку Аптекмана в осуществлении «реформ», с которыми я носился. Его статья в № 1 «Черного Передела» («Письмо к бывшим товарищам») произвела на Плеханова большое впечатление. Впоследствии он мне говорил, что она напоминала ему статьи Белинского. Мне она также очень понравилась, хотя и оставила во мне неопределенное чувство неудо-

влетворенности. Как бы то ни было, статья выделялась не только чрезвычайной искренностью и благородным, товарищеским тоном в полемике с народовольцами, но и в чисто литературном отношении.

Под впечатлением от этой статьи, подкрепившим то, которое я вынес из первой беседы с Аптекманом, я однажды заговорил с ним о необходимости приняться серьезно за издание популярной литературы для рабочих и крестьян. Я не сомневался в том, что он, без всяких колебаний, с полным сочувствием отнесется к моему предложению, и что мы сейчас же перейдем к вопросу о путях и средствах к его осуществлению. Но, вместо этого, я совершенно неожиданно услышал от Аптекмана возражения, очень напомнившие мне те, которые делал мне несколько лет раньше, в Киеве, Судзиловский. Я не помню дословно нашего спора; помню только, что спорили мы очень горячо и так резко — я, по крайней мере, — что мне потом было очень досадно на себя: Аптекман производил на меня впечатление физически хилого, слабого человека[1]), и я испытывал укоры совести за то, что во время спора не принял этого во внимание.

Если так относится к делу организации литературной пропаганды среди народа наиболее интеллигентный и образованный член центральной чернопередельческой группы, рассуждал я про себя, то, очевидно, внутри самой этой группы я могу ожидать только упорной оппозиции своим планам. И припоминая еще возражения, с которыми то-

[1]) Из Сибири он вернулся гораздо более крепким и здоровым.

варищи выступили против моего предложения переменить название нашего органа, я пришел к заключению, что и для «реформы» или «революции» в партии необходима предварительная пропаганда и агитация в их пользу в «низах», а именно, в тех кругах революционной молодежи, которые непосредственно примыкают к нашей организации, пропагандируют ее программу и поддерживают ее морально и материально.

С этой именно целью я начал сближаться с теми представителями молодежи, с которыми я уже познакомился весной, непосредственно после своего приезда из Женевы в Петербург. Почти все они являлись сторонниками «Черного Передела» и составляли непосредственно активную часть нашей периферии. Но этой периферии очень скоро пришлось самой стать центром.

В середине января полиция нагрянула в нашу типографию, арестовала всех товарищей, находившихся там, и захватила готовый номер «Черного Передела». Аптекман, кажется, еще раньше был арестован, вследствие предательства Жаркова, одного из наших наборщиков. При помощи того же предателя были захвачены и остальные члены центра. Меня спасла от ареста счастливая случайность, или вернее, глупость дворника дома, где жил арестованный уже Короткевич, бывший посредником между типографией и внешним миром. Я пошел к нему, чтобы взять у него несколько экземпляров «Черного Передела». Но дворник, карауливший у ворот, вместо того, чтобы впустить меня во двор, спросил у меня с довольно подозрительным видом, к кому я иду. Не трудно было

догадаться, зачем это надобно ему знать, — и мне удалось его одурачить.

Теперь мне, новому человеку в Петербурге, пришлось для продолжения дела, начатого уехавшими и арестованными товарищами, приступить к постройке нового партийно-организационного здания. Я обратился, конечно, прежде всего, к тем молодым товарищам, с которыми я уже поддерживал сравнительно близкие отношения. На небольшом собрании известных своим сочувствием и преданностью народническому движению представителей молодежи я указал на их долг заменить выбывших из строя товарищей и сорганизоваться в центральную, руководящую группу. Мое предложение встречено было единодушным сочувствием, и после нескольких совещаний решено было группу эту об'явить центром «партии социалистов-федералистов»[1]). Вместе с тем, мне было поручено составить проект программы, в духе тех принципиальных и тактических взглядов, которые я пропагандировал частным образом и развивал в наших общих совещаниях.

* * *

Первое и главное место в практической части программы было отведено, конечно, требованию

[1]) В состав новой центральной группы чернопередельцев вошли следующие товарищи: морской офицер Анатолий Буланов, студент последняго курса юридического факультета Шефтель, студент того же факультета Загорский, студенты последних курсов медицинского факультета два брата Марковские, М. Уваров и Качурин. Примыкали к группе моряки Вырубов и Лавров, супруги Козловские и Решко, у которой я и некоторые другие товарищи чаще всего собирались. Имена других членов группы и близко стоявших к ней товарищей я не помню.

передачи всей земли в руки крестьян на началах общинного владения. Но мотивировал я это требование не тем, что оно-де, по существу, социалистическое, и что общинное землевладение, по своей внутренней природе, способно стать исходным пунктом и основой для развития социалистического строя в России, а совершенно другими соображениями. Среди них одним из главных являлось то, что социалистическая революция на Западе не за горами, и что продолжительное существование буржуазной России рядом с социалистической западной Европой столь же невозможно, как невозможно оказалось сохранение дореформенной, крепостной России рядом с буржуазными государствами Европы. Поэтому сохранение общины в чрезвычайной степени облегчит восприятие народными массами России идеи коллективной собственности и организации производства и обмена на социалистических началах. С этой точки зрения, и сохранение в народе даже одних только традиций общинного владения землей имеет огромное значение, потому что очень облегчит пропаганду коллективизма в народных массах. Это последнее соображение, насколько помню, я обстоятельно развивал и подчеркивал в довольно пространной «Об'яснительной записке» к программе.

Дело в том, что как раз около того времени, когда я был в Петербурге, народническую молодежь волновал вопрос о судьбе общины. Не помню точно, под влиянием ли только статей Зибера — первого русского марксиста, но только в узко-экономическом смысле — или также под впечатлением беллетристических очерков из деревенской жизни,

— у некоторых представителей этой молодежи зародились тревожные сомнения на счет возможности спасти общину от разложения. А если община по тем или другим причинам погибнет, то не сделает ли это безнадежными наши стремления к социальной революции? — с тревогой спрашивали некоторые молодые народники.

Вот на такого рода сомнения и вопросы я и отвечал в своей об'яснительной записке, с одной стороны, ссылаясь на близость социалистической революции на Западе, а с другой, — подчеркивая важность путем усиленной пропаганды и агитации поддерживать к народе традиции общинного землевладения.

Напомню, мимоходом, что года два с лишним после того, как чернопередельческий кружок старался рассеять сомнения и опасения народников на счет судьбы общины, рисуя перед ними перспективу одновременности революции в России и социалистического переворота на Западе, на ту же перспективу указал Маркс в своем предисловии к русскому изданию «Коммунистического Манифеста» (в переводе Плеханова). «Если русская революция — писал Маркс в этом предисловии — послужит сигналом для революции пролетариата на Западе, и таким образом обе дополнят одна другую, то существующее общинное землевладение в России может послужить исходным пунктом коммунистического развития».

Особенное внимание я уделил в «Об'яснительной записке» обоснованию той части программы, которая формулировала требование федеративного строя.

«Анархическая организация общества, писал я, не может быть водворена с сегодня на завтра революционным путем. Она предполагает, как необходимую об'ективную предпосылку, способность всех членов общества и реальную возможность для них выполнять по очереди разнообразные функции в общественном производстве и управлении страной и непосредственно участвовать в контроле над этим управлением. А это, в свою очередь, требует, как об'ективно необходимого предварительного условия, такого высокого развития машинного производства и вообще хозяйственной техники и такого высокого уровня культурного и умственного развития масс, которые могут быть достигнуты только на почве социалистического общества, т. е. уже после победоносной революции, в эпоху полного упрочения и дальнейшего развития ее социально-экономических и политических результатов».

Толчок к такой постановке вопроса об осуществлении анархического идеала дала мне одна беседа с Зибером, первым русским ученым марксистом, профессором политической экономии в Киевском университете. Я познакомился с ним в Берне уже после того, как он из политических мотивов оставил кафедру и поселился в Швейцарии. Чуть не при своем первом посещении его в Берне (вероятно, в начале или середине 78 г.) я затронул в беседе с ним и вопрос об организации «будущего общества» и, конечно, высказался в пользу анархии. И вот Зибер по этому поводу иллюстрировал мне неосуществимость анархии — не помню, подчеркивал ли он, что она неосуществима только при с о в р е-

менном развитии общества — ссылкой на относительные роли капитана и пассажиров на корабле во время плавания. Капитан на корабле посреди моря всемогущ, а пассажиры всецело от него зависят. Почему? Да потому, что он один умеет управлять судном, а пассажиры совершенно несведущи и беспомощны в этом деле. Вот если бы каждый из пассажиров — или, по крайней мере, большинство из них — приобрел знания и технические навыки, необходимые для выполнения функций капитана и для замещения его, в случае надобности, то этим самым был бы положен конец его «единовластию» на корабле. По существу, такова же основа взаимоотношений между государственной властью и массой населения.

Я не помню всего содержания моей беседы с Зибером, помню только твердо, что именно ею — прямо или косвенно—навеяны были мне мысли о необходимости признать федеративный строй ближайшим идеалом или историческим этапом на пути к анархической общественной организации.

В программе отведено было особое место и целому ряду «ближайших» политических и экономических требований, — но, конечно, так же, как в программе «Южно-Русского Рабочего Союза», под рубрикой: «Поводы для агитации».

В «Об'яснительной записке» я предлагал и организационное «новшество». В состав «партии социалистов-федералистов» входят все сторонники нашей программы и тактики. Но центр партии должен быть строго конспиративной и замкнутой организацией, под особым названием — Общества «Земля и Воля». Народовольцы как-то узнали

об этом и поручили Л. Тихомирову напомнить мне, что при ликвидации прежней организации, носившей это название, расколовшиеся части условились, что ни одна из них в отдельности не может им пользоваться. «Может быть, прибавил Тихомиров, нам придется снова об'единиться в одну организацию. Тогда нам пригодится старое название».

Я согласился с этими доводами и предложил молодому кружку назвать центральное ядро нашей партии: «Великорусское Общество Земли и Воли». В этом названии сказалось влияние на меня Драгоманова.

Когда программа и «Об'яснительная записка» были приняты кружком, я отправился в Москву, где имелась группа сторонников «Черного Передела». Эта группа также приняла программу и вступила в новую организацию.

* * *

Но прежде, чем публично выступить под новым названием и с новой программой, организационно об'единившимся преемникам «Черного Передела», необходимо было войти в соглашение со старыми членами и основателями этой фракции, находившимися заграницей — с Плехановым, Стефановичем, Засулич и Дейчем. Это необходимо было, во первых, для сохранения преемственности в партии и для предупреждения недоразумений, трений и раздоров в ней. Уже по одному этому соображению, очень важно было получить полную санкцию наших «реформаторских» шагов и планов со стороны авторитетных представителей старого народничества и хранителей его традиций. Но предвари-

23*

тельное соглашение с ними диктовалось еще и необходимостью организовать заграницей прессу, в виде хотя бы полупериодических изданий и брошюр, для теоретического обоснования и литературной пропаганды нашей программы и наших идей. Само собою разумеется, поручить организацию и редактирование нашего органа и брошюр заграницей мы могли только группе названных товарищей, с Плехановым во главе.

В виду всех этих соображений, мы послали в Женеву для переговоров и для установления регулярных сношений с этими товарищами делегата — или, точнее «делегатку», — в лице, если память меня не обманывает, Е. Козловой, которой поручили, конечно, познакомить их с нашим положением и нашими планами.

Делегатка вернулась с неутешительными вестями: из письма Стефановича, которое она привезла мне, мы узнали, что заграничные товарищи не сочувствуют тому направлению, которое мы пытались придать партийной работе, и не согласны принять нашу программу.

«Это не народничество, а социал-демократизм», говорили они нашей делегатке.

Не помню точно ни содержания письма Стефановича, ни сообщений нашей делегатки. Живо сохранилось у меня в памяти только резко критическое отношение к внесению в программу «ближайших требований». Наверное, шокировало женевцев и название общества «Великорусским», — как выражение национально-автономистских тенденций, из за которых у них шла борьба с Драгомановым, о чем я, конечно, знать не мог. У меня

сохранилось также впечатление, что они не совсем верно толковали некоторые места в программе и об'яснительной записке.

Как бы то ни было, питерская и московская группа молодых чернопередельцев считала необходимым столковаться с женевцами, устранить недоразумения и, в случае надобности, пойти на уступки. Я был того же мнения. Решили поэтому, чтоб я поехал сам в Женеву для переговоров с товарищами. Я согласился ехать, но до от'езда хотел наладить еще некоторые дела, как в Петербурге, так и в Москве. Это задержало меня довольно долго. Моя поездка заграницу откладывалась с недели на неделю. Между тем, товарищи заметили, что полиция обратила внимание на мою квартиру, и настаивали на моем скорейшем от'езде. Кажется, я выехал заграницу в июне. Это было как раз во время: задержись я в Петербурге еще несколько дней, не миновать бы мне ареста.

* * *

Прежде чем перейти к моей поездке заграницу, я должен вернуться немного назад и остановиться на моих сношениях в Петербурге с народовольцами.

Я уже говорил о том, что после раскола Общества «Земля и Воля» между расколовшимися частями остались вполне товарищеские отношения. Обеим сторонам так тяжело было примириться с расколом, что по приезде Стефановича и Дейча из Одессы в Петербург сделана была попытка снова об'единиться. Если память меня не обманывает, предпринята она была именно по инициативе народовольцев. Помню, что с этой целью Сте-

фанович и я, со стороны чернопередельцев, и Л. Тихомиров, со стороны народовольцев, пару раз собирались в модном тогда ресторане Палкина. Кроме нас троих, никто, кажется, в этих совещаниях не участвовал. Ни к какому положительному результату наши переговоры не привели; но они, и сами по себе, и по тону, в котором они велись, опять таки характерны для тогдашних взаимоотношений между боровшимися за влияние на революционную среду фракциями. Отношения эти не изменились, по существу, и после того, как на смену разгромленной организации «Черного Передела» появилась новая, состоявшая почти сплошь из молодых людей, не принадлежавших до того времени к организованному авангарду движения.

А между тем, у народовольцев были очень серьезные и основательные причины для решительной борьбы со своими революционными партийно-политическими противниками. Сравнительно с народовольцами, эти последние представляли ничтожную, в сущности, только формирующуюся организацию, еще только готовящуюся к революционной деятельности, да при том к такой, целесообразность и плодотворность которой являлась в глазах народовольцев весьма сомнительными. А между тем, эта слабая, находившаяся еще чуть не в зародышевом состоянии организация стояла все таки на пути народовольцев. Дело в том, что симпатии к старому народничеству были еще довольно сильны среди революционно настроенной молодежи, и группа, выступавшая под его знаменем, во имя его программы и тактических лозунгов, являлась для партии «Народной Воли»

— по крайней мере, в столице — заметным конкурентом, отвлекавшим революционные силы и средства в свою пользу. Что для народовольцев эта конкуренция была довольно чувствительна, и что они, поэтому, очень желали бы избавиться от нее, видно, между прочим, из того, как они относились к моему от'езду заграницу. Перед от'ездом я повидался с товарищами в Москве. Там я встретился у кого то на квартире с одним юношей, народовольцем. Не зная, кто я, этот юноша сообщил мне, что народовольцы в Петербурге, узнав, что я еду заграницу, очень обрадовались этому. «Ну, слава Богу, избавимся от Аксельрода», говорили они между собой.

И вот, несмотря на все это, взаимоотношения между ними и моей группой в целом, и мной, в частности, оставались товарищескими, — в прямую противоположность с тем, как относились 20—30 л. спустя к своим фракционным противникам большевики. Мы бывали друг у друга, беседовали о нашей работе, не отказывались помогать друг другу в нужде. Так, Колоткевич, по поручению Исполнительного Комитета, пришел ко мне предупредить меня о необходимости принять меры предосторожности в виду предательства Гольденберга и очень хорошей аттестации, которую он дал мне перед жандармами и прокуратурой. Народовольцам приходилось иногда «занимать» деньги у моего кружка, и они, со своей стороны, оказывали нам подобные и иные услуги. Желябов обращался ко мне с просьбой достать через моряков-офицеров, входивших в нашу организацию или примыкавших к ней, электрические провода и кое-какие другие

материалы, в которых Исполнительный Комитет нуждался для своих террористических предприятий (а именно для взрыва Зимнего Дворца), и, само собой разумеется, все просьбы такого рода выполнялись.

Психологически меня тянуло к народовольцам. В их рядах в то время стояли отборные, закаленные в борьбе революционеры, люди истинно героического склада и большого революционного опыта.

Героический характер этой группы еще больше подчеркивался настроениями той передовой молодежи, которая примыкала к нашему течению: это были искренние, идейные молодые люди, но не прошедшие школы тяжелой революционной борьбы, и сочувствие народу не мешало им думать об окончании университета и готовиться к экзаменам.

* * *

При беседах с народовольцами нам не раз приходилось касаться вопроса о революционной тактике и о взаимоотношениях между нашими двумя организациями. Одна из таких бесед была у меня с Желябовым по следующему поводу.

К нашей фракции принадлежали, между прочим, Щедрин и Е. Ковальская. Оба они разделяли взгляды старого народничества, но по своему темпераменту тяготели к террористической деятельности. Как то раз они пришли ко мне и заявили, что считают необходимым совершить террористический акт против московского фабриканта Гивартовского, на фабрике которого незадолго до того произошел пожар, при чем 30 человек рабочих

погибло из за отсутствия запасных выходов и плохого устройства лестниц. За это преступное упущение Щедрин и Ковальская предлагали предать фабриканта смерти. Я возразил на это, что в данном случае экономический террор нецелесообразен, что массы не поймут такого убийства, и что Гивартовского можно, при помощи идейных адвокатов, преследовать судом. Товарищи отказались от своего намерения, но ушли от меня сильно разочарованные, недовольные и вскоре после этого уехали из Петербурга на Юг.

Но до народовольцев дошел, — не знаю, какими путями, — слух, будто чернопередельцы собираются убить Гивартовского. Желябов, обеспокоенный этим слухом, пришел переговорить со мной.

Я успокоил его, сообщив, что вопрос этот уже ликвидирован.

— Это хорошо, заметил Желябов: Единственная наша задача в данный момент — это добиться демократической конституции. Для этого нам необходимо сочувствие общества. Мы должны, поэтому, избегать таких шагов, которые могли бы оттолкнуть от нас либеральные общественные круги.

Далее, противополагая борьбу за конституцию бунтарской деятельности, как понимало ее революционное народничество, Желябов заговорил о том, что может принести России крестьянское стихийное восстание.

— Я вышел из крестьян и знаю народ, говорил он: Крестьянское восстание вызвало бы лишь хаос в стране. Вам трудно представить себе, какое зверство, какая дикость проявились бы у нас в момент общего бунта.

В это время Желябов считал бунтарскую деятельность и «экономический террор» положительно вредными. Он мечтал о том, чтобы боевыми действиями, политическим террором, при сочувствии и поддержке широких демократических кругов интеллигенции, вырвать у правительства демократическую конституцию, которая дала бы возможность длительной, систематической работы среди крестьян. В кругу офицеров он подчеркивал, что революционная партия готова и с монархией примириться, — но только на основе максимально демократической конституции.

Кроме Желябова едва ли кто из народовольцев разделял вполне эти взгляды и так последовательно доводил до конца мысль о значении борьбы за конституцию.

Мы заговорили с Желябовым о том, что должны делать революционеры в случае удачи покушения на царя, как должны они использовать первый момент замешательства и паники среди правительства.

— Прежде всего, нужно овладеть правительственной типографией и казначейством, говорил я: В типографии «Правительственного Вестника» нужно немедленно отпечатать в сотнях тысяч экземпляров прокламации к народу. А деньги из казначейства раздать солдатам, которых немедленно после этого нужно распустить по домам.

Я допускал, что революционеры окажутся не в силах удержать занятые таким путем позиции, но отстаивал свой план, так как считал, что им обеспечивается создание в стране революционной традиции, облегчающей дальнейшую борьбу народа за освобождение.

Желябов возражал лишь против одного пункта в моем плане, — против роспуска солдат по домам.

— Армию лучше сохранить, говорил он, она нам еще пригодится после революционного переворота.

— Нет, старая царская армия не годится для защиты революции, настаивал я: Мы должны создать новую, народную армию.

* * *

Вскоре после этого моего разговора с Желябовым произошел взрыв в Зимнем Дворце, подготовленный Халтуриным.

В день взрыва (5-го февраля) я провел вечер дома, так что ничего не знал о событии, переполошившем весь город. На следующий день, рано утром, пришел ко мне Л. Тихомиров и принес печатное извещение Исполнительного Комитета о покушении. Я сказал ему:

— Ну, а если бы предприятие удалось, что стали бы мы делать теперь? Разве не ясно, что нужно заранее разработать план действий на случай удачи покушения. Нужно об'единить все активные революционные силы, заранее установить, что делать каждому в этот момент.

Подробностей нашей беседы я, к сожалению, не помню. Она вертелась, главным образом, вокруг вопроса о том, как организовать и подготовить наличные революционные силы к тому, чтобы, не теряя ни минуты, использовать панику и растерянность в правительственных сферах в такой момент для дезорганизации военно-полицейского аппарата правительства и для поднятия широкого революционного движения в массах. Тихомиров,

насколько помню, все клонил к тому, чтобы чернопередельцы слились с народовольцами, конечно, на основе программы последних. Я же предлагал только своего рода военно-техническое соглашение. Чернопередельцы сохраняют свою полную самостоятельность в сфере пропаганды и агитации; но в чисто боевых выступлениях они об'единяются с народовольцами и всецело подчиняются руководству их генерального штаба или Исполнительного Комитета. И как на первые из таких выступлений, я снова указал на завладение типографией «Правительственного Вестника» для немедленного отпечатания прокламаций или манифестов к народным массам и к оппозиционно демократическим слоям общества и на захват казначейства с целью дезорганизовать армию, с одной стороны, и снабдить революционную партию средствами, необходимыми для вооружения народных масс, с другой.

Тихомиров передал своим товарищам содержание нашего разговора и через несколько дней пришел ко мне вместе с Дворником (А. Михайловым). Мы беседовали, конечно, на ту же тему, что в прошлый раз с одним Тихомировым. Еще настойчивее последнего Дворник доказывал мне необходимость об'единения обеих фракций на общей программе. Уступки, которых можно было бы при этом добиться от народовольцев, были бы, конечно, с принципиальной точки зрения старого народничества и бакунизма, ничтожны. Возражая своим собеседникам, я говорил:

— Я безусловно признаю первостепенную важность и необходимость борьбы вашей партии с правительством. Раз наши имущие классы не

желают и не способны бороться за политическую свободу, то приходится бороться за нее социалистам. Но, сама по себе, эта революционная борьба не есть борьба за социализм. Выдавая ее за таковую, народовольцы, не желая того, вводят в заблуждение революционные элементы и вносят путаницу в умы. Этого можно избегнуть, не нанося никакого ущерба борьбе за конституцию, если, с одной стороны, мы будем называть ее настоящим именем, а, с другой, оставим в неприкосновенности организационную и программную самостоятельность чернопередельцев в сфере пропагандистской и агитационной работы. Под этим условием чернопередельческие группы будут заранее готовы в нужный момент стать под военно-революционную команду Исполнительного Комитета.

Не помню, в связи с какими именно моментами в нашей беседе, Дворник и Тихомиров предложили мне вступить в редакцию «Народной Воли» для ведения иностранного отдела. Мне кажется, что они мотивировали свое предложение указанием на то, что в этом отделе я смогу пропагандировать социализм, как я его понимаю.

— Для вас, ответил я, повидимому, безразлично то, что я буду писать о фактах и учениях западного социалистического движения; но для меня отнюдь не все равно, что вы будете писать во внутреннем отделе, в каком духе и направлении будет вестись газета в целом. Но признавая важность и необходимость борьбы с абсолютизмом, я готов был бы сотрудничать в «Народной Воле» и даже, если это нужно, нести редакционную ответственность за все ее содержание, но опять только под тем

условием, чтобы редакция называла вещи настоящим их именем, то есть, прямо об'явила бы свою газету органом не социалистической, а чисто политической борьбы.

Для народовольцев это предложение было совершенно неприемлемо. Имея в виду молодость и сравнительную слабость представляемой мной организации, Тихомиров и Дворник, очевидно, рассчитывали, что мое вступление в редакцию органа партии «Народной Воли» повлечет за собою растворение чернопередельцев в этой партии. Принятие же моего условия могло повести за собою некоторое, а, может быть, и значительное ослабление популярности и обаяния ее в той части интеллигенции, которая крепко держалась социалистического знамени, и в то же время усилить влияние и популярность чернопередельческой фракции.

Должен признаться, что внутренне мне было довольно тяжело отклонить предложение Тихомирова и Дворника. Привлекала меня к народовольцам не только их сильная организация и героическая деятельность, но и личные симпатии к некоторым из них, в особенности, к Перовской[1]).

---

[1]) После раскола в Обществе „Земля и Воля“ Перовская некоторое время колебалась между обеими фракциями. Ведя ответственную террористическую работу в рядах народовольцев, она вместе с тем поддерживала близкие отношения с чернопередельцами. Она не теряла надежды на то, что партии „Черного Передела“ удастся восстановить работу среди крестьянства, — если бы это случилось, Перовская, может быть, именно этой работе посвятила бы свои силы. Таким образом, Перовская присутствовала на собраниях центрального кружка чернопередельцев в первые дни после моего приезда в Петербург,—а это было в декабре 1879 г., приблизительно месяц спустя после московского взрыва.

Уже после того, когда Перовская организационно окончательно вошла в партию „Народной Воли“, однажды

А с другой стороны, у меня начали шевелиться, — правда, еще очень слабо и смутно — сомнения относительно жизнеспособности и, вообще, будущности молодой народнической организации, которая — в идее — должна была продолжать дело умершего Общества «Земли и Воли». Но я отгонял от себя этого рода сомнения или, вернее, зародыши таковых. Ведь войти в соглашение с народовольцами на условиях, на которых они настаивали, значило, с моей принципиальной точки зрения, совершить предательство по отношению к социализму и народным массам в России. На такой шаг я, конечно, не мог решиться, а потому мои переговоры с ними остались безрезультатны.

* * *

Приблизительно в июне я отправился заграницу. А несколько дней спустя полиция нагрянула в мою квартиру с обыском. Опасаясь, что я поеду через границу со своим румынским паспортом, под которым я жил в Петербурге, товарищи поспешили, через специального посланца в Вильну, предупре-

---

она передала мне через одного товарища просьбу назначить время и место свидания. Встречаться в то время революционерам было крайне трудно, и мы виделись исключительно по делам. Поэтому, встретившись с Перовской, я спросил ее, по какому делу хотела она переговорить со мной. Она же ответила, что никакого дела у нее нет, и сказала: „Я хотела повидаться с вами без всяких корыстных видов, просто так“. Помню, я заметил: „Какая вы смелая! Мне давно хотелось встретиться с вами, но у меня никогда не хватило бы храбрости, в такое время, заикнуться о моем желании“.

У нас завязалась чисто дружеская беседа. В ходе ее Перовская спросила меня, кто нравится мне больше всего из петербургских революционеров. Я сказал, что на меня производит впечатление наибольшей серьезности Л. Тихо-

дить меня, чтобы я не пользовался этим документом. Но я успел благополучно переехать с ним границу, и сообщение посланца дошло до меня уже в немецком пограничном местечке Эйдкунене, где мне пришлось на несколько дней остановиться.

В Женеве я застал всю чернопередельческую группу. Соглашение с ней оказалось значительно легче, чем можно было ожидать по письму, которое привезла мне в Петербург от женевских товарищей наша делегатка и по ее собственным устным сообщениям. Конечно, дело не обошлось без некоторых уступок с обеих сторон. Но они были более формального характера, чем по существу. А так как видоизмененный проект программы[1]) написал Плеханов, то программа выиграла в литературном отношении. Только рубрика «ближайшие требования, как поводы к агитации» потерпела существенный ущерб: она была заменена расплывчатым «примечанием», в котором указывалось, что в виду отсутствия среди городских рабочих «таких общераспространенных требований, как земельный передел в крестьянстве, агитация на почве частных поводов недовольства — стачки,

---

миров. Тогда Перовская спросила, как отношусь я к А. Желябову. Я сказал, что считаю его очень дельным революционером, но Тихомиров мне кажется более глубоким. Этот мой отзыв зависел от того, что патетическая речь Желябова в беседе производила на меня впечатление некоторой искусственности. Мне теперь совестно приводить этот мой отзыв, — так как я прекрасно сознаю, что мое впечатление от Желябова было ложное, и я могу об'яснить его лишь присутствием во мне „шкловской" закваски.

Вдвойне досадно мне подумать, что мои слова должны были огорчить Перовскую.

[1]) Подчеркиваю слово „проект" потому, что ведь он еще должен был быть представлен на обсуждение петербургско-московской организации и санкционирован ею.

вопрос о заработной плате, величина рабочего дня — приобретает особенно важное значение». Очень характерно, что среди «частных поводов» для агитации, нет ни одного требования политического характера. А между тем, в последнем абзаце сказано, что, в случае «конституционного движения в России», организация может участвовать в избирательной агитации и «выставить даже своих кандидатов». Вообще, эклектизмом новый проект программы отличался не меньше, чем первоначальный, написанный мною. Между прочим, проект признавал «необходимость непосредственной борьбы с правительством, то есть, так называемого террора политического».

Название Общества «великорусским» было заменено, без всяких споров, новым обозначением: «Северо-русское», — этим на первый план выдвигался областной момент, вместо национального, и в то же время не нарушалось условие, заключенное старыми землевольцами при разделении их на две фракции, по которому ни одна из них не имела права присвоить себе название расколовшейся организации.

* * *

Выполнив свою миссию в Женеве, я отправился в Яссы, где я надеялся устроить свою семью, находившуюся уже там, и при помощи профессора Недежде организовать транспорт литературы через румынскую границу в Россию. Кроме Недежде, я с уверенностью мог рассчитывать еще на очень активную помощь со стороны поселившегося в Яссах псевдо-американца Росселя, оказавшегося

никем иным, как «истинно» русским анархистом, моим давним приятелем Судзиловским. В сравнительно небольшой промежуток времени он успел побывать в Америке, приобресть там право гражданства, выдержать экзамен на звание врача, переселиться оттуда в Румынию и под именем американского доктора Росселя уже стать сравнительно популярным врачем в Яссах. Когда я в последний раз встретился с ним в Киеве, он был уже на 4-м курсе медицинского факультета, но не окончил, ибо весной 74 г. отправился в Самарскую губернию «в народ». Позже, спасаясь от массового полицейского разгрома, он бежал заграницу, где летом 75 г. я снова встретился с ним в Женеве. Из Швейцарии он во время моего пребывания в России, отправился в Америку. В Яссах я застал его уже не только практикующим врачом, но и — вместе с Недежде — редактором румынской социалистической газеты.

Очень способный человек, образованный, с большим практическим смыслом, предприимчивый и смелый, Судзиловский-Россель умел быстро ориентироваться и находить себе дело не только в личном, житейском, но и идейном, общественном смысле. С склонностью к авантюризму в нем соединялась, несомненно, большая преданность социализму, как он его понимал, и интересам трудящихся и угнетенных народных масс. И, — чтобы не забыть, — одной из отличительных черт его характера была (и, конечно, осталась, если он жив) редкая доброта. Эта черта в соединении с его авантюристской жилкой привлекала к нему подчас людей сомнительного свойства, изрядно эксплоатировавших его

Когда я летом 79 г. был в Румынии, кроме Недежде, там, кажется, совсем не было социалистов какого бы то ни было направления. Первый румынский социалист, Зубко-Кодреану был румыном по национальности, но чистокровным россиянином по воспитанию. Да и в Румынию то он попал не добровольно, а как эмигрант, спасаясь от полицейских преследований в России. Он умер, насколько помню, от чахотки, и, по его предсмертному требованию, похороны его были гражданские. Это вызвало целый скандал, наделало шуму и, несомненно, послужило толчком к зарождению кое у кого в среде румынской интеллигентной молодежи интереса и, отчасти, сочувствия к социализму (в самом расплывчатом гуманитарном смысле), но, повидимому, в очень слабой мере и в очень ограниченном кругу. Теперь, когда я во второй раз приехал в Яссы, там уже было нечто в роде социалистической группы или, точнее, имелись уже молодые люди, считавшие себя социалистами, вдохновляемые Недежде и Судзиловским. Обоим им удалось как то издавать газету, при чем Судзиловский, благодаря своим исключительным способностям к языкам, на столько овладел румынским языком, что не только сам писал свои статьи, но и исправлял стиль Недежде. Но, помнится, при мне же, эта газета закончила свое кратковременное существование.

Я рассчитывал оставаться в Яссах не больше двух месяцев; но, по совершенно случайным обстоятельствам, я задержался там значительно дольше. Главное из этих обстоятельств заключалось в том, что деньги, высланные мне из России в Же-

24*

неву, по какой то странной случайности отправлены были оттуда в Алжир или Египет и только после долгих странствований получены были в Яссах профессором Недежде в то время, когда я уже сидел там в тюрьме, о чем ниже.

Через некоторое время после моего прибытия в Яссы, я получил от редакции немецкого социалистического «Ежегодника», издававшегося в Цюрихе („Jahrbuch für Sozialpolitik- und Wissenschaft”) предложение дать в этот сборник статью о русском революционном движении. В «Ежегоднике» участвовали видные представители социалистического движения разных стран, под фактической редакцией Бернштейна и Каутского. Я, разумеется, очень охотно принял предложение и написал статью, разросшуюся до трех печатных листов мелкого шрифта.

Кроме того, я послал в «Ежегодник» еще небольшую статью о румынском социалистическом движении, в которой подчеркивал, что, строго говоря, это движение едва ли заслуживает названия «социалистическое». Во всяком случае, настоящих, вполне убежденных социалистов, кроме Недежде, я среди румын не знаю — писал я (если не буквально, то почти так): как в других политически молодых и отсталых странах, в которых пробуждается сознательное стремление к прогрессу, в Румынии, идейные представители гуманитарных и демократических тенденций зачисляют себя и зачисляются другими в лагерь социалистов.

Когда мои румынские знакомые прочитали мою статью, они были очень недовольны мною, даже негодовали. Удивляюсь теперь только тому, что

никому из них в голову не пришло сказать мне. «А не лучше ль, на себя, кума оборотиться?» — И мне самому трудно теперь представить себе, как это я не подумал, что мне, русскому социалисту, представителю революционного движения страны, также предостаточно отсталой, не к лицу смотреть так сверху вниз на социалистов румынских, — хотя бы большей частью только мнимых. Смягчающим для меня обстоятельством является, однако, то, что в России под флагом социализма совершалось подлинно революционное движение, носители которого не останавливались ни перед какими жертвами, а в Румынии даже самая что ни на есть элита «движения» вела мирную, архиобывательскую жизнь. Но все же, после Кодреану, Недежде и его ученики и приверженцы были первыми пионерами социалистической мысли в Румынии. Непосредственным же идейным основателем рабочего и социал-демократического движения в Румынии явился опять таки русский социалист, Кац, эмигрировавший туда в 75 г. и приобревший впоследствии под именем Герея Доброджану положение самого серьезного и авторитетного литературного критика Румынии. Ему выпала на долю миссия основателя социал-демократической партии в Румынии — правда, наряду с Недежде, которого он, кажется, и обратил из анархиста в социал-демократа. Выдающаяся литературная деятельность доставила ему такое общественное положение, что, несмотря на его еврейское происхождение и социалистическое направление, парламент должен был дать ему право гражданства. Года два тому назад он умер после тяжелой опе-

рации, и румынская социалистическая партия потеряла в нем самого крупного своего теоретического и литературного вождя.

* * *

Как раз в то время, когда ожидаемые мною деньги и некоторые необходимые сведения находились уже в пути, если не в Яссы, то в Женеву, откуда мне и были пересланы, ясская полиция нагрянула ко мне и Росселю с обыском и арестовала нас, захватив еще двух человек, — поляка и русского, — бывавших часто у Росселя. Это произошло в день празднования коммуны, то есть, вскоре после события 1-го марта, — по требованию русского правительства.

Сначала меня держали в части, как и остальных арестованных, а потом перевезли в острог. При допросе, прокурор, в ответ на мое заявление, что я собирался ехать в Женеву, сказал мне: «У нас в руках имеется письмо к вам, с определенными указаниями вашего маршрута для поездки в Россию». Вообще, он довольно ясно дал мне понять, что они хорошо осведомлены о моих ближайших планах и намерениях. Но все же, наш арест поставил румынские власти в щекотливое положение. Такой случай, как наш, румынскими законами не был предусмотрен. На законном основании нельзя было возбудить против нас судебный процесс. И весь инцидент противоречил чувству национального достоинства и независимости специально по отношению к России, которое тогда, под свежим впечатлением от войны с Турцией, было очень сильно в Румынии. А, с другой стороны, рискованно было

отказать в услуге могущественной соседке. Около шести недель понадобилось румынскому правительству для того, чтобы придумать или найти выход из этого затруднительного положения.

В тюрьме, в которую водворили меня и Росселя с компанией, едва ли до того времени содержался какой-нибудь политический «преступник». В ней не хватало даже комнат для водворения каждого из нас в одиночном заключении. Для Росселя, как известного врача и американского гражданина, устроили более или менее подходящую комнату, меня же поместили в какую-то темную клетушку, без окна и даже без кровати. О столике или стуле и говорить было нечего. Постелью мне служила какая то доска на подставках, а была ли она чем-нибудь накрыта, я не помню. Но очень хорошо помню, что я крепко спал на ней не только ночью, но нередко часок-другой и днем. Этому, вероятно, способствовало то, что я мог целыми часами гулять по двору, и мне разрешали держать по долгу открытой дверь от моего чуланчика: этих льгот я добился от директора тюрьмы довольно скоро и без особых усилий — в виде компенсации за большие дефекты моей обители. Вообще, директор и надзиратель довольно благосклонно относились ко мне, — а потому я сравнительно легко переносил тюремный режим. С Росселем обращались, конечно, особенно почтительно. Но и другие товарищи по заключению не жаловались на тюремный режим. Держали нас, однако, в абсолютной изолированности друг от друга. До самого нашего освобождения никому из нас ни разу не удалось хоть издали увидеть кого-нибудь из нашей компании.

В один прекрасный день благоволивший ко мне тюремный надзиратель, с интеллигентным и симпатичным лицом, показал мне в румынской газете телеграфное сообщение о получении князем Румынии королевского титула.

У меня в голове тотчас же мелькнула мысль: а не награда ли это за пакость, которую румынское правительство обязалось учинить нам, арестованным в угоду Александру III? Но мне как то неловко, стыдно стало перед самим собой при мысли, что я придаю такое значение нашим особам. Мое предположение оказалось, однако, совершенно справедливым. Не значение, которое мы имели в глазах русского правительства, а его крайняя мелочность и жестокость сыграли в данном случае на руку честолюбию румынского князя и национальному самолюбию румынской олигархии.

Кажется, еще до оффициального обнародования акта о возведении главы румынского государства в ранг короля, к нам, в тюрьму, прибыл из Бухареста министр юстиции («генерал-прокурор»). Меня он допрашивал о моем отношении к убийству Александра II и — помнится — к террористическим актам народовольцев, вообще. Когда я ему ответил, что, находясь уже больше полугода в Яссах, я, само собою разумеется, не мог принимать какое бы то ни было участие в убийстве царя, но, считаю этот акт вполне справедливым и вообще сочувствую целям и деятельности народовольцев, он, как ужаленный, отскочил от меня, мгновенно повернулся спиной ко мне и быстро удалился. Мой милый надзиратель, с почти сияющим лицом подводивший министра к двери моей клетушки,

и, видимо, надеявшийся на благие последствия для меня от министерского «визита», совершенно оторопел и, видимо, был удручен таким финалом.

Через неделю или больше меня позвали в канцелярию, где я застал и всех моих товарищей по заключению. Тут же сидели разные власти, с префектом и местным прокурором во главе. Прокурор об'явил нам, что дело о нас прекращено, и что мы свободны. «Значит, спросил кто-то из нас, мы сегодня же можем оставить тюрьму?» — «Ну нет, ответил прокурор или префект, вы высылаетесь из Румынии и должны указать границу, через которую хотите ехать». — «Но, заметил я, ведь в Румынии нет закона, предусматривающего административную высылку». — «Такого закона, ответили мне, не было; а теперь есть — недавно (то есть, на днях) издан». — «Так разве закон может иметь обратную силу»? обратился я к прокурору. Но он отделался ссылкой на то, что наше дело теперь уже не в руках судебной власти, а в руках администрации. Кончилась наша «дискуссия» с властями тем, что мы заявили, что выбираем турецкую границу.

* * *

Перед нашей отправкой ко мне пришел Недежде и вручил мне деньги, полученные им для меня вскоре после моего ареста, и письмо от Стефановича, в котором он от себя и от остальных членов женевской группы настаивал на том, чтобы я, в виду повальных обысков в России и неизбежности моего ареста там, поехал, хоть на время, в Женеву. Здесь уже мы сообща обсудим, что дальше делать. О

моем аресте в Румынии женевцы узнали уже после отправки письма Стефановичем ко мне.

Странное впечатление производили на меня довольно озабоченные лица директора тюрьмы и моего надзирателя. Чувствовалось, что они чем-то тревожатся, но не желают или не имеют права выдать нам причину своих опасений. Скоро и мы начали догадываться, что нам готовят какой-то сюрприз.

Прежде всего, нам показалось подозрительным, что нам не возвращают наших паспортов. Обещали выдать их нам в Галаце, куда нас отправили под значительным конвоем. В Галаце нас сдали на руки местной полиции, которая, в лице префекта, заявила нам, что отправит нас в Константинополь на австрийском пароходе. Но мы потому то и отказались в Яссах ехать на австрийскую границу, что были уверены в том, что там нас выдадут русскому правительству. Мы решительно запротестовали и заявили, что добровольно, без насилия, поедем только на английском или французском пароходе. Повидимому, префект телеграфно запросил Бухарест, как ему поступить с нами. В конце концов, мы добились своего. Нас отвезли на французский почтовый пароход. Но паспортов мы обратно не получили, нам отказали даже в выдаче хоть каких-нибудь бумажек, удостоверяющих, что мы высланы из Румынии не по уголовному, а по политическому делу.

Капитан парохода оказался человеком прогрессивных взглядов. Мы с ним разговорились, и он искренне возмущался поведением румынских властей по отношению к нам. Возмущался и ру-

мынский офицер, который должен был сопровождать нас до границы.

Когда мы остановились в Босфоре, перед Константинополем, я хотел спуститься в лодку и с'ехать на берег, чтобы разыскать другой пароход, на котором я мог бы продолжать путешествие до Марселя. Но капитан во время предупредил меня:

— Не показывайтесь! Кругом парохода сыскная полиция. У ваших спутников потребовали паспорта и, так как у них не оказалось документов, их арестовали.

Теперь ясно стало, почему румынское правительство задержало наши документы и наотрез отказалось нам дать хоть суррогаты паспортов, или просто бумажки, удостоверяющие, что мы не уголовные преступники. Очевидно, заранее было условлено, что нас арестует турецкая полиция, с тем, чтобы выдать русским властям. Это подтверждается и тем фактом, что прежде турецкая полиция не являлась в лодках при прибытии пароходов, чтобы требовать паспорта от высаживающихся пассажиров.

Капитан предложил мне спрятаться в каюте, а сам поехал на берег посоветоваться с французским послом, как быть, если полиция попытается арестовать пассажира, переезжающего на лодке, носящей французский флаг, с одного французского парохода на другой. Вернувшись, он сообщил мне, что, согласно раз'яснениям посла, он может стрелять в случае попытки турецкой полиции задержать меня.

На следующее утро этот славный капитан поручил своему ад'ютанту отвезти меня на лодке на стоявший по близости французский почтовый пароход, отправлявшийся в Марсель.

Путешествие по Средиземному морю оказалось для меня не из приятных. Разыгралась буря, да такая, что укачало и более привычных к морю людей, чем я.

В первые дни я еще в состоянии был время от времени любоваться величественной и грозной картиной бушующего моря. Но в последние дни я уже и минуту не мог стоять на ногах и до самого Марселя должен был плашмя лежать в своей каюте. Однако, когда я на 11-ый день вышел в Марселе на берег, то чуть не через две минуты почувствовал себя бодрым и свежим.

В Марселе я, первым делом, разыскал редакцию социалистической газеты и рассказал здесь о подвигах румынских властей. Затем я поехал в Женеву, куда и прибыл без дальнейших приключений.

XVI. На пути к социал-демократии

Новые настроения среди чернопередельцев в России. — „Вольное Слово“ и мой переезд в Цюрих. — Международная социалистическая конференция в Хуре. — Моя речь на хурской конференции и отношение к ней народовольцев. — Эволюция заграничной чернопередельческой группы в сторону марксизма. — Моя работа в „Вольном Слове“. — „Все для народа и посредством народа“. — Разрыв с „Вольным Словом“. — К марксизму. — Переговоры с народовольцами об об‘единении. — „Группа Освобождения Труда“.

В Женеве я застал лишь двух членов нашей группы: Дейча и Стефановича. В. И. Засулич жила где-то недалеко от Женевы, а Плеханов уже осенью прошлого года переехал в Париж.

Только теперь, из бесед с Дейчем и Стефановичем, я получил более ясное представление о разгроме революционной партии после события 1-го марта. Обеим ее фракциям — народовольческой и чернопередельческой — нанесен был тяжелый удар; правительственный террор свирепствовал со страшной силой. О том, чтобы вся наша компания могла в близком будущем возвратиться в Россию, нечего было и думать. Один лишь Стефанович собирался уехать туда.

Л. Г. Дейч передавал мне тогда, что еще до 1-го марта Перовская приглашала Стефановича

приехать в Россию для непосредственного участия в работе народовольцев. Он написал полемическую брошюру против Исполнительного Комитета, и это вызвало с ее стороны письмо к нему, в котором она товарищески предлагала ему вернуться в Россию и там, на арене революционной борьбы, в рядах народовольцев, помогать им в деле исправления их ошибок и устранения указываемых им недостатков или недочетов в их деятельности. Мне помнится, что из беседы с Дейчем я вынес впечатление, что это письмо Перовской сыграло некоторую роль в решении Стефановича вернуться в Россию. Но, независимо от того, верно или нет это мое впечатление, непосредственной целью поездки Стефановича было об'единение чернопередельцев с народовольцами, или, точнее, — принимая во внимание организационную слабость первых — присоединение их к партии «Народной Воли».

Под влиянием события 1-го марта в умах чернопередельцев произошел сдвиг в сторону политической борьбы, а отчасти в сторону народовольчества вообще. В России сдвиг этот нашел свое наиболее полное отражение в № 4 «Черного Передела», появившемся в сентябре 81 г. В передовой статье признается, правда, наиболее целесообразной формой борьбы «организованный, систематический аграрный террор». Но в той же статье указывается на значение политического террора для устранения «деспотизма, давящего своими железными, хищными лапами русскую жизнь во всех ее светлых проявлениях», и на то, что «с изменением существующего политического строя тесно связан целый ряд, конечно, не коренных, не прин-

ципиальных, но все таки довольно серьезных экономических реформ». В следующих же строках содержится настоящий гимн политическому террору:

«Нет сомнения, конечно, что факт цареубийства... создает громадное умственное движение, так или иначе возбуждает народ, — расчищает почву для организационной, пропагаторской и агитационной деятельности; он, наряду с другими жизненными явлениями, способствует разрушению в народе идеи царизма (не подрывая вообще веры в авторитет), через что и подымает мало-по-малу в нем дух протеста, уверенность в своих силах.»

Но еще резче, последовательнее и без всяких оговорок тяга некоторых чернопередельцев к политической борьбе и политическому террору в другой статье того же номера названного органа, озаглавленной: «1-ое марта 1881 г». Эта статья не только без всяких оговорок и ограничений признает необходимость политической борьбы и политического террора, но и в обосновании необходимости их стоит всецело на идейной почве народовольчества.

Подобно народовольцам, автор ее в абсолютизме видит первоисточник экономического и социального порабощения народных масс России, самодовлеющую историческую силу, создавшую то невыносимое положение, в котором находятся эти массы в самодержавной России. «Подавление народа, эксплуатация его прав в области экономической и политической, низведение на степень рабочей скотины, — все это совершено у нас не дворянством, буржуазией или духовенством, а цен-

тральной государственной властью или же при ближайшем ее содействии... Русское государство и до настоящего времени представляет собою иерархическую организацию, со своими самостоятельными интересами и задачами, существующую собственными силами, не имея ни малейшей нужды в поддержке какого либо сословия[1]). А так как во главе этой государственной иерархии стоит неограниченный монарх, распоряжающийся всей страной по своему произволу, на том основании, что он де «божий помазанник», то пусть же этот обладатель самодержавной власти и несет во всей полноте ответственность за то, что сам творит, и за то, что творится с его разрешения и под его покровом.»

В силу своего исключительного положения, царь является в сознании народа «какой то священной личностью божественного происхождения», на которой крестьянин концентрирует все свои «надежды и упования черного передела, слушного часа и настоящей, заправской воли». Обожествление народом царской власти нельзя искоренить одной пропагандой. «Вековой предрассудок может быть разбит только великими событиями», в роде террористического акта 1-го марта. «Вместе с Александром II ушла в могилу и значительная часть силы и прочности идеи царизма»...

«Другие виды революционной деятельности, как то пропагаторская и агитационная, получают свое настоящее значение и ведутся с наибольшим успе-

---

[1]) Курсив мой.

хом в моменты, непосредственно следующие за крупными террористическими фактами.»

Хотя и робко, но все же достаточно ясно выражена в цитированной статье и тенденция придавать положительное значение завоеванию даже только умеренной конституции. «Внесение правового элемента в систему наших государственных отношений, ослабление полицейской опеки и административного произвола, бо̀льшая упорядоченность и справедливость податной системы, расширение гласности, свободы печати, независимости судей — все это, сопряженное с конституционным порядком, несомненно затруднит наглое хищение, которое совершается у нас беспрепятственно во мраке абсолютизма, в душной атмосфере его произвола.» И хотя социалистическая партия «не может рассчитывать на благодушное к себе отношение конституционного правительства», все же «внешние условия ее деятельности сделаются более благоприятными.»

По поводу последнего замечания автор цитируемой статьи предпочел нужным заранее защитить себя против упрека в постепеновстве. Тенденции ортодоксального народничества, очевидно, не совсем утратили еще влияние среди чернопередельцев.

Впрочем и специально в оценке (апологетической, безоговорочно восторженной) значения события 1-го марта и политического террора вообще едва ли много чернопередельцев шло так далеко, как автор только что приведенных строк. Чуть ли не большинство наших товарищей по фракции в России склонялось к позиции, если не

тождественной, то близкой к той, на которой стояла после 1-го марта наша чернопередельческая группа заграницей. Мы все признавали необходимость борьбы за политическую свободу и — кажется, за исключением Плеханова — не отрицали значения террора в этой борьбе. Но основным условием для завоевания действительно демократической конституции и мало-мальски серьезных экономических реформ для народных масс, вообще, и для крестьянских, в особенности, мы считали пропагандистскую, агитационную и организаторскую работу в этих массах. Фактически, и народовольцы, еще до 1-го марта, искали или стремились найти для себя опору, по крайней мере, среди городских рабочих. Но для них это было второстепенным, побочным делом, подчиненным их террористическим задачам и планам. А для нас, наоборот, на первом плане стояла именно задача создания возможно более сознательного и организованного движения «в народе», а террор отодвигался на задний план. Теперь, после того, как последствия столь блестящего террористического акта, как убийство Александра II, воочию показали крайнюю недостаточность террора — самого по себе, — как средства политической борьбы, нам казалось возможным склонить и народовольцев к тому, чтобы отвести работе в народе» значительно большую роль в революционной деятельности, чем та, которую они прежде признавали за нею. На этой основе Стефанович и рассчитывал вести от имени нашей компании переговоры с народовольцами и чернопередельцами и достигнуть соглашения между ними.

Если память меня не обманывает, Стефанович

очень скоро по своем приезде в Россию вступил в организацию «Народной Воли», а за ним или вместе с ним присоединилась к ней и часть других чернопеределыцев. Это, конечно, дало сильный толчок окончательному разложению чернопередельческой фракции, очень ускорило процесс ее распадения, который начался вскоре и в народовольческой партии, но протекал здесь более медленным темпом. Вообще, насколько я теперь могу судить, организация наша в России не была еще тогда в таком безнадежном состоянии, как казалось нам в Женеве. Помимо № 3 «Черного Передела», выпущенного ею в марте 81 г., и издания нескольких номеров рабочей газеты «Зерно» — не помню точно, сколько их вышло — ей осенью и зимой того же года удалось издать еще два номера «Черного Передела».

Что не все чернопередельцы последовали примеру Стефановича, об'ясняется, с одной стороны, тем, что он, повидимому, пошел на неприемлемые для некоторых из них уступки Исполнительному Комитету, а с другой, — иллюзией их относительно жизненности их направления. Мы же, заграницей — за исключением опять таки Плеханова — слишком оптимистично относились к психологической способности и готовности народовольцев пойти нам навстречу и в то же время чересчур пессимистически оценивали значение деятельности наших единомышленников в России среди интеллигенции и передовых рабочих. Мы считали чернопередельческую фракцию уже обреченной на смерть и своей, пользуясь большевистской терминологией, «соглашательской политикой» (по отношению

к народовольцам) сами нанесли ей смертельный удар. Один из противников растворения чернопередельцев в партии «Народной Воли», с горечью писал мне поэтому, со смертного одра, что мы «предали» свое собственное детище. И, об'ективно, этот упрек, посланный нам умирающим товарищем, не был лишен основания. Очень может быть, что при нашей настойчивой моральной и идейной поддержке, чернопередельцы в России, параллельно с нами, эволюционировали бы в направлении к социал-демократии и таким образом облегчили бы и значительно сократили бы «муки родов» нового революционного движения на русской почве.

* * *

Не задолго до от'езда Стефановича или вскоре после этого, я переехал на постоянное жительство в Цюрих. А через некоторое время Плеханов вернулся из Франции в Швейцарию и надолго водворился со своей семьей в Женеве, в постоянном и непосредственном общении с Дейчем и Засулич. Они имели возможность сообща обсуждать и, действительно, обсуждали каждый практический шаг и, если не формально, то фактически составляли тесный коллектив, заведывавший всеми сношениями и делами нашей группы. Я же очутился как бы на окраине, ибо при тогдашнем материальном положении всех нас, мы крайне редко, только в очень экстренных случаях, могли на пару дней с'езжаться. Организационная связь между мною и женевцами поддерживалась, главным образом, перепиской между Дейчем и мною. Он же, на-

сколько помню, вел главным образом переписку и с товарищами в России. Но его письма ко мне касались исключительно (или почти исключительно) частных, конкретных, практических вопросов. А между тем, можно сказать, параллельно с усилиями и попытками, направленными на слияние нашей группы с народовольцами, женевцы эволюционировали в социал-демократическом направлении, противоположном народовольческому. Итог этих попыток и этой эволюции вполне обозначился только летом 83 г. Но об этом ниже. Прежде я, в хронологическом порядке, расскажу о своем участии в газете «Вольное Слово», из за которого я и переселился осенью 81 г. в Цюрих, и о влиянии работы в этой газете, в связи с жизнью в Цюрихе, на мое дальнейшее социально-политическое развитие.

Названное еженедельное издание либерального направления начало выходить в Женеве в августе 81 г. В программной статье редакция в следующих словах формулировала мотивы и цель издания своего органа.

«Потребность в свободном слове и печальная невозможность обставить его сколько нибудь удовлетворительным простором в пределах отечества побудили нас прибегнуть к крайнему средству — воспользоваться гостеприимством чужой страны, чтобы там, вне давления цензурных тисков, устроить независимый орган выражения справедливых желаний и настоятельных нужд обезличенного и обобранного населения России.»

Приведу еще несколько строк, иллюстрирующих программу и тенденции «Вольного Слова».

«Для всех стало ясно — читаем мы в цитированной уже передовой статье — что достигнуть желанного можно только самодеятельностью, что лишь в здоровой атмосфере самоуправления вздохнет полною грудью веками угнетенная личность и расправятся общественные силы, сдавленные в своем развитии противоестественною опекою над ним хищников, беззастенчиво преследующих свои личные выгоды под именем общего блага, тогда как это благо всегда стояло в прямом противоречии с условиями их существования...

«Совлечение обветшалых бюрократических одежд, устранение этой причины причин всяких миазмов, заражающих наше государственное тело и губящих животворное проявление общественных сил — таково средство единственно годное для борьбы со злом.

«Но для этого необходимо, чтобы внутреннее управление величайшим в мире конгломератом Российской империи было «рассредоточено» по областям, чтобы оно было организовано «на началах широкого самоуправления.»

С третьего номера в газете начал постоянно сотрудничать Драгоманов. Около того же времени он передал мне приглашение редакции вести отдел рабочего движения на Западе, при чем сообщил, что редакция остановила на мне выбор по совету Лаврова, рекомендовавшего меня, как «специалиста» среди социалистической эмиграции в сфере международного движения рабочих. Вместе с тем Драгоманов сообщил мне, что «Вольное Слово» издается на средства или при поддержке тайного союза (или группы) либеральных земцев и факти-

чески является органом этой либеральной группы. Рекомендация Лаврова и непосредственная близость Драгоманова к этому изданию являлись в моих глазах достаточной гарантией литературной и политической порядочности его руководителей — и я, без всяких колебаний, принял предложение редакции.

То обстоятельство, что газета была чисто либеральной, без всякой претензии на идейную близость к революционному социализму, не могло с моей точки зрения служить препятствием для принятия этого предложения. Как раз наоборот: если бы газета хоть отчасти рядилась в костюм социалистической фразеологии и вообще заигрывала бы с социализмом, то мое сотрудничество равносильно было бы соучастию в затуманивании умов. Ведя же с полной независимостью вполне самостоятельный обзор рабочего движения в откровенно либеральном органе, я не только не рисковал вводить читателей в заблуждение, но, напротив, имел свободную трибуну для пропаганды тех взглядов на это движение, которые считал правильными.

К сожалению, для выполнения взятой мною на себя работы, мне пришлось покинуть Женеву, где основались мои ближайшие товарищи, и переехать в Цюрих. Я намеревался давать в «Вольном Слове», кроме текущей хроники рабочего движения, «письма» обзорного и, до некоторой степени, теоретического характера. Для этого необходимо было, конечно, следить за жизнью рабочих партий в разных странах и находиться, по возможности, в личном контакте с их представителями. А в Женеве социалистическое движение

было крайне слабо, здесь не было мало-мальски активной социалистической среды, живущей интернациональными интересами и поддерживающей постоянные сношения с социалистическими партиями других стран. Гораздо более удобным наблюдательным пунктом, во всех этих отношениях, являлся для меня Цюрих, тогдашний центр политической жизни и рабочего движения немецкой Швейцарии.

Здесь издавался тогда орган германской рабочей партии, «Социал-Демократ», который нелегально переправлялся в Германию и там нелегально распространялся. Хотя он выходил всего один раз в неделю, в нем находили себе отражение и проявления классовой борьбы пролетариата, не только в Германии, но и в других странах. Вокруг «Социал-Демократа» группировались рабочие, бежавшие в Швейцарию из Австрии и Германии от преследований. Они фактически, идейно и организационно руководили цюрихским немецким рабочим Союзом. Вдохновителями же и руководителями всей австро-германской социалистической эмиграции являлись сотрудники, наборщики и экспедиторы названной газеты, с Бернштейном, Каутским и Фольмаром во главе. Наконец, в Цюрих довольно часто наезжали по разным партийным делам Бебель, Либкнехт, а иногда и другие вожди германской социал-демократии. Все это создавало там атмосферу, наиболее подходящую для моей работы в «Вольном Слове» и весьма благоприятную для моего развития в социал-демократическом духе.

* * *

Я переехал в Цюрих в конце августа или начале сентября, не задолго до интернационального социалистического конгресса, состоявшегося в швейцарском городке Хуре. Получив от местного организационного комитета (почти наверное, через Бернштейна) приглашение принять участие в этом конгрессе, я дал знать об этом — не помню, каким путем — товарищам-чернопередельцам в Россию и просил их прислать мне доклад о фактическом положении революционной партии в России. Но потому ли, что мое сообщение было слишком поздно получено товарищами, или по другой причине, я получил от них только согласие представлять их на конгрессе и несколько денег на необходимые расходы по поездке в Хур и т. д. Я заявил поэтому местным организаторам с'езда, что не считаю для себя возможным выступить на с'езде в качестве оффициального делегата, так как не получил из России формального мандата и отчета о состоянии нашего революционного движения, а сам я уже почти полтора года нахожусь заграницей и имею только общее представление о положении партии. После некоторых споров мы согласились на том, чтобы я участвовал на с'езде в качестве «гостя» по приглашению[1]). Но на самом конгрессе меня все таки заставили взять слово для доклада, который мне пришлось импровизировать, полуруссифицированным немецким языком.

Мой доклад очень не понравился народовольцам, несмотря на то, что по тону и по содержанию,

---

[1]) На конгрессе я выступал — не помню почему — под фамилией Александрович.

он на некоторых делегатов, между прочим, насколько помню, и на Бернштейна, произвел впечатление чуть не апологии или полуапологии «Народной Воли». Но об этом после.

В действительности «конгресс» оказался только конференцией, так как собралось очень мало делегатов — всего 19, включая и меня. Об'ясняется это, с одной стороны, тем, что рабочие организации были в то время повсюду поглощены своими неотложными местными делами, а с другой стороны тем, что конгресс был созван слишком поспешно, в такой момент, когда в Германии была в полном разгаре избирательная агитация, а во Франции внимание и усилия социалистических вождей концентрированы были на вопросе о реорганизации партии и о подготовлении ее национального конгресса. Учитывая это положение, вожди бельгийского, германского и французского рабочего движения (а вероятно, еще некоторых стран) предлагали созвать конгресс на конец октября или еще позже, а между тем он был созван на 2 октября. Как и почему это случилось, я не знаю, помню только, что цюрихским организаторам досталось за это на конференции, особенно от французских делегатов (Б. Малон и Жоффрен) и бельгийского.

В Хуре все же были представлены социалистические организации больше чем 10 стран; в некоторых из них, — в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии и даже Венгрии организации эти обнимали значительные массы рабочих. Конференция сочла, однако, для себя невозможным вы-

нести определенные решения по наиболее важным вопросам, поставленным в порядок дня. Даже предложение об обращении к рабочим массам с манифестом на разных языках о целях и средствах социалистических партий было отклонено. Правда, в резолюции по этому вопросу указывалось не на малочисленность конференции, а на то, что не настал еще момент для издания желательного манифеста. Против составления и обнародования его указывалось на следующие обстоятельства:

«Рабочие партии находятся теперь в состоянии полного кризиса: одни, как Французская, Бельгийская, Швейцарская, Голландская и Датская, стоят на пути к реорганизации, другие, как Германская, Итальянская и Австрийская, находятся в борьбе против репрессалий со стороны своих правительств; а русское движение, благодаря исключительному положению, в котором находятся тамошние наши братья, не могло еще до сих пор выступить из фазы заговоров.

«Далее, новое движение, появившееся после международной Рабочей Ассоциации, еще слишком молодо и неравномерно развито, чтобы возможно было выработать общеобязательную подробную программу.

«Наконец, экономические и политические условия еще не одинаково развиты в отдельных странах.

«При таких обстоятельствах, невозможно предписать всем европейским и американским рабочим партиям общие правила поведения (т. е. правила тактики), покоящиеся на научном базисе.»

В виду всего этого решено было ограничиться особой декларацией, в которой должно было быть специально подчеркнуто, что «современное общество основано на противоположности интересов, выражающейся в классовой борьбе», и что, поэтому, организация пролетариата в классовую партию, противостоящую буржуазным партиям, является необходимым условием освобождения эксплоатируемых масс и общей, обязательной для социалистов всех стран, руководящей и основной задачей.

Американский делегат, Мак Гуайр, предложил, чтобы в декларации было указано и подчеркнуто, что социалистическая партия не стремится к насильственной революции, не занимается подготовкой революционного переворота, и что революции вызываются не защитниками народа, а высшими классами. В прениях по поводу этого предложения приняли участие польский делегат Лимановский и я, и наше выступление повлияло на содержание декларации. Лимановский заявил, что к России, где реакция отрезала социалистам все пути к легальной деятельности и где им поэтому приходится подготовлять именно насильственный переворот, предлагаемая Мак Гуайром резолюция совсем неприменима. Я же указал, прежде всего, на то, что, именно потому, что революции повсюду вызываются высшими классами, социалисты должны в своей пропаганде и агитации подготовлять рабочие массы к насильственной революции, как к неизбежной перспективе. Поэтому, даже в применении к западным странам предложение Мак Гуайра требует более точной формулировки; русские же социалисты являются по необходимости

революционерами, в гораздо более тесном смысле, чем западные.

«Многовековый гнет абсолютизма и рабство народа в России притупили гражданские чувства в обществе привилегированном и среди низших классов. Никакой организованной массовой оппозиции абсолютизму у нас нет, никакая агитация, аналогичная той, которую ведут западно-европейские и американские партии, у нас немыслима. Революционному авангарду не остается при этих условиях иного средства для пробуждения общества и народа от индифферентизма, апатии и трусости, как героические действия, на свой страх. Вообще, пока в России будет господствовать теперешний порядок вещей, а общество будет сидеть сложа руки, русским революционерам придется подготовлять революцию путем террора, заговоров, бунтов и т. п. — словом, стремиться к той же цели, к какой европейские социалисты, однако не путем одной только мирной пропаганды, но и путем страшных, героических действий, за которые они, впрочем, сами же, прежде всего, отвечают своими головами. В виду всего этого, резолюция в смысле предложения американского делегата, на долгое время устранила бы русских социалистов от сближения с западно-европейскими. В России и без того в точности не знают, как последние относятся к их образу действий, и даже господствует мнение, что они относятся отрицательно. Поэтому, конгрессу не мешало бы, во избежание недоразумений, определенно и категорически высказаться относительно исключительной системы революционной борьбы в России.»

После этого заявления французская делегация внесла предложение послать русским революционерам приветствие, которое, конечно, принято было единогласно. Принятая резолюция гласила:

«Международный Конгресс в Хуре шлет привет русским социалистам, которые отвечают на насилие насилием, на террор террором. Конгресс приглашает все свободные народы выразить свои симпатии тем, кто борятся, страдают и умирают за свободу и социальную справедливость под гнетом московской тирании.»

В самой же декларации свое сочувственное отношение к русскому революционному движению конференция выразила тем, что признала, если можно так выразиться, равноправие таких средств революционной борьбы, как участие в парламентских выборах, стачки и т. д., с одной стороны, и вооруженная самозащита и заговоры, как в России, с другой.

* * *

Как я уже выше отметил, по настоянию бюро конференции, мне пришлось выступить с докладом о нашем движении. Крайне плохо владея немецким языком, я думал ограничиться коротенькой речью. Но увлекшись желанием вызвать у западных социалистов серьезное сочувствие и готовность активно поддерживать наше движение, я говорил довольно долго. В своей речи [1]) я остановился, главным образом, на тех моментах, которые позже, при обсуждении вопроса о декларации, я в немногих словах выдвинул против предложения

[1]) Полный текст ее напечатан в № 13 „Вольного Слова“

американского делегата. Как мне потом передавали, некоторые делегаты, в том числе и Бернштейн, под впечатлением этой речи, заподозрили меня чуть не в бо́льшей приверженности к партии «Народной Воли», чем к «Черному Переделу». Между тем, с той же точки зрения и в том же духе, как на конференции, я характеризовал деятельность партии «Народной Воли» уже в статье, написанной год до того и около полугода до события 1-го марта для немецкого социалистического «Ежегодника», издававшегося в Цюрихе под фактической редакцией Бернштейна и Каутского. Вот как я оценивал в этой статье деятельность этой партии.

«Не подлежит сомнению, что повышению тона печати (легальной) и поднятию духа оппозиции вообще в последние годы больше всего способствовал Исполнительный Комитет... В истории борьбы за политическую свободу в России он оставит неизгладимый след. Героическая, бесстрашная борьба Исполнительного Комитета с правительством отнимет у русских либералов навсегда возможность претендовать на заслуги в деле завоевания политической свободы и оспаривать тот факт, что «социалисты своей кровью очистили русскую почву от варварского абсолютизма». Этим он оказывает им ту великую услугу, что впоследствии представление о всяком новом культурном завоевании будет ассоциироваться с социалистической партией. Русским социалистам не придется, поэтому, тратить столько сил и энергии в борьбе с буржуазными партиями за влияние на народные массы, как во Франции с республиканскими партиями или в Италии—с мадзинианцами.»

В противоположность членам хурской конференции, Л. Тихомиров увидел в моей речи тенденцию умалить значение партии «Народной Воли». И в № 7 (или 5-ом) ее органа он выступил против меня с резкой критической статьей. Он больше всего негодовал на меня за мои замечания об эмпирическом происхождении программы и тактики народовольцев и о специфически политическом радикализме Желябова. «Нельзя сказать, говорил я, чтобы фракция «Народной Воли» отличалась от «Черного Передела» меньшей приверженностью к социализму... Перовская и Кибальчич даже в тактическом отношении сочувствовали «Черному Переделу» и стояли в рядах «Народной Воли» только в надежде общими усилиями (террором) скорее избавиться от абсолютизма, чтобы затем приняться за несравненно более симпатичную им работу в народе. Только немногие народовольцы, как например, героический Желябов, из чисто практических соображений выдвигали на первый план задачи специально радикально-политического характера. Вообще не нужно упускать из виду, что тактика и программа «Народной Воли» возникли не по заранее составленному плану или принципу, а постепенно, почти непроизвольно — под влиянием страшных преследований и крайних трудностей работать над созданием именно народной партии. О принципиальном отречении «Народной Воли» от социализма не может быть, следовательно, и речи.»

У меня нет под рукой номера «Народной Воли», в котором напечатана моя статья (насколько помню, очень короткая) о хурском конгрессе, и

сердитая реплика Тихомирова на нее. Припоминается мне только, что он упрекал меня «за привычку прикидывать к России европейскую мерку» и заявил: «Мы не социалисты и не радикалы, просто народовольцы.» Но года 1½ спустя тот же Тихомиров, в № 2 «Вестника Народной Воли», в статье «Чего нам ждать от революции», коснувшись перехода народников на путь политической борьбы, писал следующее:

«Все это делалось только невольно и само собой... Совершенно помимо желания и в противность предвзятым теоретическим взглядам (социалисты), должны были убедиться, как неизбежна политическая борьба, как она сама навязывается каждому общественному деятелю.»

Ничего другого и я не утверждал в той части своей речи, которая так не понравилась Тихомирову! Но я должен признаться, что, если бы Тихомиров в 1881 г. задал мне вопрос: «Каким же иным путем могли русские социалисты дойти до сознания необходимости политической борьбы?», я был бы в крайне затруднительном положении, ибо удовлетворительный ответ на этот вопрос мог дать только последовательный марксист.

Что же касается до моей характеристики взглядов Желябова, то основывалась она на том, что Желябов сам неоднократно говорил мне. И опять таки характерно, что сам Тихомиров в биографии Желябова, рассказывая, как на Воронежском с'езде Желябов доказывал необходимость для революционеров отказаться от классовой борьбы и сосредоточить все свои силы на завоевании

конституции, тут же замечает: «взгляды (Желябова) в этом случае значительно расходились со взглядами большинства современной ему революционной среды».

Значит, и в этом пункте Тихомиров, в конце концов, подтвердил — правда, задним числом — то, что я говорил в Хуре.

Полемический выпад Тихомирова против меня вызвал резкий протест Степняка, возмущены были также и мои товарищи по фракции в Женеве и Кларане. В мае 82 г. Дейч писал мне: «Мы (то есть, он и Плеханов) на днях очень жалели, почему тотчас после появления № 7 «Народной Воли», с нападками на тебя, не послали своего заявления о полной своей солидарности с твоей речью.» Не сделано было это, кажется, из дипломатических соображений, чтобы не помешать благоприятному исходу ведшихся тогда (путем переписки) переговоров нашей группы с народовольцами об об'единении.

* * *

В тот момент, когда происходила хурская конференция, мы все, хотя и повернулись уже спиной к бакунизму, не были еще, однако, вполне сознательными, последовательными социал-демократами. Что мы, фактически, распростились с бакунистскими воззрениями, показывает уже само по себе мое участие в конференции — с одобрения моих ближайших товарищей. Но что я лично не

стоял еще тогда твердо обеими ногами на почве социал-демократической теории и практики, видно хотя бы из моей хурской речи, далеко не свободной от бакунистских и вообще народнических тенденций. А так как Дейч, Плеханов и, вероятно, В. И. Засулич намеревались заявить свою солидарность с этой речью, то, стало быть, и они еще не совсем свободны были от власти народнических тенденций.

В конце октября 81 г., т. е. недели три спустя после хурской конференции, Плеханов, по возвращении из Парижа в Швейцарию, писал Лаврову: «Настроение моих женевских товарищей не особенно радует меня. Оно может быть формулировано словами — «соединимся во что бы то ни стало, хотя и поторгуемся, сколько возможно». История хватает за шиворот и толкает на путь политической борьбы даже тех, кто еще недавно был принципиальным противником последней.» Плеханов, стало быть, в таком существенном вопросе, как вопрос об отношении русских социалистов к борьбе с абсолютизмом, оставался еще, если не совсем, то в значительной мере на почве старого народничества. А между тем, теоретически он, конечно, уже в то время ближе всех нас стоял к марксизму.

Эволюцию Плеханова от народничества к марксизму и к социал-демократии легко проследить по его литературным произведениям в промежуток времени с 80-го—81-го до 83-го года. Как совершался этот процесс специально у Дейча и Засулич, я могу только догадываться, но в точности, конкретно, не знаю, потому что видались мы тогда

довольно редко, на короткие моменты, большей частью, для какого-нибудь практического дела, а из Цюриха, посредством переписки, я не мог — или, по крайней мере, мне трудно было — следить за их идейной эволюцией. Но мне кажется, что, по существу, мы все до начала или почти до середины 82 года не совсем ясно сознавали, что мы с т а н о в и м с я социал-демократами. Подвигаясь вперед в эту сторону, мы вместе с тем еще не изжили наше идейное прошлое и связаны были с ним некоторыми нитями. У меня это противоречие отразилось, между прочим, в том, что на русское революционное движение я продолжал некоторое время смотреть почти глазами революционного утописта русской разновидности, в то время, как ход рабочего движения на Западе я, с самого начала, освещал в «Вольном Слове» под углом зрения социал-демократии.

* * *

В первом же своем письме о рабочем движении в «Вольном Слове» (в № от 30 августа 81 г.), я писал: «Если верить теоретикам и публицистам буржуазии, то можно прийти в отчаяние за дальнейшую судьбу человечества. По их мнению... все общественные связи и двигатели прогресса, не сегодня-завтра могут погибнуть в общем хаосе диких страстей и абсолютной анархии... Между тем, стоит только отрешиться от сословных предрассудков и чувств привилегированного меньшинства,—и перед глазами мыслящего человека раскрывается величественная картина процесса со-

зидания элементов новой, гораздо более высокой ступени цивилизации. Каждое новое изобретение, каждое усовершенствование в сфере промышленной, в средствах сообщения, в науке — все это, помимо воли и сознания индивидуумов и общественных групп, подготовляет элементы и условия новых форм общежития. Но значительная доля работы в преобразовательном процессе современных условий жизни выполняется и сознательными усилиями заинтересованных в этом преобразовании общественных элементов.»

Наиболее сознательными и страстными противниками существующих общественных отношений и наиболее пылкими пионерами высоких, общечеловеческих идеалов являются пролетарии промышленных центров», в них, как в фокусе, «сосредотачиваются все преобразовательные стремления нашей эпохи.» Рабочее движение является, таким образом, как бы воплощением всей совокупности сознательных стремлений и усилий нашей эпохи к поднятию человечества на эту ступень цивилизации.

Я не могу привести здесь целиком «Письмо», из которого я цитирую эти строки. Но из них видно, что оно насквозь проникнуто было социал-демократическим духом. И в такой же мере этим духом веет от всех моих дальнейших обзоров рабочего движения в «Вольном Слове», чего нельзя было бы сказать о моем докладе в Хуре о русском революционном движении. Но рассматривая и освещая явления, события и вопросы пролетарского освободительного движения на Западе под углом зрения социал-демократии, я как бы не-

заметно для самого себя приобретал навык применять марксистскую точку зрения и к вопросам русского революционного движения. Таким образом, работа в «Вольном Слове» стала для меня школой, из которой я вышел вполне сознательным социал-демократом не только «для Запада», но и для России.

* * *

Показательна в этом отношении уже моя статья в № 19 «Вольного Слова» под заглавием: «Все для народа и посредством народа», написанная всего два слишком месяца после хурской конференции по поводу «Письма» народовольца Присецкого[1]) в ту же газету. В своем письме он тактическому девизу «чистых социалистов» противопоставлял другой, именно: «Все для нации и всякое дело посредством части этой нации, наиболее заинтересованной в этом деле» (курсив в подлиннике). А так как народные массы, благодаря своей безграмотности и некультурности, не заинтересованы — утверждал автор письма — в самом насущном, наиболее злободневном деле русской «нации», в борьбе за политическую свободу, то и нельзя требовать, чтобы народ «был поставлен стражем и даже требователем» конституционных гарантий. Поэтому, пропаганда и агитация в народе — до завоевания этих гарантий — являлись по его мнению совершенно лишней, бесплодной тратой сил. Наиболее же заинтересованную в завоевании

[1]) Подписавшегося инициалами «И. П.».

свободы «часть нации» автор «письма» видел в действительно или даже мнимо культурных слоях, в привилегированных и полупривилегированных классах населения; они то являются или могут явиться действительной опорой для революционеров, в борьбе с абсолютизмом. А потому, писал Присецкий, пусть же соединятся все честные люди вокруг партии «Народной Воли», «под одно знамя обеспечения прав человеческой личности — и дело свободы будет выиграно, деспотизм же отойдет в область истории.»

Моя критика «Письма» концентрировалась, главным образом, на утверждении его автора, что «при настоящем устройстве общественной жизни, огранизации производства, все, что ни делается для интеллигенции, делается и для народа».

В критике именно этого положения и в защите старого руководящего тактического лозунга «чистых народников» бросается в глаза влияние на меня марксизма. Свои рассуждения я теоретически обосновывал тем, что общество покоится на классовом антагонизме, при чем специально подчеркивал, что констатирование, обоснование и применение этого факта «к делу эмансипации низших классов составляет великую заслугу Маркса, Энгельса и Лассаля.» Не менее заметно отразилось в моей статье влияние марксизма и в том, что в ней нет и следа старого, обычного у русских социалистов абстрактного противопоставления борьбы за политическую свободу—социалистической пропаганде и революционной деятельности в народе. Законность борьбы с абсолютизмом, с социалисти-

ческой точки зрения, молчаливо признается мною в статье, как бы нечто само собой подразумевающееся, не требующее особых раз'яснений и доказательств[1]). Именно потому, что я уже считал завоевание политической свободы для всего народа необходимой предпосылкой для борьбы рабочих масс за свое полное экономическое и социальное освобождение, я отстаивал тактический лозунг «Все для народа и посредством народа» и в применении к борьбе политической.

Вот некоторые выдержки из той части моей статьи, в которой я критиковал специально взгляд, по которому «все, что ни делается для интеллигенции, делается и для народа.»

«Интеллигенция, как совокупность в разной степени образованных людей, является в настоящее время истолковательницей интересов и стремлений населения, руководительницей его во всех сферах жизни. Составляя органическую часть нации, теснейшим образом связанная по своему воспитанию, привычкам своими умственными и материальными интересами с ее составными элементами, интеллигенция не может не быть проникнута страстями и даже предрассудками, порождаемыми сословным антагонизмом современного общественного строя. Даже философы и чистые теоретики примыкают, в общественных вопросах, к той или другой из общественных групп (классов, сословий), на которые подразделяется теперь повсюду население, и в большинстве случаев яв-

[1]) В действительности, связь между социализмом и политической борьбой должна была еще быть теоретически выяснена и доказана.

ляются даже очень усердными защитниками, в сфере научной, интересов, близких им по положению или воспитанию общественных элементов страны или нации. Смотря по тому, чьи интересы и стремления интеллигенция обобщает, формулирует и защищает в науке, прессе и общественных учреждениях, интеллигенция является консервативно-монархической, либеральной, социалистической и т. д. Интеллигенции же, как совокупности лиц, проникнутых исключительно идеальными стремлениями, живущих вполне вне классового антагонизма, в действительности не существует[1]). Если же общественное значение интеллигенции обусловливается именно ролью ее, как выразительницы и организатора разных слоев населения в видах защиты их интересов, если сама интеллигенция, соответственно антагонистическому составу последнего, состоит из разнокалиберных элементов, то она сама по себе, вне остальной массы граждан, то бишь, подданных, не может послужить опорою революционного движения против абсолютизма. Рассматривать интеллигенцию, как опору этого движения, можно только в том смысле, чтобы, при ее помощи, привлечь на его сторону ту массу населения, в которой она пользуется наибольшим влиянием. В противном случае, она по своей малочисленности, даже если соединить все ее оттенки, просто бессильна сослужить ту службу в борьбе за конституционные гарантии,

[1]) „Это особенно проявляется в критические моменты общественной жизни, напр. во время революций, когда наиболее абстрактные и, повидимому, бесстрастные мыслители вдруг превращаются в отчаянных реакционеров или, наоборот, в страстных защитников народа“.

которую от нее требует И. П. Вот тут то и является крайне важный вопрос: в какой части населения наша интеллигенция может иметь или уже имеет наибольшее влияние?..»

Рабочие классы, по необразованности своей, не могут понять пользы свободы слова и т. д.; их поэтому приходится оставить вне арены борьбы с абсолютизмом. Остаются, стало быть, привилегированные классы. Автор не говорит этого прямо, но они фигурируют у него под другими названиями. «Если бы земства и города дружно подняли свои головы»... заявляет он. «Если бы все общество дружно и энергично вступилось за свои права»... и т. д. Но что такое наши земские и городские учреждения? Это — представительные собрания привилегированных в имущественном или профессиональном отношении классов. Из кого эти собрания преимущественно состоят? Из культурных по своей материальной обстановке и по образу жизни элементов, добрая половина которых так же заслуживает название «интеллигенции», как сама толпа Разуваевых, Колупаевых, Поляковых, Губониных и т. д., которых представителями они являются[1]). Наконец, «общество» в целом представляет собою опять таки ничто иное, как массу сюртучников и фрачников, т. е., тот элемент привилегированных классов,

[1]) „Конечно, в наших представительных учреждениях, как и в прессе, есть контингент честных и действительно интеллигентных демократов, „extrême gauche“. Но, не имея твердой опоры в низших классах и находясь, по самому характеру своих стремлений, в антагонизме с привилегированной толпой, они пока играют роль беспочвенных идеологов“.

который одевается, ест, пьет, устраивает себе удовольствия, на манер цивилизованных европейцев. Эта то часть нации и составляет, так называемый, культурный слой «русского народа». «Интеллигенция» в смысле совокупности действительно образованных людей, является небольшим меньшинством «общества», и из этой интеллигенции наибольшим влиянием пользуются в культурной среде разновидных Разуваевых, крупных и малых Бобринских, Горвицев, коммерческих и иных дельцов, — духовно родственные им Суворины, Аксаковы, Катковы и, пожалуй, еще «Голос» Краевского.

«Таким образом, предложение автора привлечь к революционному движению во имя политической свободы одну только «интеллигентную часть нации», при внимательном рассмотрении сводится к тому, чтобы опереться в революционной борьбе исключительно на высшие и средние классы, отчасти при посредстве их оффициально признанных руководителей в земских, городских и дворянских собраниях, отчасти при посредстве всей массы внешне облагоображенных культурной обстановкой жизни.

«Спрашивается теперь: можно ли рассчитывать, чтобы конституционные гарантии, завоеванные помимо активного содействия низших классов, обеспечивали за последними одинаковые с высшими классами политические права? (Мы говорим исключительно об юридических гарантиях и соответствующих им общественных учреждениях, оставляя совершенно в стороне вопрос о бесчисленных нарушениях политических прав ра-

бочих, вследствие отсутствия экономической обеспеченности большинства народа). Нам стоит только припомнить, как были завоеваны конституционные гарантии рабочих классов в других странах, чтобы ответить на этот вопрос.»

Показав на целом ряде примеров из истории Запада, что «наибольшими политическими гарантиями рабочие массы пользуются только там, где они сами долго и многократно боролись всякими средствами за свои политические права», я подчеркивал далее, что в обществе, разделенном на эксплуататоров и эксплуатируемых, иначе и не могло и не может быть. В таком обществе «все, что ни делается для интеллигенции», делается eo ipso не для всей нации, а лишь «для того класса, с которым она связана воспитанием и материальными условиями существования» — своя рубаха ближе к телу.

«Без всякого сомнения, в рядах русской интеллигенции не мало честных и глубоко преданных народным интересам людей... Но какую силу изобразят они собою в момент заполучения в России конституционных гарантий, если, следуя совету И. П., рабочие массы не будут играть никакой роли в борьбе за эту конституцию? Народ не организован не только в массе, но и в лице своих наиболее активных элементов. Народное сознание не затронуто доконституционной революционной борьбой, мысль народа не подготовлена хотя бы в некоторой степени к совершающемуся политическому перевороту, — словом, тот общественный элемент, который представляет собою естественную опору истинно демократической интелли-

генции, окажется стоящим где то вдали, на заднем фоне, без всякого сознания своего значения и в полном неведении относительно усилий на его пользу истинных его друзей. Последние логикой событий обречены будут на роль бессильных идеалистов, пророков в пустыне.

«За то, с другой стороны, толпа всевозможных хищников и дельцов, — в чуйках и сюртуках, — «культурных» и некультурных, — быстро с'организуется и образует крепкий оплот для своей интеллигенции. Суворины, Марковы, Озмидовы, Молчановы, Новосельские, Рененкампфы.... выплывут на поверхность политической и общественной жизни, в качестве естественных трибунов и вождей разуваевского класса.»

В заключение я старался на конкретных примерах показать непосредственную заинтересованность народных масс России в завоевании «прав человека и гражданина» и наличность достаточно конкретных зацепок в положении, потребностях и стремлениях этих масс для агитации в пользу «политических реформ».

* * *

Не помню точно, в конце апреля или в самом начале мая я перестал сотрудничать в «Вольном Слове». Я вынужден был это сделать, вследствие появления в газете резко полемической статьи Драгоманова, направленной против партии «Народной Воли». Статья эта в чрезвычайной степени возмутила В. И. Засулич, Плеханова и Дейча

и сделала для меня крайне затруднительным, чтобы не сказать психологически невозможным, дальнейшее участие в «Вольном Слове». Я, однако, не сразу решился прекратить свое сотрудничество в этом либеральном органе. Правда, в Женеве среди русской эмиграции около этого времени начали возникать или распространяться довольно неопределенные слухи о том, что «Вольное Слово» является органом графа Игнатьева. Но руководящая роль Драгоманова в газете исключала для меня возможность верить этим слухам. Да и корректный тон газеты по отношению к революционным фракциям и общее содержание ее противоречили этим слухам. Я в своей хурской речи и, в еще гораздо большей мере, выше цитированной своей статье против «И. П.», резко отрицательной характеристикой земского либерализма и либеральной оппозиции вообще, можно сказать, прямо провоцировал редакцию на полемический выпад против революционеров. А она не воспользовалась для мало мальски резкой полемики против народовольцев или чернопередельцев ни этим, ни другими подходящими поводами. Только один раз (вероятно, в марте) по поводу моей статьи о парижской коммуне[1]), в которой я определенно защищал идею классовой диктатуры пролетариата, Драгоманов выступил против меня с критическим, но отнюдь не полемическим, замечанием. Но если я пользовался неограниченной свободой излагать и развивать свои взгляды на страницах либерального

---

[1]) Или о праздновании ее годовщины.

органа, то было бы более, чем странно с моей стороны, претендовать на ограничение этого права за такими руководящими сотрудниками, как Драгоманов. Ведь я имел полную возможность отвечать ему в той же газете антикритикой его взглядов — все равно, касаются ли они международного рабочего движения, или специально русского революционного движения, как в данном случае, в его статье против «Народной Воли» [1]). Все это вместе взятое, в связи с моей личной большой симпатией к Драгоманову, —было причиной того, что мне довольно трудно было сразу, без всяких колебаний, послать редакции «Вольного Слова» заявление о решении прекратить свое участие в издании.

Но мои ближайшие товарищи очень настаивали и торопили меня сделать этот шаг. Это об'яснялось, в значительной мере тем, что как раз в то время шла переписка с народовольцами не только вообще о присоединении нашей группы к их партии, но и специально об издании заграничного журнала под редакцией Лаврова, Плеханова и Степняка, а с другой (помимо слухов о связи редакции «Вольного Слова»,—кроме самого Драгоманова, которого лично никто не подозревал, — с Игнатьевым) и давней хронической войной моих друзей с Драгомановым из-за его украинофильства.

Совершенно противоположную позицию занял в вопросе о моем «выходе» из «Вольного Слова»

---

[1]) У меня нет номеров „Вольного Слова“ за промежуток времени с января до середины мая 82 г., а в памяти у меня не сохранились названия статей, о которых здесь идет речь.

Степняк, выступление которого в этом деле привело к устранению его из состава кандидатов в редакцию проектировавшегося заграничного органа партии «Народной Воли».

Степняк находился в то время в Милане и написал мне оттуда письмо, в котором умолял меня продолжать сотрудничать в газете.

Соображения его и доводы против моего выхода из состава сотрудников «Вольного Слова» довольно односторонни, частью политически наивны; но письмо его очень интересно, как документ, свидетельствующий о своеобразной индивидуальности и большой независимости и благородстве одного из наиболее крупных и ярких представителей наших революционеров-семидесятников. Позволю себе, поэтому, привести несколько больших выдержек из этого письма Степняка.

«Только сегодня получил я от Драгоманова письмо, в котором он между прочим уведомляет меня о том, что «на днях» должен появиться в «Вольном Слове» твой «мотивированный выход». — Факт этот я считаю до такой степени губительным, не только вредным, что я тотчас же послал Драгоманову телеграмму (на которую я извел последние деньги, почему и посылаю не франкированное письмо) — чтоб он задержал печатание протеста, и что всю ответственность за это я принимаю на себя. — Такой поступок я счел возможным сделать, конечно, вследствие личных наших отношений. Необходимым же я его считаю по мотивам совершенно общего свойства, ничего с личными нашими делами не имеющим.

«Прочитай мой ответ Комитету[1]) и ты поймешь почему в видах наших общих интересов я счел себя обязанным так поступить.

«Здесь я хочу только высказать тебе, почему ты обязан взять назад свой протест.

«Дело в том, что своими нападками на тебя в передовице и письме[2]) Комитет по-моему посягнул на свободу мысли и при том, выразил стремление окружить себя папской непогрешимостью и т. п., — одним словом, обнаруживаются самые скверные тенденции, которые в дальнейшем своем развитии должны принести величайший вред партии. Праву свободной мысли и свободной критики я придаю такое важное значение, что думаю, что от них зависит в значительной степени будущность партии.» «Это право составляет единственный оплот тому ужасному развитию централизма, который уже начался и который в России, при склонности все доводить до крайности, может достигнуть чудовищных размеров, просто погубить все живое... Свобода критики и мысли — единственный оплот против этой крайности. Во всяком случае, единственное, что мы, заграницей, можем противупоставлять ей и отстаивать, и должны отстаивать до последних сил.

«Перехожу специально к Драгомановской статье.

«Три дня тому назад я в первый раз прочел ее и знаешь, что сделал? — Я написал тотчас же

---

1) Исполнительному Комитету „Народной Воли". По желанию Степняка, я его „ответ Комитету" отослал В. И. Засулич и Г. В. Плеханову.

2) Письма этого я не помню — должно быть, мне его не переслали. Повидимому, в нем речь шла между прочим и о моей хурской речи.

письмо Драгоманову, в котором, упоминая, конечно, что с тем и тем то несогласен, говорю, что пишу, чтобы поблагодарить его от души за статью, крепко пожать ему за нее руку. Когда будешь в Женеве, зайди к нему и можешь прочесть это письмо. И теперь, именно теперь, больше, чем когда нибудь, я готов повторить эти слова. Есть в ней несогласия. Но неужели ты не чувствовал, читая ее, сколько в ней жгучей, беспощадной правды? Неужели ты не чувствовал, что она внушена не личным раздражением, не желанием уронить кого-нибудь, а горячей любовью к известным идеям, которые и мы сами признаем, жаждой блага той самой партии, на которую он нападает? Разве не правда то, что он насчет централизма говорит? А ведь это центр тяжести его статьи.

«В виду страшно быстро развивающегося централизма, необходимо употребить все силы на сохранение и защиту свободной мысли, критики.

«Эта обязанность лежит на нас, заграничных, потому что мы имеем в своем распоряжении свободные станки, которых не имеют русские, а также перья и досуг для писания и для подготовки себя к писанию более основательному, чем русские.

«Защита свободной мысли возможна лишь действительным практикованием ее.

«Она действительна только тогда, когда самые крайние ее проявления имеют право гражданства.

«Нападая на последние, мы сами отрицаем для самих себя право критики умеренной.

«Поэтому мы самым положением своим постав-

лены в необходимость защищать это последнее убежище свободы и равенства и единственный оплот против централизма, должны всеми силами защищать друг друга, когда дело касается этого права, и не допускать в области чистой мысли ничего, кроме возражений.

«Ты своим «протестом» повредил самым жестоким образом и этому делу защиты свободы мысли, и нам всем.

«Поэтому, если еще не поздно, ты обязан поправить дело, то-есть, взять назад свой протест и послать вместо него возражение Драгоманову и снова начать там работать, как ни в чем ни бывало.»

Требования Степняка я не исполнил, потому что оно, с одной стороны, было нецелесообразно, а с другой, связано было с разрывом с товарищами, к которым я идейно и по настроению стоял в то время ближе, чем когда бы то ни было прежде, и гораздо ближе, чем ко всем другим видным представителям нашего революционного движения. Из статьи Драгоманова против «Народной Воли» и из его писем ко мне по поводу моего взгляда на классовую борьбу и диктатуру пролетариата я вынес впечатление, что за первой его аттакой на нашу революционную партию последуют другие, по всей вероятности, еще более резкие, и что специально в сфере вопросов интернационального социалистического движения у меня с ним также неизбежны будут коллизии. И в конце концов, мне, все равно, пришлось бы оставить «Вольное Слово». А требование Степняка, об'ективно,

сводилось к тому, чтобы я, во имя довольно своеобразно понимаемого принципа «свободы слова и критики», лишил себя самого свободы отказаться от литературного сотрудничества с людьми, враждебными моей партии.

Но хотя я, в силу этих соображений, не последовал совету Степняка и считал, вообще, совершенно ошибочным, что он дает одинаковую оценку характеру и значению протеста нашей женевской группы против действительно резких упреков Драгоманова по адресу народовольцев, с одной стороны, и нападкам народовольцев на меня за мою хурскую речь, с другой стороны, — поведение в данном случае Степняка, продиктованное столь благородными мотивами, произвело на меня такое впечатление, что я назвал его «рыцарем» в письме к своим фракционным коллегам. Но эти последние, наоборот, были очень раздражены против него. Разумеется, они были раздражены и против меня за мои личные симпатии к Драгоманову и за то, что я несколько медлил своим уходом из «Вольного Слова» после появления в нем полемической статьи Драгоманова. Но этот инцидент очень скоро был ликвидирован, и никаких взаимных раздражений, никаких следов от него во взаимоотношениях, как между мною и другими членами нашего кружка, так и между нашим кружком и Степняком не осталось.

* * *

Вскоре после ликвидации нашего внутреннего конфликта мне пришлось с'ездить в Кла-

ран[1]) и оттуда в Женеву, где я впервые обменялся с Плехановым мыслями и впечатлениями по поводу нашего окончательного перехода к марксизму.

В беседе с Плехановым совпадение не только наших взглядов, но и настроений для меня особенно отчетливо выявилось, когда мы заговорили о предисловии Маркса к «Zur Kritik der politischen Oekonomie». Я тогда находился под свежим впечатлением этого предисловия. Помню, мы коснулись специально заключительного замечания Маркса о том, что с окончанием капиталистической фазы развития человеческих обществ и наступлением социалистической фазы окончится доисторический период существования человечества, и начнется его вполне сознательная, действительно историческая жизнь.

Перед какими грандиозными перспективами, говорил я Плеханову, стоит современное человечество, если все его прошлое, богатое великими научными открытиями и техническими изобретениями, культурными и духовными завоеваниями, является лишь предварительной фазой и доисторической ступенью к исторической эпохе его существования!

Совершенно такое же впечатление произвели поразившие меня заключительные строки предисловия Маркса и на Плеханова: и у него они вызвали такие же, как у меня, мысли и представления о грандиозных последствиях всемирного торжества социализма.

---

[1]) В Кларан я поехал по просьбе родственников одного товарища — бывшего землевольца, Хотинского, лежавшего там в последнем градусе чахотки и желавшего повидаться со мною. Я застал его уже почти умирающим, он еле-еле узнал меня, и вскоре после моего приезда скончался.

Эволюция взглядов Плеханова в сфере применения принципов марксизма к решению проблем русского революционного движения шла, повидимому, более постепенно, не так стремительно, как можно было бы a-priori предполагать, принимая во внимание исключительную силу его теоретической мысли. Я припоминаю, что уже летом 1880 г., когда я приезжал в Женеву для переговоров об организационных и программных реформах в чернопередельческой фракции, я впервые увидел у него на столе раскрытую книгу Энгельса «Herrn E. Dürings Umwälzung der Wissenschaft»[1]). Само собой разумеется, что для такого человека, как Плеханов, чтение этой книги не могло остаться бесследным.

Затем, Плеханов около года провел в Париже, где сблизился с Гэдом и Лафаргом[2]) и внимательно следил за возглавляемым ими французским социалистическим движением. Конечно, это обстоятельство тоже должно было оказать влияние на формирование его взглядов.

Наконец, уже в 1881 г. появилась в «Отечественных Записках» его статья под названием «Новое направление в политической экономии», в которой, если не ошибаюсь, впервые катедр-социалистическая школа подверглась последовательно марксистской критической оценке.

И все таки в нелегальных статьях Плеханова за этот период заметны были еще следы народнических тенденций.

---

[1]) Я прочел эту книгу лишь несколько лет спустя.
[2]) Кажется, Лафарг уже был тогда в Париже.

Еще осенью 81 г. он с тревогой относился к тому, что «история хватает за шиворот и толкает на путь политической борьбы даже тех, кто еще недавно был принципиальным противником последней.» Он имел в виду женевских товарищей, стремившихся к соединению с народовольцами «во чтобы то ни стало». Нужно, однако, отметить, что опасения, внушавшие Плеханову эти об'единительные стремления товарищей, диктовались в особенности его отрицательным отношением к методам, которыми народовольцы вели политическую борьбу.

Насколько я помню, только в предисловии к русскому переводу «Коммунистического Манифеста», появившемуся летом 1882 г., Плеханов выступил в печати, как вполне последовательный марксист — не только в теории, но и на практике.

«Манифест, писал Плеханов, может предостеречь русских социалистов от двух одинаково печальных крайностей: отрицательного отношения к политической деятельности, с одной стороны, и забвения будущих интересов партии, с другой. Люди, склонные к первой из упомянутых крайностей, убедятся в том, что «всякая классовая борьба есть борьба политическая», и что отказываться от активной борьбы с современным русским абсолютизмом значит косвенным образом его поддерживать.

«Было бы очень желательно, чтобы имеющая возникнуть русская рабочая литература поставила себе задачей популяризацию учений Маркса и Энгельса, минуя окольные пути более или менее искаженного прудонизма.»

Несколько раньше, весной 82 г., Плеханов писал Лаврову, что он из «Капитала» Маркса готов создать Прокрустово ложе для всех сотрудников «Вестника Народной Воли.»

* * *

Но, стоя уже обеими ногами на почве марксизма, мы все еще продолжали поддерживать близкие отношения с народовольцами, при чем Дейч и Засулич выполняли некоторые поручения народовольческой организации, а Плеханов был даже об'явлен членом редакции проектируемого журнала «Вестник Народной Воли». Конечно, мы при этом надеялись, что нам удастся, в конце концов, на столько повлиять на народовольцев, что они согласятся придать своему органу социал-демократический характер и направление. Впрочем, Плеханов лично питал большие сомнения на этот счет и потому очень, очень неохотно соглашался вступить в редакцию этого органа.

Весной 82 г. он писал Лаврову: «Несогласия наши с народовольцами вовсе уже не так незначительны, как это может показаться из письма[1]) к ним. Письмо это написано по разным соображениям, более или менее дипломатического свойства... Если мы не оттеняем, не указываем на свои разногласия в письме, то это об'ясняется тем, что мы надеялись и надеемся мирным путем по-

---

[1]) Нашей группы.

вернуть (народовольцев П. А.) на надлежащую дорогу... Но всякая надежда неразрывно связана с большим или меньшим количеством шансов неудачи. В случае неудачи с нашей стороны нам придется снова стать в оппозицию. Удобно ли это будет для меня, как редактора «Вестника Народной Воли»?

Беседа, которую я имел с Тихомировым — кажется, летом 82 года в Женеве — показывает, до какой степени прав был Плеханов, когда указывал на серьезность наших разногласий с народовольцами и выражал опасение, что нам не удастся преодолеть эти разногласия. В этой беседе я рассказывал Тихомирову об успехах германской социал-демократии и, в частности, о победах, одержанных ею на выборах, несмотря на действие исключительного закона и на политические преследования. А он, выслушав меня, заметил:

Какое же это имеет значение? По моему, несравненно большее значение имела бы нелегальная организация[1]) в несколько сот энергичных революционеров.

Однако, в тот момент ни я, ни мои товарищи не сделали из этих и других подобных заявлений Тихомирова того вывода, что шансов на наше об'единение с народовольцами так мало, что не стоит продолжать переговоры с ним и Ошаниной.

---

[1]) Нелегальной была в то время и организация социал-демократической партии в Германии. Но Тихомиров имел в виду организацию заговорщическую для „захвата власти“.

Для различия нашего умонастроения характерны также разногласия, возникшие у нас по поводу названия проектируемого журнала. Мы с Плехановым, как и вся наша группа, были против предложенного народовольцами названия.

«Нельзя ли придумать что-нибудь другое вместо «Вестника Народной Воли?» писал Плеханов Лаврову: Это название слишком уже отдает чем то оффициальным, точно «Правительственный Вестник», «Инвалид» и т. п. В большей части социалистических изданий название служит отчасти указанием их воззрений, как бы девизом, например, «Egalité», «Emancipation», «Volksstaat» и т. д. Зачем же нам брать название, ровно ничего принципально не выражающее? «Лишний повод к насмешкам со стороны врагов» — по прекрасному выражению Аксельрода... Я очень прошу Вас обратить внимание на это обстоятельство, — право, название вещь очень важная, влияющая даже на литературную энергию сотрудников.»[1])

Но Тихомиров и Ошанина крепко держались за название журнала, так шокировавшее нас. Им оно нравилось, прямо дорого было именно потому, что отдавало «чем то оффициальным», или, точнее, тем, что ассоциировалось с их представлением о роли и силе их партии в прошлом и о будущем могуществе «И. К.», как носителя революционной государственной власти. Конечно, не этими со-

---

[1]) Это и другие цитированные мною письма Плеханова к Лаврову напечатаны в историческом журнале „Дела и Дни“, книга вторая, 1920 г.

ображениями и чаяниями они мотивировали свое упорное нежелание уступить нам в вопросе о названии журнала: они уже из писем женевцев к ним в Россию знали, что мы решительные противники стремления к «захвату власти» социалистами в современной России, подчеркивать это стремление в переговорах с нашей группой было бы с их стороны очень нетактично. Наверное, Тихомиров и Ошанина выдвигали в данном случае мотивы, связанные с фанатическим стремлением сохранить и даже увековечить высокий престиж их партии[1]).

Как далеко ушли народовольцы от того, совсем еще недавнего, времени, когда Тихомиров мечтал еще о воссоединении обеих главных фракций революционной партии под ее прежним девизом и названием: «Земля и Воля!» А между тем, престиж «Народной Воли» тогда уже был очень высок, во всяком случае, гораздо выше, чем фракции «Черного Передела»; и тогда отказываться от своего партийного названия для соединения с чернопередельцами народовольцам, казалось бы, совсем не стоило.

Но перемена, происшедшая с того времени в настроениях и тенденциях народовольцев, особенно ярко проявилась в поведении их заграничных представителей после того, как Плеханов, в полном согласии со всеми членами нашего кружка,

---

1) Не утверждаю этого категорически, потому что, живя в Цюрихе, я не мог все время следить непосредственно за сношениями моих фракционных товарищей с заграничными представителями Исполнительного Комитета и не помню всех перипетий переговоров между ними.

окончательно согласился вступить в редакцию «Вестника Народной Воли» и, — скрепя сердце, — принял неудовлетворявшую ни его, ни нас, написанную Лавровым программу журнала.

Плеханов написал для первого № «Вестника» обширную статью «Социализм и политическая борьба» и уже сдал в набор рецензию на книгу профессора Н. Я. Аристова о Щапове. Я, со своей стороны, написал большую статью под заглавием «Социализм и мелкая буржуазия» и уже отослал часть рукописи в типографию (или Тихомирову в Морне — не помню точно). Но совершенно неожиданно — это было летом 1883 г. — я получил от Дейча письмо, извещавшее меня, что в переговорах с Тихомировым у нашей женевской группы произошла заминка, что совместное издание журнала, повидимому, расстраивается, и что нам, по всей вероятности, придется выступать самостоятельно, отдельно от народовольцев. Товарищи просили меня приехать в Женеву переговорить о создавшемся положении и о дальнейших шагах.

Когда я приехал в Женеву, товарищи сообщили мне, что дело с «Вестником Народной Воли» у них окончательно расстроилось. Основной причиной разрыва были, конечно, наши теоретические и практические разногласия. Но непосредственной причиной и поводом к разрыву явились обстоятельства иного рода. Во всяком случае, принципиальные и программные соображения не играли в данном случае для народовольцев решающей роли: это видно уж из

того, что Лавров и Тихомиров без колебаний приняли и напечатали, без всяких оговорок и примечаний, в «Вестнике Народной Воли» мою и Плеханова статьи, написанные в определенно социалдемократическом духе.

Вот заключительные строки появившейся в журнале статьи Плеханова, посвященной разбору книги Аристова о Щапове:

«Мы уверены, что пришла уже пора критической оценки всех элементов нашего народничества... Чем тверже ступят русские революционеры на точку зрения научного социализма, тем определеннее им представится созидающая экономическая роль русского народного государства; чем яснее сознают они экономические задачи социалистической революции, тем очевиднее будет для них, что старые формы народной жизни и народного миросозерцания слишком тесны для того, чтобы воплотить в себе практику и теорию нового движения. Укрепившись в этом сознании, наша социально-революционная партия начнет третий, непредвиденный Щаповым, период «земского строительства», равно далекий, как от земско-вечевого, так и от самодержавно-бюрократического «опыта», — именно период социально-демократический.»

Моя статья «Социализм и мелкая буржуазия», напечатанная в первых двух книжках «В. Н.В.», представляет не менее разительное доказательство того, насколько, казалось, далеко готовы были в то время вожди народовольцев идти навстречу марксизму.

Статья эта дает чисто марксистский анализ псевдо-социализма различных мелкобуржуазных групп. Вот начало ее:

«Под влиянием целого ряда обстоятельств социализм сделался в последние десятилетия теоретической основой сознательной классовой борьбы пролетариата против буржуазного строя. Из туманного, в бесконечной дали скрывающегося идеала индивидуальных мыслителей и поэтов, он превратился в боевой лозунг организующихся в самостоятельную социально - политическую силу масс наемных работников. Понятия «социализм» и «пролетариат» все более и более сливаются в передовых странах почти в одно неразрывное представление о социально-революционном движении и социальной революции. И именно эта особенность современного социалистического движения придает ему более всего опасный характер в глазах разношерстых охранителей современного порядка вещей. Социалистические системы и утопии, сами по себе — вне реальной, органической связи с окружающей действительностью, вне непосредственного отношения к классовой борьбе организованного в сознательную силу пролетариата — представляют собою не более, как невинные поэтические грезы или бесплотные, крайне безопасные идеалы. С другой стороны, эксплуатируемая народная масса, лишенная классового самосознания, не организованная и не управляемая в своих протестах против угнетающего ее строя определенной системой идей, не представляет собой особенной опасности для данной общественной и политической организации... Вполне есте-

ственна, поэтому, особенная ненависть буржуазных теоретиков и политиков именно к современному социализму, выдвигающему, на первый план историческое развитие пролетариата, как главной общественной силы, способной реорганизовать общество на социалистических началах...»

Еще до получения цитированных статей — Плеханова и моей — Тихомиров обещал Плеханову (или выражал надежду), что позже можно будет прямо назвать «Вестник Народной Воли» социал-демократическим органом. Казалось, что надежды наши на возможность «мирным» (так сказать, эволюционным) путем «повернуть народовольцев на надлежащую дорогу» близятся к осуществлению, что количество шансов на неудачу все более и более уменьшается. Но в письме от 15 июня 83 г. Дейч сообщил мне, что Тихомиров и Ошанина не соглашаются на наше вступление в организацию народовольцев «г р у п п о й.» А между тем, мы все время вели с ними переговоры, как коллектив, и о нашем присоединении к ним порознь, отдельными индивидуумами, и речи не было. Именно в нашем об'единении с «Народной Волей» в качестве группы, мы видели серьезный шанс на то, чтобы «мирным путем повернуть» ее на ту дорогу, на которую мы уже стали. Но когда Засулич, Дейч и Плеханов предложили Тихомирову оформить наше соглашение с народовольцами, то есть, напечатать заявление об основаниях, на которых это соглашение состоялось, то он ответил, что по конституции организации народовольцев, присоединение к ней целой группы не допускается, и что присоединиться к партии мы

можем только, распавшись, как группа, по одиночке.

«Тогда, писал мне Дейч, мы категорически заявили им, что в таком случае никто из нас не присоединится к ним, что из-за существующего у них устава мы не станем распадаться.» «Нужно тебе заметить, писал он дальше, что несмотря на внешнюю, кажущуюся солидарность (с народовольцами), как они, так и мы сознаем, что, по существу, сильно отличаемся друг от друга, и мы с Жоржем думаем, что никогда народовольцы не сделаются сознательными социалистами, марксистами, а останутся бланкистами, энергичными и предприимчивыми революционерами-заговорщиками.»

Вполне естественно, поэтому, что мои товарищи категорически отказывались, по выражению Плеханова в письме к Лаврову, «разбиться на атомы, чтобы быть ассимилированными организацией «Народной Воли».

«С самого начала наших переговоров, писал Плеханов Лаврову, мы не представляли себе, что соединение может произойти иначе, как в виде слияния двух групп, сближенных временем и ходом событий. В этом духе мы вели переговоры с Мариной Никаноровной[1]) в Кларане, в этом духе я говорил с В. И.[2]). Без этого условия я не могу вступить в редакцию журнала, ибо назваться редактором его, не будучи народовольцем (то есть членом организации) на самом деле, и значило бы ставить себя в крайне двусмысленное и не-

[1]) Ошаниной.
[2]) Тихомировым.

удобное положение. Предположим, что переговоры не привели ни к чему, как должен был бы я поступить, еслибы моя фамилия уже была подписана под об'явлением? Выходить из редакции, печатно заявляя об этом? Но это был бы скандал... Не лучше ли подождать с моим вступлением в редакцию?»

Так как Марине Никаноровне и Тихомирову было очень желательно, — по разным соображениям, — чтобы Плеханов остался в числе оффициальных редакторов журнала, то они решили водить его и нас за нос обещанием удовлетворить наше требование — по получении из России ответа на их запрос. Оказалось вдруг, что имеется в уставе народовольческой организации какой-то параграф, по которому наша группа может быть принята в нее, как коллектив. Но для получения санкции на это из России потребуется несколько месяцев, а пока, пусть де Плеханов подпишется редактором под об'явлением об издании журнала. Вся эта дипломатия была шита белыми нитками и, в связи с поведением Тихомирова и Ошаниной по отношению к Дейчу, заведывавшему типографией и, вместе с В. И. Засулич, выполнявшему фактически разные функции по прямому поручению или в интересах народовольческой организации, производила на моих женевских товарищей еще гораздо более тяжелое впечатление, чем то, которое вызвали в Степняке «нападки» «Народной Воли» на меня за мою недостаточно хвалебную речь на хурском конгрессе.

«Поведение их, писал мне Дейч, возмущает своей неискренностью, не товариществом по от

ношению к нам, которые в последние два года всеми силами старались содействовать, поступали, как народовольцы, не будучи ими по праву. Между тем, ни в одном вопросе, ни даже в мелочах, мы не видим с их стороны никакой уступчивости... В виду неопределенности, сбивчивости теоретических воззрений народовольцев, их шаткости в социализме и их бланкизма, мы могли бы присоединиться к ним только всей группой, когда имели бы шансы своей солидарностью влиять на них, если бы они оставили свои нечаевские приемы в отношениях с близкими.»

Склонность или даже уже навыки к таким приемам особенно рельефно проявились в том факте, что Тихомиров и Ошанина перехватили большое письмо, посланное из тюрьмы Стефановичем Дейчу, и скрыли это от нас. Мои женевские товарищи каким-то образом узнали или заподозрили, что какое-то письмо попало в руки народовольцев, и чтобы выяснить это дело, Плеханов и Дейч отправились в Париж и потребовали у Ошаниной выдать им это письмо, — а может быть, речь шла и о нескольких письмах. Но Ошанина заявила, что она о письмах Стефановича ничего не знает. Не помогло и вмешательство Лаврова. А немного спустя, когда я был в Женеве, Тихомиров счел себя вынужденным лично принести нам, на квартиру Плеханова, письмо Стефановича.

— Кто же, спросил Плеханов у Тихомирова, занимается у вас перехватыванием чужих писем?

Тихомиров ответил самым хладнокровным и циничным образом:

— Тот, кому поручает наш Исполнительный Комитет.

После этого Плеханов писал Лаврову:

«Я, со своей стороны, сотрудничать у *вас* (а не у Долинского[1]) не прочь... Мне очень жаль, что редактируемый *вами* журнал есть «Вестник *Народной Воли*». История, по поводу которой мы ездили в Париж (а наша поездка *оправдала вполне* наши подозрения), отняла у меня всякое уважение не к «партии», конечно, а к людям, ее здесь представляющим.»[2])

Разумеется, о каких бы то ни было дальнейших переговорах с народовольцами относительно нашего коллективного присоединения к их организации и совместного издания общего органа, с нашей стороны, уже и речи не могло быть. Марина Никаноровна (Ошанина) еще раньше заявляла моим товарищам, что опасается, как бы мы, вступив в организацию народовольцев коллективом, не произвели в ней «разврат», не постарались бы «повернуть ее на свой лад». Да и вообще, говорила она, в вашей помощи мы (Тихомиров и она) теперь не нуждаемся, так как за границей теперь довольно «чистых народовольцев». Словом, «совсем не тот тон и заигрывание, что было в прошлом году».[3])

Инспиратором же народовольцев в их последних разговорах с нами был, несомненно — пресловутый всероссийский шеф охранников Судейкин, действовавший через посредство тогдашнего Азефа-Дегаева.

---

[1]) Долинский — псевдоним Л. Тихомирова.
[2]) Курсив Плеханова.
[3]) Из письма Дейча ко мне от 27 июня 83 г.

Через его руки шло и письмо Стефановича, и именно он переслал его не по принадлежности, а к заграничным представителям «Народной Воли»—конечно, с такими комментариями, которые вызвали в них подозрения относительно целей, с которыми наша группа намеревалась вступить в их организацию. Непосредственной, хотя и скрытой, виновницей разрыва между нами и народовольцами явилась, таким образом, нечистая сила, опасавшаяся организационного и идейного об'единения двух уцелевших, тогда еще авторитетных революционных групп.

Но кампания Судейкина против нашего об'единения с народовольцами только потому достигла своей цели, что народовольческая партия вступила уже в период своего упадка и ее заграничные руководители оказались неспособны и не склонны вдумчиво, искренне, по товарищески отнестись к нашим предложениям и намерениям. Пока они нуждались в помощи Засулич и Дейча и считали важным заручиться оффициальным участием Плеханова в редакции своего журнала, они дипломатничали с нами и выражали даже (в лице Тихомирова) готовность в будущем об'явить свой орган социал-демократическим. Но как только Тихомиров и Ошанина почувствовали под собой заграницей более твердую почву, они, подстрекаемые «народовольческим» ад'ютантом Судейкина, Дегаевым решили порвать с нами, как с организованным коллективом. После целого года постоянных сношений со старыми товарищами в Женеве, фактически работавшими с ними во имя и под флагом «Народной Воли», Ти-

хомиров и Ошанина оказались неспособными понять глубокую разницу между нашими принципиальными и тактическими воззрениями, с одной стороны, и тенденциями Стефановича в его письме (и речи на суде), с другой. Напомню еще возмущение Степняка «браминским самообоготворением» и претензией И. К. на «папскую непогрешимость», вообще, на монополию революционного мессии в России[1]). В хаотической идейной и психологической атмосфере, периода разложения партии и наличности «скверных тенденций в ней», охранникам и провокаторам не трудно было использовать перехваченное письмо (или письма) Стефановича, как средство для того, чтобы посеять среди народовольцев недоверие и разные подозрения против нас, подтолкнуть их заграничных руководителей на полный разрыв с нами.

Так рушилась наша надежда «мирным путем повернуть» народовольческую партию и все наше революционное движение в сторону социал-демократии. Закостенелый консерватизм и слепое самомнение народовольческих вождей не оставили нам другого пути для преследования наших реформаторских целей, кроме революционного.

* * *

Нас, бывших чернопередельцев, собралось в Женеве в конце 83 г. четыре человека: Дейч, За-

1) Идейно, по своему общему миросозерцанию, Степняк в сущности, был гораздо ближе к народовольцам, чем к нам, ибо он еще оставался во власти тенденций утопического социализма. И все таки, Тихомиров и Ошанина, по приезде в Швейцарию, поспешили устранить его из редакции „Вестника Народной Воли"—единственно за его несогласие ставить „Исполнительный Комитет" на недосягаемую высоту.

сулич, Плеханов и я.[1]). Порвав окончательно с Тихомировым и Ошаниной, мы собрались, чтобы обсудить и решить вопрос об организации самостоятельной группы для литературной и устной пропаганды научного социализма и социал-демократических учений, с целью проложить путь для эволюции революционного движения в России в социал-демократическом направлении...

Теперь едва ли кто может представить себе, как глубоко сидели и как всеобщи были тогда предрассудки против социал-демократии в русской революционной среде! Однако, Плеханов все таки предлагал нам назвать новую (по направлению) группу социал-демократической. Но Дейч и Засулич были против его предложения, ссылаясь на эти предрассудки и на то, что, заявив себя открыто социал-демократами, мы с первого же шага на новом пути вооружим против себя общественное мнение всех революционных элементов. Не мешает отметить здесь, что и самих оппонентов Плеханова смущала еще, повидимому, мысль об открытом и полном солидаризировании нашей группы с германской социал-демократией. Уже в июне 83 г. Дейч писал мне в Цюрих, что назвать себя социал-демократами нам «невозможно... вследствие политических условий России» и что «вообще вовсе нежелательно, чтобы потерялся сильный революционный дух русского движения[2]).

---

[1]) Примыкавший к нам Игнатов, вследствие тяжелой болезни, уехал тогда (или собирался уехать) в Египет, где скоро умер.

[2]) Курсив мой.

В конце концов, мы согласились принять, предложенное опять таки Плехановым, название «Группы Освобождения Труда». Образование этой группы и издание ею брошюры Плеханова «Социализм и политическая борьба»[1]) положили начало социал-демократическому периоду революционного движения в России, — пожалуй точнее, — начало эволюции русского революционного движения к этому периоду. А вслед за первыми шагами на пути этой эволюции, в непосредственной связи с нею, неуклонно двигая ее вперед, началась богатая содержанием историческая работа Плеханова, составившая новую эпоху в истории развития русской философской и общественной мысли. И да позволено будет мне выразить здесь свое нравственное удовлетворение при воспоминании о том, что я имел счастье тогда же угадать это огромное историческое значение публицистической и теоретической деятельности Плеханова. Специально при чтении корректуры его блестящего произведения, «Наши Разногласия», я повторял про себя имена Белинского и Чернышевского, как великих родоначальников двух стадий в развитии русской демократии, и к этим двум именам я присоединял имя Плеханова, как родоначальника третьей, пролетарски-социалистической эпохи в ее исторической жизни.

---

[1]) Плеханов писал ее, как статью для № 1 „Вестника Народной Воли".

ОГЛАВЛЕНИЕ 1-ГО ТОМА.
